

■ НЕЧАЯННАЯ ЛЮБОВЬ И ПОБЕГ  
ПО ОШИБКЕ

*в авантюрном романе В. Соловьева*

■ КТО, С КЕМ И ПОЧЕМУ В ЛИВАНЕ?

*в статье нашего обозревателя М. Вартбурга*

■ НАСЛЕДНИКИ БРЕЖНЕВА

*анализ крупнейшего советолога проф. Л. Шапиро*

■ КАННСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ,  
ИЛИ ЗОЛУШКА В СТРАНЕ ЧУДЕС

*в "Листках из блокнота" Н. Воронель*

■ ГОВОРIT БУЛАТ ОКУДЖАВА

*интервью и новые стихи для нашего журнала*

25  
**22**

---

# ДВАДЦАТЬ ДВА

---

общественно-политический и литературный журнал  
еврейской интеллигенции из СССР в Израиле

---

Год издания V

№ 25

---

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                                                         | стр. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>ПРОЗА</b>                                                                                            |      |
| ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. Не плачь обо мне (роман-эпизод) . . . . .                                            | 3    |
| АЛЕКСАНДР ГОЛЬДМАН. Монологи . . . . .                                                                  | 97   |
| <b>ПОЭЗИЯ</b>                                                                                           |      |
| СЕРГЕЙ ГАНДЛЕВСКИЙ. Стихи. . . . .                                                                      | 104  |
| <b>ЗАРУБЕЖНАЯ НОВЕЛЛА</b>                                                                               |      |
| ХОРХЕ ЛУИС БОРГЕСС. Вавилонская библиотека. Три версии Иуды. .                                          | 110  |
| <b>ИЕРУСАЛИМСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ</b>                                                                        |      |
| МИХАИЛ ВАРТБУРГ. Кто, с кем и почему — в Ливане? . . . . .                                              | 123  |
| МИХАИЛ ХЕЙФЕЦ. Лучше идти прямо . . . . .                                                               | 140  |
| <b>РУССКИЙ ВОПРОС</b>                                                                                   |      |
| ЛЕОНАРД ШАПИРО. Наследники Брежнева. . . . .                                                            | 147  |
| МИХАИЛ БОЛХОВСКОЙ. Судьба революционно-социалистической<br>интеллигенции в России (окончание) . . . . . | 158  |
| <b>ЛИСТКИ ИЗ БЛОКНОТА</b>                                                                               |      |
| НИНА ВОРОНЕЛЬ. "Битва при Каннах",<br>или Золушка в стране чудес. . . . .                               | 169  |
| <b>МАСТЕРСКАЯ</b>                                                                                       |      |
| ЛАРИСА ГЕРШТЕЙН. Разговор с Булатом Окуджавой . . . . .                                                 | 191  |
| АНРИ ВОЛОХОНСКИЙ. Стопам твоих кукол . . . . .                                                          | 198  |
| <b>ВОСПОМИНАНИЯ</b>                                                                                     |      |
| ЭСТЕР МАРКИШ. Как их убивали (к 30-летию казни<br>советских еврейских писателей) . . . . .              | 200  |

## ЛЮДИ И КНИГИ

|                                                                                                         |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Знаменитый Брайтон-Бич. — А. БУХБИНДЕР. Записки инакомыслящего. — А. ВАРТБУРГ. По страницам журналов. — |     |
| Р. БЛЕХМАН. . . . .                                                                                     | 214 |
| ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ                                                                                       |     |
| Г. СИНАЙСКИЙ. Ответ М. Вайскопфу . . . . .                                                              | 226 |

*На последней странице обложки: парад израильской армии.*

---

## ИЗДАНИЕ

общественного культурного фонда "Москва—Иерусалим" под покровительством Израильского комитета ученых при общественном совете солидарности с евреями СССР

главный редактор — Рафаил Нудельман

Редакционная коллегия

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| В. Богуславский | Ю. Меклер     |
| А. Воронель     | Н. Рубинштейн |
| Н. Воронель     | Я. Цигельман  |
| Э. Кузнецов     | И. Чаплина    |

заведующая редакцией — Мириам Бар-Ор

ответственный секретарь — Лариса Герштейн

технический редактор — Наталья Рубина

Всю корреспонденцию направлять по адресу:  
"22", P.O.B. 7045, Ramat-Gan, Israel;

Телефон редакции — 03—394525

Заказы на подписку за рубежом можно направлять в адрес представителей  
журнала:

Соединенные Штаты

L. Khotin, 235 17 Mile Dr. Pacific Grove, Cf. 93950. USA

Y. Levin, U. of Texas, Dept. of Slavic Lang. Box 7217, Austin, Texas 78712. USA.

Западная Германия

L. Roitman, 67 Oettinger str., am Englischen Garten, 8 Muenchen 22, BDR

Великобритания

I. Golomstock, 61 Aston str., Oxford OX4 IEW, England.

Типография "Дерби"

Тель-Авив

1982

Хотя в глубине души она и была каким-то странным, невнятным ей самой образом убеждена — и еще как убеждена! — что ее пустят в возжеленную и фантастическую эту заграничную поездку, она и виду внешне не подавала, хмурилась, когда об этом с ней заговаривали, боясь сглаза, и то отшучивалась, а то отвечала с неожиданной и ей не очень свойственной и совсем не идущей грубостью, хотя и распространенной, ходовой — даже чересчур! — в их детском театре, вся жизнь которого насквозь была пропитана таким ханжеством и лицемерием, что матперемат был чуть ли не единственной возможностью выплыть из этой слюнявой патоки на поверхность и спастись от окончательной инфантилизации.

Самое поразительное, что оба экстраординарные в ее жизни события хронологически совпадали и приходились буквально на один день, и казалось, что на одну карту поставлена была — даже не жизнь, а судьба, что намного важнее, и она с ужасом чувствовала, как неотвратимо приближается страшный день, когда она должна была выйти на огромную их сцену, по которой не людям ходить, а танкам ездить, и сыграть роль Антигоны, античной этой замухрыш-

*Владимир Соловьев*

## НЕ ПЛАЧЬ ОБО МНЕ...

(роман-эпизод)

сокращенный журнальный  
вариант

ки, бросившей нелепый свой вызов чуть ли не всему миру сразу — и своему, древнегреческому, и дальше, вплоть до наших дней, — и прямо из театра, наскоро дав с себя слизнуть горячей струе душа грим и пот — на Московский вокзал, с которого и начнется — если начнется?! — ее волшебное путешествие в три волшебные страны — Бельгию, Голландию и Люксембург.

Не то чтобы она была суеверной, — скорее напротив, но это было невероятно, чтобы в один день решила ее актерская судьба и как бы в награду за ее триумф на сцене, в который она слепо, подсознательно, животом, но свято и несомненно верила — есть же Бог, черт побери, на небесах! — или — такое она тоже на всякий случай предполагала, холодея от ужаса и стыда, — в возмещение душевных ее затрат на случай провала, она в тот же вечер отправлялась в фантастическое путешествие по Европе. Сторонним взглядом, в редкие паузы, с удивлением оглядывалась она на тюзовскую актрисочку, чье творческое амплуа было поистине гуттаперчевым и растягивалось от неприступного зайчонка в спектакле "Ну, погоди!" до примерного пионера Коли в спектакле "Будь готов — всегда готов!" и чья жизнь была вполне заурядна и усреднена советским бытом (работа, магазин, очередь, переполненный троллейбус, гнусная коммуналка с вечными ее склоками и кухонно-уборной вонью), детскими утренниками, радио- и телехалтурой и самой главной халтурой, зимним заработком на все лето — елками, на которых она была неизменной Снегурочкой.

Однажды ее шестилетний сын-акселерат Петька, взятый на такую вот елку, заревел в голос, узнав в белоснежной Снегурочке по праву ему одному принадлежавшую мать, которую он и так-то видит раз в год по обещанию, а здесь за нее цеплялись сотни его однолеток, и она, перестав быть его личной матерью, стала ихней всеобщей Снегурочкой, и он это ощутил как безвозвратную потерю, а Катя, заметив рыдающего своего Петьку, и вспомнив, как мало он избалован материнским ее вниманием, а отцовским — с его отцом они были в разводе — тем более, мгновенно "вышла" из своей роли и бросилась к Петьке и, схватив на руки, прижала к груди и тоже расплакалась, совсем уж беспричинно. Слава богу, Дед Мороз не растерялся и объявил, что это Снегурочкин сын, и Петька обрадовался, загордился и стал оглядывать притихших ребят с некоторым даже высокомерием, чуть ли не презрительно, почувствовав над ними превосходство. Зато притихшие зрители обиделись, ибо в их представлении Снегурочка — это их общая детская собствен-

ность, в отличие от миллиона других женщин, кому-то из взрослых мужчин принадлежащих: добрая половина успеха елочного шоу не в игрушках, не в подарках, не в Деде Морозе, но именно в девичьем обаянии Снегурочки.

Она, Катя Костина, девичьим этим обаянием обладала с лихвой, завистливые подружки ее по театру считали даже, что она подыгрывает и ломается, и называли ее кривлякой, а Катя на самом деле была такой, и девичество ее с годами не уменьшалось, хотя ей уже было двадцать шесть лет, но маленькая собачка до смерти щенок, и стремительные ее победы над мужиками, ее атакующий любовный блиц-стиль, пожалуй, тоже следует объяснить этим несоответствием — угловатой, подростковой, subtilной грацией, большими, во все лицо, удивленными и ассиметричными детскими глазами, узкими девичьими, скорее даже девчоночьими бедрами — от этого так мучительно она рожала, чуть не умерла, и шрам от кесарева сечения до сих пор был ее тайным стыдом перед любовниками — и наконец застенчивостью, граничащей с замкнутостью и повергавшей ее в сумрачные и мучительные месяцы одиночества — это с одной стороны, а с другой, — внезапные и неодолимые, бешеные какие-то вспышки любовной страсти, которая налетала на нее, как смерч, закручивала и уносила куда-то ввысь, и когда все это проходило — а проходило это так же внезапно, как начиналось, — она плавно, как на парашюте, спускалась на грешную Землю и виновато, отрешенно и удивленно глядела на своего случайного и ни в чем не повинного любовника, не в состоянии понять, чем увлек ее этот чужой ей совершенно человек с чужим телом и чужой душой, и мгновенно и оскорбительно, хотя ненарочно, от него отлеплялась — сначала душой, а потом и телом, чтобы не длить эту превращенную в физкультурно-спортивные упражнения постельную канитель без божества, без вдохновения, увы — оставляя по себе в его сердце саднящую рану, горькую и незаслуженную обиду, а еще недоумение от капризного, своевольного и эгоистического ее характера — она быстро сходилась и быстро рвала, а когда рвала, с оголтелой какой-то страстностью набрасывалась на театр и на сына, и Петька тогда страдал от переизбытка к нему материнских чувств — как прежде от долгого и чуть ли не полного их отсутствия. Зямка, их главреж, и Женя, любимый теперь ее режиссер, — оба хорошо знали за ней эти перепады, и Женя совершенно серьезно потребовал от нее воздержания за месяц до сдачи спектакля и говорил, что она все погубит, ежели с кем-нибудь сей-

час переспит, пусть потерпит. А она и не думала, потому что вся без остатка ушла в эту дурнушку-Антигону, которую Женя с ее помощью лепил из антично-советского материала, и ей предстояло сыграть в этот предотъездный вечер Антигону-девственницу, как будто и она сама была девственницей, и чем-то это было похоже на Снегурочку, но с подвигом, который Снегурочке и не снился, именно с подвигом девственности, которую надо было сохранить нетронутой и замуровать заживо вместе с собой где-то за Фивами, и она свято верила в свое девство и в девичью свою силу, которой смерть нужна была больше жизни, чудовищная ее казнь была отчужденной формой самоубийства, и страсть сжигала все ее существо.

Как она презирала и честолюбивого педанта Креонта, и малодушную свою сестру Исмену, и усредненного, обезволенного своего жениха Гемона, и кряхтящий от старости трусливый Хор, и обалдевшего от страха кретина Стражника — всех этих осторожных, подпольных, оглядывающихся и заживо умерших людишек, древние ли они греки или советские ее соотечественники, нет ей до этого дела, нет разницы, и нет сил всю жизнь сжимать в руках, как зубами, бешено колотящееся сердце, нет сил прятаться, подчиняться, таить в груди самое сокровенное и ни разу его не высказать — боже, как это знакомо, как похоже! Нет, к черту это прозябание взамен жизни, вечное дрожание, гнусный страх, подкашивающий колени, постоянная оглядка — а что скажут? что подумают? как отреагируют? — в конце концов, она Эдипова дочь, и лучше покончить со всем разом, чем жить усредненно и бессмысленно! Она и в самом деле ни с кем не спала все это время, и была царской дочкой Антигоной, а не тюзовской травести, комсомолкой Катей Костиной, и жила и умерла как Антигона, и не играла, но именно жила, хотя ее жизнь в это время и называлась спектаклем, но спектаклем на самом деле была ее коммуналка, ее вечно ворчащая мамаша, ее пустые подружки, вся ее блеклая, анемичная и ненужная жизнь, даже ее Петька, страстно, физиологически ею любимый и абсолютно ей чужой, катастрофически чуждый ей человек, косный, упрямый и своевольный маленький тиран, очень похожий на своего отца, которого она когда-то так любила с первоначальной страстью девственницы и в котором так разочаровалась — как и во всех остальных своих любовниках...

Она жила Антигоной, ее безнадежной и краткой, как зигзаг молнии, жизнью, она играла саму себя, но в идеале, и идеал этот был

неосуществим и невозможен для нее, как и для Антигоны, которая достигла его только своей смертью — а как иначе можно вырваться из своего времени, преодолеть тягостную горизонталь собственной жизни, а значит и земное притяжение, которое давит, гнет, крутит и губит душу человека вместе с его неизбежно стареющим телом — даже ее молодым, ладным, ловким на сцене и в любовных утехх телом? И не сразу Катя догадалась, что Антигона с ее вроде бессмысленным подвигом и ненужным самоубийством — это идея сохранения молодости с помощью смерти, это осуществление себя в фантастической и мгновенной полноте, и странная мысль вдруг пронзила Катю, и пока она додумывала ее до конца, ее Антигона, ее двойник и ее идеал, стремительно от нее удалялась, потому что — что же это такое: она ждет этой своей заграничной поездки, как Антигона смерти? До чего же измельчена ее душа чудовищными условиями существования, что туристическая десятидневная поездка невероятна и непредставима в советском ее выдрессированном и стерилизованном воображении! Какая из нее Антигона, когда все ее мысли заняты чертовой этой поездкой, хотя она и включена в нее на птичьих правах, запасной, ибо поездка была привилегированная, и Катю поставили в один ряд со всеми этими народными маразматиками благодаря чистой формальности — вот уже второй год она была комсоргом, номинальным комсоргом в номинальной их комсомольской организации! А впрочем, ее товарищи по поездке — разве не номинальные народные артисты? Кожевников из Александринки бездарен и глуп, а народным стал благодаря случайному сходству с Лениным, роль которого он регулярно исполняет вот уже четверть века в самых разных спектаклях, от чего наполняется гордостью, как индюк. А Дафнов из Большого Драматического, получивший Ленинскую премию за образы передовых производственников, на которых так набил руку, что уже никто не представляет себе передового рабочего на сцене или на голубом экране иначе, как в исполнении Дафнова, — сосредоточенный взгляд, нахмуренные брови, мужественная складка у рта, многозначительная медленная речь: скажет — рублем подарит! А Наталья Алексеевна Македонова, прославленная в тридцатые годы тюзовская их травести — чем прославленная? ролями юных карбонариев-революционеров — Гавроша, Котика Мгеброва, Гаврика, Тимоши, а особенно — самая знаменитая ее роль! — пионера Павлика Морозова, который донес на родного отца, что тот является тайным кулаком и вредителем: гнусный образ сталин-

ской эпохи, которому Наталья Алексеевна осталась верна по сю пору и на худсоветах под гробовое молчание всех присутствующих нет-нет да скажет:

— А не мешало бы нам, чтобы воспитывать наших юных зрителей на достойных подражания образцах, возобновить классический тюзовский спектакль о Павлике Морозове. Я не о себе, как вы понимаете, пекусь — с моей теперешней комплекцией Павлика не сыграешь, но есть же у нас молодые травести, да та же, к примеру, Катя Костина — вот бы где заиграл всеми гранями ее молодой талант! А на кого же еще должны равняться юные пионеры, с кого должны они делать свою жизнь, как не с Павлика Морозова?

Македонова обрывала свое выступление на высокой вопросительной ноте и с садистским удовольствием вслушивалась в мертвую паузу, потому что никто не решался ответить старой стукачке — она не только играла роль доносчика, но и сама доносила, и вопрос ее был не маразматический, а провокационный, никто ведь официально не отменил Павлика Морозова, стояли еще кое-где облезлые его статуи в пионерском галстуке, отдающие пионерский салют, а его имя упоминалось в ряду других малолетних героев от гражданской до отечественной войны, и был он промежуточным героем: “времен коллективизации” по сюжетному времени действия, а по апогею своего агитационного распространения — 1937 года, когда донос был не только идеальной, но и единственной формой существования советского человека — образ Павлика Морозова был не отменен, но приостановлен, оставлен про черный день, на всякий случай — кто знает, какие еще времена наступят!

А Катя от иезуитского предложения Македоновой поначалу приходила в ужас, потому что воочию представляла этого маленького стукача в пионерском галстуке, безмозглую жертву чудовищных тех времен, но — странная вещь! — так как Македонова время от времени возобновляла свое предложение, Катя постепенно прониклась ее идеей и мысленно проигрывала эту роль и даже произвольно стала мечтать о ней: в самом деле, разве не интересно было бы вскрыть пружины предательства в неокрепшем еще детском сердечке, росток фанатизма, который дал поразительные такие всходы, чудовищные те письма, которые сталинская эпоха выписывала на *tabula rasa* младенческой души и лепила, лепила, лепила из нее свой образ и свое подобие, а потом стирала вместе с человеком начисто — и зарезанный родным дедом лежал Павлик под ворохом красных листьев в продутым и мокрым осеннем

лесу, а эпоха уже рыскала вдали в поисках новых моделей и новых жертв.

А будто Антигону не одолевали все эти мелочи? Просто за давностью лет они либо исчезли, либо превратились в легендарные сгустки — и для нас, в историческом отдалении, весь этот гнусный мир мелочей, который придавливал Антигону мощным своим прессом и от которого она улизнула с помощью смерти — а как еще можно из-под него улизнуть? — для нас страшный этот мир приобрел мемориально-эстетическое значение, которого в нем при жизни и в помине-то не было, как нет его, к примеру, в зло-вонных дворах-колодцах доходных петербургских домов, по которым ее земляки-доброхоты водят москвичей, а то и иностранцев, а те “ох” и “ах”, мол, не здесь ли стоял в задумчивости Раскольников и поправлял лямку с топором — здесь! здесь! Только он по сю пору здесь вместе с твоими, иностранец, советскими современниками, которые ютятся в коммуналках, а из окна всю жизнь видят кирпичную кладку брандмауэра, и не то что старуху — весь мир хочется расколоть топором от безумия этого и от этого безобразия!

И с тайной надеждой вглядывалась она в сокровенное майское число, когда должна была состояться сдача их спектакля городскому управлению культуры и — в тот же вечер — начаться ее заветное путешествие. Что-то должно было произойти, и она, замирая и трепеща, этого “что-то” ожидала, хотя разумом убеждала себя, что ничего не произойдет, и зря опасается, зря надеется, а в предчувствии все оставалось по-прежнему, и она даже не знала, что на тех весах перетягивает — страх или надежда?

Но разве не невероятно, что она, тюзовская актрисочка, дурная мать, сексуально не очень разборчивая и уж совсем непостоянная женщина, вдруг ни с того ни с сего оторвется от своих театральных подружек, от коллег по “служению делу детской радости”, как высокопарно и не больно грамотно окрестил их паршивую работу давно уже почивший в бозе седобородый их основоположник (а может, даже основатель всех детских театров скопом) — и будет, вот чудо-то, целых десять дней бродить по прекрасным улицам всяких там абсолютно отсюда нереальных Амстердамов, Роттердамов, Антверпенов, Гааг, Брюсселей и Люксембургов?! А с витрин ихних капиталистических магазинов тысячи мелочей будут взирать на нее, отдавая хищному ее бабьему зрению — тысячи мелочей, недоступных даже Вике Беломлинской, их супер-

моднице и отчаянной минетчице, а уж она при ее потрясающих связях и галантерейно-трикотажно-кожевенном размахе что угодно достанет! Если всерьез, то это, конечно, предметы первой необходимости, но ежели заняться их доставанием в пределах любимого нашего отечества, то этому надо посвятить как минимум всю жизнь — и то не хватит! — потому что какая там кофточка либо трусики, когда противозачаточных средств сносных нет, и она в свои двадцать шесть лет уже семь абортс сделала! Кстати, и противозачаточные средства надо купить, если удастся, и Петьке килограмм обожаемой им жевательной резинки плюс чего-нибудь индейского, и туфли на платформе, и сумочку, и маме что-нибудь, может быть, складной зонтик, и подругам — о боже, и все это на тридцать советских рублей, из которых половину обменяют на бельгийские франки, а другую на голландские гульдены, да разве в этом дело — о боже, какое это невероятное и немыслимое счастье, какое безумие — голова кружится: Голландия, Бельгия, Европа, океан, свобода.

А думать она себе об этом запрещала, чтобы не сглазить, чтобы не исчезла из ее мозга та далекая огневая точка, которая зажглась, едва она узнала, что будет репетировать Антигону, и которая жгла ее всю насквозь, пока она — а день этот наступил! — не вышла вечером на сцену, и прожектор неистово заметался по огромному полукругу и выстрелил, обнаружив ее во тьме, световым в нее лучом. И стальная пружинка, невесть откуда взявшаяся, пронзила Катинo тело и выпрямила его, и все эти три часа она уже ни разу не сгорбилась, не согнулась, не склонилась — ни под мелким дождем трусливой и родственной невнятицы Исмены, ни под ливневыми каскадами любовной демагогии Гемона, ни даже под пулями логических и неопровержимых речей Креонта. Смерть ей была нипочем — не страшна, а желанна, потому что — о Боже! — как ей надоели и суетливые ее подружки, и склочное окружение Зямки — главрежа, который плел вокруг их с Женей спектакля паутину чудовищных интриг и даже забросил собственные репетиции — только бы помешать их работе, и оглядывающиеся, комплексующие и старательные постельные ее партнеры, и пребывающая в вечном страхе перед Молохом государства ее мать — да и удивительно ли, когда ее мужа увели в пятьдесят втором, а Кате было всего два года, и она проспала историческое это событие в своей зарешеченной кроватке на колесиках, и больше уже никогда отца не видела. Они сами уцелели чудом, должны были и

их репрессировать как родственников, но пятого марта Сталин умер, и их не тронули, а мать так и осталась на всю жизнь искалеченной страхом. Как хорошо, что Катя тогда не проснулась от длинного требовательного звонка в дверь — что она все проспала, пуская розовые пузыри от счастливых разноцветных снов, и вирус страха не проник в ее детское сердечко, и не было в нем страха, а если был, то сегодня на сцене она вытравляла его, чтобы не быть похожей на мать с ее вывихнутыми советской властью на всю жизнь мозгами, как был похож на Креонта его сын Гемон.

Зямка-главреж хотел им повредить, а в результате — к полной для себя неожиданности — помог. Она это поняла позднее, уже в самолете, может быть, даже в тот самый — тоже, кстати, неуловимый — момент, когда они перелетали государственную границу Советского Союза и оказались в чужом небе, и она чуть ли не физически ощутила — как перепады в давлении — различие в уровнях свободы: как будто они нырнули в глубокую воздушную яму, а когда чудом вынырнули из нее, оказались в другом мире, и названия у этого мира еще не было, а только удивление от него, и глаза слепило — даже сквозь закрытое веко достигая зрачка!

А в самолете и в самом деле мысли ее потекли вдруг — какое счастье, что Женя репетировал дипломный спектакль именно у них в Тюзе, и именно "Антигону"! Хотя и был Женя героем не ее романа — жесткостью концепций и режиссерским деспотизмом скорее он походил на Креонта — эмоционально, а умом брал сторону Антигоны, но в политической стратегии разве дело? Старшим лейтенантом, только что окончив журналистский факультет, оказался он в шестьдесят восьмом в Праге, и хотя вернулся оттуда целым и невредимым, сознание его было тогда слегка контужено, он просидел месяца три в сумасшедшем доме, а потом, сдирая с себя прежний образ, решил заодно поменять и свою верноподданническую профессию на более свободную — так ему казалось — режиссерскую. Они с Катей ненавидели одно и то же, но он, будь Антигоной у власти, казнил бы, наверно, Креонта за неповиновение — в этом их различие, и еще в том, что ненавидели они одно, а любили разное, и общая их платформа была условной, зыбкой и случайной: в виду общего врага.

Нашлась же у Зямки с Натальей Алексеевной общая платформа, когда они позним тем вечером обсуждали "Антигону" на расширенном худсовете — расширенном за счет Управления культуры, Обкома партии и КГБ! Как они люто друг друга ненавидели, а на

худсовете вдруг объединились и с обоих флангов напали на "Антигону" так яростно, что даже бывалые церберы из Управления, Обкома и КГБ несколько опешили и приуныли, ибо притомились уже от политических скандалов в сомнительной сфере эстетики и надеялись хоть в Тюзе полюбовно разойтись, ограничившись десятком-другим незначительных купюр идейного порядка. Да не тут-то было! Катя исподтишка поглядывала на часы и удивленно на Македонову — но та и ухом не вела, будто не отходила в 23.55 "Красная стрела", будто не им завтра утром лететь из Москвы в Брюссель — чудо! чудо! чудо! — какой там Брюссель! Как свора лагерных собак, спущенная с цепи и поднаторевшая в зверстве, набросились они на "Антигону", и Кате казалось, что не на спектакль, но на нее, и все продолжается, и снова она Антигона, и второй раз ей умирать, и нету сил на вторую смерть, и неоткуда их взять. А Женя наливался краской, и она ждала от него чего угодно, и уже не зеленые лягушки и даже не бугроватые жабы, а гремучие змеи выползали из двух этих ртов — Зямкиного и Македоновой; один говорил о формализме, а другая о подтексте, которого, по глубокому убеждению Македоновой, в советском искусстве, а тем более в детском, не должно быть вовсе, и это слово в ее устах было синонимом чуть ли не антисоветизма, и все понимали, что уж там, где следует, Македонова назовет все своими именами, отбросив невнятные темному ее рассудку термины, тем более, что подтекст она иногда путала с контекстом, а когда ее поправляли, злобно отшучивалась:

— Я "Голос Америки" не слушаю, и словечки эти ваши запоминать не собираюсь!

Последние дни Зямка зачастил к ним на репетиции, слегка световых эффектов подбавил, главрежскую власть свою разок-другой продемонстрировал, чтобы сподручнее было свою фамилию перед Жениной на афише поставить — даже не в качестве соавтора, но руководителя постановки, ибо давно уже остыло в нем — если было? — да и было ли? — художественное желание, разуверился он в искусстве либо в его вероятности здесь — да и правда, невероятно... — зато цинично, суетливо пекся единственно о честолубивой своей выгоде — искусство же было для него обманом, волшебным стеклышком, иллюзией, фокусом, массовым гипнозом — и больше ничем! Их с Женей "Антигона" — Зямка это окончательно понял за несколько дней до сдачи спектакля — выбивала его из седла, и он воспринимал их абсолютно независимый от него спек-

такль, как подкоп под него лично, потому что Женя был решителен, независим и прямолинеен, как плакат, и это, кстати, Катю раздражало, ей-то хотелось скорее нюансов, — но Женя знал, чего хотел. “Антигону” он ставил как спектакль о фашистском государстве, где ни охнуть, ни вздохнуть, ни чихнуть и ни пукнуть — чтобы не услышали и тут же не передали по начальству, где запрещен физиологический минимум — предать земле мертвого человека, а о большем и речи нет — куда там! Когда же Зямка, где-то уж на генеральных репетициях, докумекал, что семь его актеров, занятых у Жени, увлечены настолько, что даже по ночам репетируют, чтобы уложиться в жесткий график, в который он же их и засадил, словно им передалась от Жени его идейная страсть, его энергия и мысли, а главное — что все правда: при чем здесь греки, когда каждое слово про них, про их отечество, зажатое в ежовых рукавицах страха и демагогии, — тогда Зямка пришел в ярость, вывесил приказ по театру о выговоре актерам за внеурочные ночные репетиции, и каждого из них вызывал к себе в кабинет, грозился, накачивал, ставил перед выбором между главрежем и художником, между благополучным прозябанием и безнадежным горением. А ее, Катю, так даже вызвали в районное отделение КГБ и долго, настырно выпрашивали про репетиции, намекая на прямую связь между ее ответами и поездкой в Бенилюкс — от вас, мол, все зависит, мы же вас ни к чему не принуждаем, но знать бы нам все-таки хотелось, не намекал ли любимый ваш режиссер на связь между Фивами и — хи-хи! — нашим государством, не читал ли на репетициях роман Орвелла “1984-й”, не говорил ли, что Антигона — это лишь слабая тень тех миллионов, которых сгноили и расстреляли в советских концлагерях?

О боже, как ей хотелось в распроклятый этот Бенилюкс, и она четко понимала, что уже был донос, — сначала Зямке, а от Зямки уже сюда, и вроде бы подтвердить не значило донести, и только в самый последний момент она прорвала паутину хитроумной этой аргументации трусливого ее alter ego — дура, дура, догадалась вдруг она, ведь у них один свидетель всего, не больше, и она — один, и кто-то врет, пусть гадают, пусть и они помучаются, кто говорит правду, а кто врет, и она упорно, небрежно, даже брезгливо все отвергла — и Орвелла, и торжество двух государств, и прочие аналогии и параллели. В конце концов, не зря же она, черт побери, кончала театральный!

А Зямка тем временем продолжал неистовствовать и мешал

им изо всех сил — прерывал репетиции, кричал на актеров, настаивал против них труппу, худсовет, критиков. Попытался даже расколоть великолепную их семерку. Гемон и Исмена, сподобившись своим героям, стали опаздывать на репетиции, уходить раньше времени, будто на телестудию, и Креонт заколебался, и они за него слегка побаивались, хотя не ожидали, что он такое им выкинет коленце на премьере.

А как мало было у них репетиций на сцене — ее Антигона так и не обвыкла с пустынным пространством тюзовской сцены, которая после замкнутой репетиционной комнаты гипнотизировала и без того настороженное ее сознание, и она цепенела поначалу, как кролик под взглядом удава, и даже Женя растерялся от ее оторопи перед сценой, на которой она вот уже три года кого только не играла. А она и в самом деле цепенела от пространства, потому что не было в ней, маленькой жительнице греческих гор Антигоне, театрального опыта ее теперешней двойницы тюзовской актрисы Кати Костиной, как не было и ее сексуального опыта — по крайней мере трех десятков любовников — сколько точно не помнила, зато помнила сколько аборт: семь плюс роды с кесаревым сечением, — а было только удивление перед женской своей природой, невинные поцелуи с Гемоном и куда более “винные” постельные игры с Исменой.

Всполовившись от пронзительного Катиного перевоплощения в Антигону, Зямка стал в последнюю их генеральную репетицию при пустом зале орать на Женю, что они, неблагодарные свиньи, хотят и сами сесть и его посадить за решетку, сделав антисоветский спектакль из Софокла — ума для этого много не надо, и таланта тоже, злобно добавил он, а у него партбилет, и он не собирается расплачиваться им за дешевое фрондство — тоже мне Солженицыны нашлись! И в тот же день помчался в Обком партии, в Управление культуры — куда еще? — и на сдачу собрался весь их городской синклит — от секретаря Обкома до начальников КГБ и Управления культуры. Причем вечерний спектакль на всякий случай был отменен, хотя намечалась сдача на зрителе, и в зал пустили только десятка три ранее приглашенных журналистов и критиков — не выгонять же! — а по Ленинграду уже ползли — отчасти благодаря Зямкиному громогласному перебздежу — слухи о крамольном спектакле, и даже конную милицию вызвали к театру, чтобы отеснить неименитых зрителей, чем еще более преувеличили значение того, что должно было произойти этим вечером, и они, стоя за

занавесом в обложной тьме, дрожали от нетерпения и ужаса, и наспех сделанные декорации валялись набок и удержать их не было никакой возможности, и древнегреческий пеплос поверх туники оказался ей велик, а буквально за мгновение до занавеса Креонт решительно вдруг заявил, что он партийный и поэтому отказывается играть в антисоветском спектакле.

Это и было иезуитское Зямкино коленце, и Катя зарыдала в голос, потому что все шло прахом, не было никаких уже надежд, и тогда Женя, в кромешном этом аду, под угрозой полного срыва и чудовищного позора, решительно и со всей силы пнул ногой шаткую декорацию, и она отвалилась окончательно, и сцена обнажилась до черных обгорелых кирпичей, накричал на рыдающую в истерике Катю, и Катя даже испугалась, что он и ее пнет ногой, как декорацию, и перестав плакать, с ненавистью на него взглянула:

— А Креонт? Как же без Креонта?

— Креонт буду я, дура! — закричал на нее Женя, и занавес в этот момент пошел, медленно, а потом все быстрее и быстрее, и в полупустом зале они увидели своих начальников и своих критиков, а предвкушавший срыв Зямка, обнаружив на сцене Женю и догадавшись, что Женя и есть Креонт, закусил губу, не зная чего ожидать от внезапной этой метаморфозы — триумфа либо провала.

Сестра моя любимая, Исмена,  
Не знаешь разве, — Зевс до смерти нас  
Обрек терпеть Эдиповы страдания?

начала Катя партию своей Антигоны, шмыгая носом и боковым зрением фиксируя застывшего в тени Креонта, наливаясь ненавистью к нему и к его исполнителю, ввергнувшего ее в эту сладкую надежду-истому, которая длилась целый месяц, и она лелеяла ее в своем сердце, а та оказалась на проверку бездной, в которую она сейчас стремглав летела вниз головой с расширенными от ужаса глазами и одновременно деревянным голосом механически что-то говорила Исмене и понимала уже, что все это попутно, побоку, а главное ее столкновение с Креонтом, а точнее с Женей — вот главный — по сути! — ее враг, который вроде бы стоит на близкой ей идейной платформе, но если бы не общий их неприятель, не косная их среда, не милое их отечество, если бы свобода и гамбургский ринг, то были бы они на нем как два противника, два непримиримых борца за истину, и тогда стальная пружинка начала вызывать ей слова и жесты, и она, ничего не помня и ничего не пони-

мая, как замороженная, произносила эти чужие слова, как свои, — выкрикивала, выплевывала, сглатывала их, как слезы, да и не надо было ни слов, ни памяти, ни понимания — ни ей, Антигоне, ни им, редким зрителям в зеленом их амфитеатре, дружелюбно сбегавшем широкими ступенями к сцене — и без слов, что-то другое, но что? — окаменевшая, со стянутыми лицевыми мускулами и остановившимся взглядом, пустая, как после аборта, выслушивала она вполне убедительные речи Креонта и еще больше его ненавидела.

И почему-то снова вмешались оба ее ожидания, наложились одно на другое и совпали — ожидание этого спектакля, который сейчас шел, словно бы и помимо нее, и ожидание завтрашней поездки — тоже помимо, и ожидание напрасное — ни удовлетворения, ни покой, ни свободы, а только нервическая какая-то возбужденность.

И вдруг траурным своим крылом задела ее догадка, что враги — это близкие, и чем ближе, тем непримиримее, и она забыла о том, что она Катя Костина, а что ее враг Креонт: на всем земном пространстве их было теперь всего двое самых близких и самых ненавидящих друг друга людей — она и он, Антигона и Женя, и больше никого, и смертельный холод сковал убогую ее плоть, и она отвечала Жене оцепенело, непримиримо и глухо, как будто уже из своего заточения, и стало необычайно тихо, когда она произнесла последние в этой жизни свои слова...

А конца худсовета они с Македоновой так и не дождались и помчались вдвоем — два врага — в одном такси на Московский вокзал, и ей было все равно, примут их спектакль или нет, она ничего не понимала, и оцепенение ее не проходило и не было у нее никакой возможности спуститься с высот античного мифа на грешную нашу землю, и в поезде она предусмотрительно сглотнула две таблетки зунуктина, что по-гречески значит "Доброй ночи".

## 2. ЧУДЕСА В РЕШЕТЕ

Боже, как мешала ей Македонова в самолете — будто нарочно! А эти ее обращения — "милочка", "душечка", "девочка" — тошнота подступала к Катиному горлу, причем, странная вещь, все эти гнусности — совпадали с воздушными ямами и находились от них чуть ли не в прямой зависимости: чем глубже яма, тем гнуснее становилась ее речь, словно проваливаясь вместе с самолетом в бездну злоречия. Воздушная качка на Катю всегда действовала

отвратительно, и азрон не помогал ничуть, а Македонову качка вроде бы даже вдохновляла, и вдохновляла еще Катина физическая беспомощность — не могла же она не видеть, что Кате плохо, — видела и еще больше распалялась, расходилась, распоясывалась окончательно:

— Вы, душечка, на меня не обижайтесь, вас я меньше других виню — что с вас возьмешь? Вы сыграли то, что вас сыграть заставили. Артист — лицо подневольное, мы как при крепостном праве живем, и режиссер — наш полновластный хозяин, куда от него денешься?

А Женя был в самом деле деспот — он вбивал свои мысли в головы актеров, как гвозди, не терпел ни сопротивления, ни даже обсуждения предложенных им идей. Порою она даже не понимала, зачем ему ставить спектакль, когда концептуальный каркас полностью был у него готов заранее, и от актеров он ждал единственно исполнительности, а никак не личных добавлений. С Катей у него сразу же начались нелады, потому что обмысленный им предварительно и полностью образ Антигоны расходился с тем, что пыталась сделать она. Антигону он воспринимал сугубо в плане политическом — как политическую оппозицию авторитарическому режиму в лице Креонта, а для Кати Антигона выпадала из политической структуры вообще и уже этим была неприемлема: не только для Креонта — для любого властелина, самого терпеливого и терпимого. Так же как для Антигоны неприемлем был любой государственный строй. Иначе говоря, в государственном порядке Антигона видела насилие над личностью, а Креонт в Антигоне видел разрушительное начало, произвол, анархию, угрозу порядку. Антигона была в споре с Креонтом, не отменяя государство вообще, но ограничивая его, сужая его пределы, отвоевывая независимую для индивидуума область свободы — хотя бы душевной. Но если бы этим дело ограничивалось, — а именно этого и хотел Женя, сведя образ Антигоны на уровень Натальи Горбаневской, диссидентки и великомученицы, — то стоило ли огород городить? Но Антигона и вообще выпадала из государственной структуры, противопоставляя ей космический миропорядок, человеческим декретам — божественные законы, порядку — гармонию, и здесь была между Антигоной и Креонтом пропасть, как между Катей и Женей, потому что Женин режиссерский метод был насильственный и фашистский, и если у них все-таки получился спектакль — об этом она узнала, позвонив из Москвы в Ленинград, — то глав-

ная причина их удачи упиралась, конечно, в змеиное Зямкино коварство, которое чудесно так и неожиданно завершилось Жениным актерским дебютом по совместительству. В его Креонте она обрела врага достойного и трудного, и вся их скрытая и тайная репетиционная вражда просочилась в спектакле наружу и накрепко сценизировала идейный его конфликт.

— Меня другое интересует, милочка, — продолжала гнусный свой лепет Наталья Алексеевна, — не кто за вашей спиной, а кто за спиной вашего Жени стоит, с чьего голоса он поет и на чью мельницу льет воду? А двух мнений тут быть не может. Ведь что такое ваша Антигона? Не надо из нее делать Зою Космодемьянскую! Мужество — это форма, оболочка, а ради чего идет Антигона на смерть? Ради Полиника — опустошителя Фив, изменника Родины, власовца, предателя! Так что нечего дурака валять: ваша Антигона — это апология предательства...

Здесь их мощно потрянуло, самолет начал проваливаться в преисподнюю, и Македонова успела в воздушной этой воронке, воспользовавшись полубомбочным Катиным состоянием, сказать ей последнюю гадость:

— Вот где собака зарыта! Как это я сразу не догадалась? — русский мужик, он всегда после драки кулаками машет, я это только вчера в поезде поняла! Ну, погодите, я этого так не оставлю — вот приедем обратно, я сообщу куда следует о вашем подтексте...

Но поразительная вещь — только их самолет после этих слов набрал высоту и выравнивал свое движение, как Македонова присмилела, и Катю это так поразило, что она не сразу уловила подлинную и единственную тому причину, а когда поняла, то развеселилась и не выдержала — отомстила:

— Наталья Алексеевна, а ведь мы уже в другом мире и до "куда следует" отсюда не докричишься. Вы хоть знаете, что под нами — Австрия? ФРГ? Дания?

Македонова испуганно взглянула в иллюминатор — как и Катя, она впервые ехала в капстрану, и по ее лицу пробежала безумная тень, которой Катя не придавала тогда никакого значения, но про которую вспомнила спустя несколько дней, уже в Голландии, когда все это началось и всех их закрутило.

А пока что сказочно было, что под ними проплывала та самая Европа, которая, ни разу не виденная воочию, отложилась в воображении легендой, мифом, совершенным апокрифом и даже крамоллой, и страны мелькали в двуязычных радиообъявлениях стюардес-

сы, как в калейдоскопе, диаскопически уменьшаясь до тех самых размеров, которые Катя в них и предполагала, помня их тесное и дружное скопище на политической карте, где они мирно паслись словно бы под присмотром красной громадины, по которой четырьмя аршинными буквами было написано название ее страны. Как-то даже и не верилось в их независимое от нас и даже воинственное по отношению к нам существование, слишком они были незначительны размерами, а страны, в которые они летели — и того более: они были обозначены даже не словами, которые на них не помещались, а цифрами, а названия даны были в сносках к карте, и это еще более снижало их значение, а их претензии делало смешными и нелепыми. И багровый зверь, возлежавший на двух подушках — Европы и Азии, казался Гулливером в стране лилипутов, и только добродушным его могуществом и незлобивостью можно было объяснить, что бурая эта краска не потекла далее и не окрасила разноцветный и лоскутный выступ в единый колер.

Хотя — с другой стороны — Давид и Голиаф...

Впрочем, это были не глубокие чувства, а праздные мысли по поводу карты — и более ни о чем, и она ждала, наоборот, их опровержения, потому что карта — это вид с птичьего полета, схема, тень тени, а мир подробен и тем уже прекрасен. И вот самолет их стал снижаться, слегка подпрыгнул, когда шасси коснулось бетонированного поля, и помчался по чужой земле, замедляя свой бег, чтобы подрулить, наконец, к зданию франкфуртского аэровокзала, из которого высунулся длинный гармошечный хобот, тут же присосавшийся к борту; через несколько минут, зажмурив глаза от блеска, они уже въезжали на эскалаторе в хрустальный дворец советского ее детства, в мечту-универсам, и все было точно так, как ей когда-то представлялось и было обещано, а потом — с годами — начисто забылось: совпадали даже детали, и возникало такое ощущение, что это не реальность, а внезапный рецидив детского ее состояния, сон, мираж, фата-моргана, готовая вот-вот исчезнуть — и навсегда! И было счастье, что все-таки осуществилось, и была обида, что с таким запозданием, а не синхронно, не одновременно с острым тем и ненасытным детским желанием.

Изобилие, разнообразие и разноцветье поразило ее в волшебных этих витринах — чего-то подобного она, правда, ожидала, но это превосходило все ее ожидания: здесь было все, что человеку могло понадобиться в земной его жизни, и еще некоторый излишек, и переизбыточность эта была опасной для глаза, как для голодного

обжорство, и она зажмурила глаза, но тут же открыла, испугавшись, что все это навсегда исчезнет, и мимо нее, совсем уж как в сказке, пронесся похожий на гнома клерк в униформе и на самокате, — потом она даже привыкла к разъезжающим по огромному аэровокзалу служащим на самокатах и велосипедах, но поначалу опешила, ибо не соединялись никак интерьер и самокат, это во-первых, а во-вторых, детский самокат и взрослый человек.

— Мы рождены, чтоб сказку сделать былью, — усмехнулся за ее спиной Илья Глузман.

Глузман был единственный в их группе еврей и самый молодой среди них, даже ее на год моложе, весьма задиристый и острый театральный критик, звезда которого в их городе восходила с необычайной быстротой: последняя его статья в молодежной газете “Смена” вызвала настоящий бум в театральной среде и, несмотря на превентивную осторожность редакции (поместившей статью в порядке обсуждения и заранее, в сноске, оговорившей свое с автором полное несогласие), стоила редактору выговора, а литсотруднику, лично за статью ответственному, наказательного перевода из отдела искусства в отдел сельской молодежи — на целый месяц. А над Ильей гроза пронеслась, не задев, — вот, даже в Бенилюкс его пустили.

У Кати, которая была запасной и попала в поездку лишь потому, что в самый последний момент из группы выбросили — без всяких на то объяснений — шесть человек и включили ее, чтобы хоть как-то восполнить поредевшие их ряды и избежать полного финансового краха (ибо поездка была уже валютно оплачена), мелькнуло было подозрение на Илью, но настолько оно было неправдоподобно, гнусно и слишком типично для ее среды, что она застыдилась, пожалуй, даже больше своей неоригинальности, чем непорядочности.

То, что Илья оказался с ней в одной поездке, было, конечно, чистым везением, потому что давало возможность совместного удаления от мастодонтов и маразматиков типа Павлика Морозова. Однородный состав их группы и коллективная ее спайка приводили Катю в ужас, они могли отравить не то что вожака поездки, но и все ее дальнейшее существование надолго вперед, на всю жизнь. Впрочем, был среди них довольно известный поэт Глеб Обидов, державшийся от прочих особняком.

Боже мой, с самого начала они избрали себе в руководители, конечно же, Кожевникова, иначе и быть не могло, обойти Кожевнико-

ва значило пренебречь его актерским амплуа исполнителя роли Ленина. Уже в самолете они срочно созвали собрание партийной группы и, отсев на задние скамейки, долго о чем-то шептались и даже стыдливо приподымали руки — как потом выяснилось, избирали прямым голосованием парторга группы. Непартийных оказалось всего трое — они с Ильей, числившиеся еще комсомольцами, да сорокалетний Глеб Обидов.

Про Обидова она много слышала — последние пять лет он входил в моду и был широко известен в узких кругах, — но ее отпугнул блудливый его взгляд, что-то было в нем ненадежное, а что — она не понимала пока, хотя смутно догадывалась.

А Илья был весел, энергичен, его громкая цитатная шутка о сказке, которая стала былью, но не у нас, рожденных вроде бы сделать ее таковой, как предсказывалось в знаменитой песне, шутка эта прозвучала вовремя, ее рассмешила, зато насторожила мастодонтов.

С Ильей она была знакома давно, хотя поверхностно, шапочно, он приятельствовал с Женей и бывал у них на репетициях и на сдаче был — хоть и опальный, но критик, и этими двумя своими качествами он Катю и привлекал — опальность была визитной карточкой в их кругу, и многие даже добивались ее всеми доступными средствами, пытаясь сочетать ее с жизненным благополучием, а критик он был и в самом деле отличный, редко кто так чувствовал театр, как он, и ей льстило всегдашнее его к ее персоне внимание, а теперь — после "Антигоны" — особенно. Ему, журналисту и рецензенту, тоже льстило более близкое знакомство с перспективной актрисой — они были из разного профессионального теста, и это-то — не в последнюю очередь — их и подтолкнуло друг к другу.

Но в первую — мастодонтное окружение.

— Никто не расходится, будем ждать нашего самолета всей группой, — вовремя объявил Кожевников, потому что все стали уже расползаться в разные стороны — вслед за своими вездесущими и недисциплинированными глазами.

— Вы хоть знаете, сколько ждать? — весело спросил Илья.

— Сколько надо, столько и подождем!

— Сейчас полпервого, а самолет на Брюссель в шесть двадцать!

— Кто вам сказал!

— А здесь и спрашивать не надо — взгляните на табло: 18—20. Черным по белому. Точнее — желтым по черному! — И обращаясь

к Кате, сказал ей повелительно, возмутив уже не одного Кожевникова:

— Пошли.

Чем больше Илья Кате нравился, тем больше он ее и раздражал — тем же, чем и нравился: самоуверенностью, высокомерием, еврейством.

Илья это с первых минут ощутил — уж в чем в чем, а в интуиции ему не откажешь!

— Катенька, — взмолился он, едва они разговорились, — ну что вам стоит все имеющиеся в вас запасы раздражения тратить на мастодонтов — они того больше заслуживают, чем я.

— На них неинтересно, — честно, в тон ему призналась Катя, — из пушки по воробьям...

— А я — самый раз, да? Лучшей мишени не выдумаешь! Если мне еще и от вас защищаться, сил не хватит, Антигона Эдиповна!

— А вы их мобилизуйте ввиду ответственного момента, Илья Израилевич!

Они весело прогуливались по аэровокзалу, чуть ли не на каждом шагу останавливаясь и прикипая взглядом к витрине — не оторвать! — на этой однако реплике он слегка поморщился, задела-таки его самолюбие, хотя и гнусно.

— Я надеюсь, Катя, что юдофобство вам все-таки не свойственно: дурной тон — и банальный!

Ей стало стыдно за невинный свой выпад, и она неожиданно прониклась к нему нежностью:

— Как не стыдно, Илья, что за обиды, уж и пошутить нельзя.

С Женей Катя тоже вступила в словесную перепалку чуть ли не с первой репетиции, но с Женей у них романа не намечалось, а с Ильей — наклеывался: что-то в нем было любопытное и ее волнующее, может быть, еврейское это сочетание высокомерия и уязвимости?

Им вдруг показалось, что они заблудились — кончилось неоновое-стеклянное великолепие аэровокзальных магазинов, поутихла пассажирская суeta вокруг, исчезли мастодонты: рядом с ними ехал бесконечный и совершенно пустынный эскалатор, вокруг не было ни души, было странно и очень хорошо, и чуткий на настроение и ситуацию Илья взял вдруг ее за руку и слегка притянул к себе.

— Илья, вы же сами говорили, что у нас впереди еще девять дней, как вам не совестно так торопиться!

Поворот — и они снова очутились во франкфуртском универсаме и стали прицениваться: Илья объяснил, что марка по ценности что-то вроде гюльдена, а им выдадут по сорок восемь гюльденов на душу.

С точки зрения этой мизерной суммы все оказалось чудовищно дорогим — Илья, скажем, даже не мог себе купить хорошую оправу для очков, а у Кати не хватало двенадцати марок на приглянувшуюся кофточку. Но может быть все-таки гюльден и марка не тождественны? И потом у них будут еще бельгийские франки, а говорят, что их можно не тратить в Бельгии, а в Голландии обменивать на гюльден.

А пока что у них не было ни копейки.

Есть хотелось дьявольски, и никто ничего не припас, так как никто не предполагал шестичасового торчания во Франкфурте.

Катя смутно припомнила историю Нильса, который играл на берегу моря, когда из воды неожиданно вынырнул город, и Нильс вошел в него, и оказалось, этот город был потоплен в наказание за грехи, и раз в сто лет появляется ровно на час на свет божий. И если кто-нибудь успеет в этот город зайти и купить там хоть какую-нибудь мелочь, то город будет прощен, а ежели нет — еще сто лет морской ссылки, и Нильса весь город умоляет что-нибудь купить, а у него — ни гроша.

Как и у них.

— Все-таки слишком ярко, — сказала Катя.

— Как же — виноград зелен! — рассмеялся Илья. — Помните отечественную нашу пословицу ' "Дурак любит красное"? А что в этом зазорного? У нас не только красное — у нас вообще цвет игнорируют: серость и тусклость. Так вот, Катенька, я дурак, и я люблю красное, и глаз мой прыгает от счастья, узрев разноцветье!

— Попрыгайте вслед за ним — скатертью дорога! — сказала голодная Катя, и в самом деле раздражаясь на неиссякаемый еврейский энтузиазм Ильи.

— Катя! Если я уйду, вас съедят голодные мастодонты.

— Не бойтесь — меня спасет Обидов!

— Это еще как сказать — глаз-то он на вас положил, это несомненно, но в рыцарских его склонностях я как-то сомневаюсь.

— А в своих?

— Меньше, хотя тоже сомневаюсь. Но от мастодонтов спасу — на это бы хватило.

— Вы его знаете?

— Одно слово — Обидов: этим все сказано, — в постоянной на жизнь обиде. Бог не зря дает людям фамилии. Обидов закомплексован на сто лет вперед — он умрет, а комплексовать не перестанет. Он и поэтом стал из зависти к старшему брату-журналисту, которого, наконец, обогнал в славе. С детства у него полное отсутствие слуха, а главная его мечта была стать певцом либо дирижером: супротив своей природы! В ЦДЛ он однажды, выпив, взобрался на стол и снял штаны, чтобы показать, что и у него есть.

— Ну, это, положим, анекдот, — усомнилась Катя. — А поэт он какой?

— По секрету — он не поэт, но в совершенстве овладел всеми признаками означенной профессии — от рифмы до кудрей. В нем есть глубина, но это бездонная глубина пустоты, и он, кажется, начал об этом догадываться, потому что роет в себе уже лет двадцать как минимум, а все ни до чего дорыться не может. Боюсь, что я окажусь с ним в одном номере, из двух зол — а на самом деле, более, сколько у нас мужиков в группе? — это наименьшее, хотя я бы предпочел поселиться с вами, но вас поселят с Македониной — перспектива не из веселеньких, но смиритесь, это неизбежно: вы слишком молоды, и вам нужен пастырь, а у Павлика Морозова в этом отношении огромный исторический опыт, хотя если бы мне вас доверили, я был бы пастырем лучшим и куда более заботливым, нежным и строгим.

— Филейная вырезка с кровью — и я ваша! — сказала голодная Катя. — Торопитесь, это как на аукционе: один, два, три. Да меня любой иностранец возьмет: молодая, смазливая плюс экзотика — советская женщина. Еще один плюс — актриса.

Они, кажется, уже выучили наизусть все закоулки франкфуртского аэровокзала, когда начались чудеса.

Во-первых, они натолкнулись на Обидова, который пытался приспособить советские пятикопеечные к универсальному автомату, где за стеклом на полочках поблескивали бутерброды, сигареты, презервативы, жевательная резинка. У Обидова ничего не получилось.

— На счастье! — азартно воскликнул Илья и бросил в автомат свою пятикопеечную, — будто не такая же, как у Глеба, — и в автомате что-то вдруг забулькало, зазвенело, и из его изобильного чрева высунулся чудесный бутерброд с ветчиной и тонкими до прозрачности ломтиками весеннего огурца.

— Это вам на зубок, но все же — прошу зачесть в счет филейной вырезки.

Обидов даже сморщился от их везения и снова забросил в щель автомата свою пятикопеечную, которую автомат вежливо и безропотно возвратил ему в целости и сохранности. А Илья, упоенный удачей, еще его подразнил, сказав Кате:

— Ну что ж, пошли искать счастья дальше.

На душе у нее стало легко и весело — даже не от бутерброда, а от везения. Она уцепилась за Илью:

— Я с вами играю. Вы попали в счастливую полосу, надо только не сглазить и не искушать судьбу. И главное — спокойствие: удача в наших руках. В ваших, — поправилась она, понимая, что все дело в Илюшиной самоуверенности, которая передается внешнему миру, и сейчас будет все, что он захочет.

Второе чудо потрясло ее настолько, что она даже заподозрила, что оно последнее.

Решив не искушать более судьбу, они обходили стороной попадающиеся на их пути автоматы. Илья рассказывал ей о заказах, которые получил перед поездкой.

— Ваш Женя заказал себе "Паркер", но, как выяснилось, — это не по карману, я даже не ожидал — от 48 до 72 марок! Разве что кто подарит. Либо найду ненароком. — И вдруг замолчал, остановившись, а потом указал Кате на кресло в пустом зале ожидания: на нем лежала забытая авторучка. Илья поднял ее: "Паркер", причем самой дорогой модели.

— Фантастика!

— Нас кто-то подслушал, — предположила Катя.

— Фу, какая вы материалистка! И потом, что за оскорбительная подозрительность! Разве Бог подслушивает?! Бог все видит и все слышит!

— А вдруг это провокация?

— Если бы это была провокация, то был бы не "Паркер", а как минимум Кадиллак: что мы с вами — дешевка какая-то?!

— Черт знает что, мистика какая-то! У вас, что ли, телепатические таланты? Тогда что вы все натурой да натурой — бутерброд, авторучка?! Нельзя ли в виде валюты?

— Сколько угодно! Только прикажите!

— Приказываю. Где?

— Да хоть в этой телефонной будке! Во всех странах мира, даже у нас, в телефонных будках всегда что-нибудь забывают. Это же-

лезный закон — потому что за разговором начисто отключаются от окружающей реальности.

— Так что же, мне шастать по телефонным будкам?

— Ну, хоть в одну зайдите, хотя бы в эту!

— В эту — ладно, и basta! — и Катя решительно открыла стеклянную дверь, чтобы разоблачить наконец его дешевые фокусы, хотя и со смутной — однопроцентной! — надеждой, что фокус удастся: а вдруг?

Она мгновенно вышла обратно совершенно растерянная. Да и Илья помрачнел, увидев в ее руке портмоне, которое она ему протягивала.

— Может быть, положить обратно? — неуверенно спросила Катя: ей хотелось избавиться от кошелька и от забот, с ним связанных.

— Ну, уж нет, — решительно сказал Илья и сунул портмоне в карман.

И вовремя — рядом, словно из-под земли, вырос Обидов.

“Видел”, — промелькнуло у Кати с Ильей одновременно.

“Видел или не видел?” — засомневались они через мгновение.

Надо же, принес черт — и не отвяжешься!

Какая это была мука — разговаривать с Обидовым как ни в чем не бывало и не иметь возможности, послав его к чертям собачьим, обсудить происшествие, а главное — заглянуть в портмоне!

Пожалуй, в другое время Катя бы слушала Обидова со вниманием — Илья перезлословил в его адрес: насчет таланта неизвестно, а умом Бог Обидова не обидел!

Но сейчас ходить с ним как ни в чем не бывало и гадать, видел он или не видел, и не иметь возможности даже переговорить друг с другом, а тем более заглянуть в кошель, который Илья бережно придерживал в кармане рукой, боясь его столь же внезапного исчезновения и гадая о содержимом, — о Боже, какая мука!

Обидов между тем говорил и говорил.

#### Монолог Глеба Обидова о загранице

— Во-первых, я считаю, что мы уже побывали в капстране и больше мы ничего нового не увидим и уж сильнее впечатления, чем от этого аэрочуда, у нас уже не будет. Франкфуртский этот аэродром и есть для нас заграница, потому что для нас что Испания, что Голландия, что Лихтенштейн — все одинаково — повидав

что-нибудь одно, можно ни к чему другому уже не стремиться, ибо качественное отличие всех этих стран оптом от нашей страны куда более велико и значительнее, чем между собой. К примеру, я не знаю ни одного иностранного языка и французский, голландский, шведский, английский, немецкий, португальский — любой! — одинаково для меня не понятен и экзотичен. Но это формальная экзотика, а сущностная — для глаза, а через него уже для души — во всей этой совершенно фантастической избыточности, обратной тому, к чему мы привыкли с детства, и для нас потому опасной. Мы, русские, ходим по нашей стране постоянно полуголодные, как бы мы ни были обеспечены или наоборот — невзыскательны, все равно — мы храним в голове воображаемый реестр предметов первой необходимости, которых нам не хватает — по отсутствию их в магазинах или по отсутствию у нас средств для их приобретения. Здесь все наоборот. Как метафора у Данте, по наблюдению одного исследователя, никогда не диктуется нищенской необходимостью и сила его сравнения прямо пропорциональна возможности без него обойтись, так и этот чудесный завитринный, чтобы не сказать зазеркальный мир тем большее производит на нас впечатление, что мы воспринимаем его не как необходимость и даже не как вероятность, когда у нас в кармане ни гроша, — здесь Обидов сделал многозначительную паузу, но относилась ли она к подсмотренной им находке кошелька или к обманным путем съеденному Катей и Ильей бутерброду, понять было невозможно, — скорее невероятность этого мира потрясает наше сознание и абсолютная его от нас замкнутость. В том-то и беда, что получи мы этот ослепительный мир в личное достояние, мы бы не знали, что с ним делать — он нам не только не нужен, не только излишен, — он опасен для нас, ибо приобретя его, мы утратим себя — навсегда. Посмотрите, как изменились лица наших старичков: еще два часа назад — уверенный в себе маразм, а сейчас тихое и восторженное слабоумие, полное размягчение мозговой ткани — вот они бродят, как лунатики, около этих витрин, теряя остатки разума и лишаясь воли — я уж не говорю о достоинстве. Исключение — наш Кожевников: дело не в том, что он наш руководитель и должен показывать личный пример — он загипнотизирован не ответственностью, но созданным им сценическим образом Ленина, да он и мыслит себя не Кожевниковым, но сошедшим с пьедестала или даже перенесенным в брэнную нашу жизнь вместе с пьедесталом вождем, учителем и отцом. У всех нас — от маразматиков до нас с вами —

при всем нашем цинизме пустует место идеала, мы срочно его сейчас заполняем тем, что видим, ни в коей мере не соотнося его с реальностью, а у Кожевникова с его наивной и жаркой верой идиота это место занято, у него уже есть идеал, с которым он отчасти сросся, и потому он самый среди нас счастливый, — он не восхищается, потому что ничего сейчас не видит, не замечает — идеальных впечатлений у него избыток, новые некуда девать, тем более, этот идеал, по его убеждению, превосходит все, что мы сейчас второпях впишем в наше сознание. Точно так же, кстати, поступаю и я, наперед отвергая с порога все те будущие впечатления, которыми нас могут одарить предстоящие нам страны Бенилюкса. Моя коробочка для идеала полностью, с лихвой, заполнена, и я не совсем даже понимаю, зачем мне дальнейшее путешествие — сыт по горло! — ничего больше не увижу и ничего больше не пойму, потому что идеальное мое зрение переполнено, а обыденное мое, русское, здесь не пригодно, — приспособиться ко всему этому русскому человеку немыслимо, для этого надо заново родиться.

Это, во-первых, а что касается “во-вторых”, то вот вам, извольте, коли вы так терпеливо меня слушаете, — Обидов подозрительно и криво усмехнулся, — другое мое рассуждение на ту же самую тему, так сказать, подходит, но с несколько другого бока...

И вдруг Катя наверняка поняла, что непрерывный и бесконечный этот обидовский монолог неспроста и он все видел и издевается, хотя и не только издевается, ибо разговорная страсть в нем, по-видимому, гипертрофирована явно против нормы, а с кем ему еще говорить — не с мастодонтами же?! И потом они с Ильей — она тем, что баба, а Илья тем, что еврей, — оба его привлекают своей противоположностью, а отталкивают одновременно, и кончится это крошечным разрывом, Обидов именно из таких, сначала идет на сближение, а потом впадает в завистливую озлобленность, и не дай Бог, ежели узнает про портмоне, с него достаточно давешнего бутерброда. Он уже на нее, Катю, злится, что она не “клюет”, и на Илью, потому что единственный здесь соперник, единственный конкурент, к тому же еврей — конкурент чрезвычайный...

Но тут боковым своим зрением, у Кати очень развитым, ибо всю жизнь с детства, украдкой и исподтишка, — чтобы вырвать у жизни свое, — она заметила как один за другим стали закрываться

стеклянные магазины. Время ускокало, как полосатый мячик, неотвратимо и навсегда. Это казалось катастрофой, и история с Нильсом приобретала грозные очертания реальности — найти кошелек и без пользы, кому нужны в Бельгии их западногерманские марки? А вдруг кошелек пуст? Эта мысль обожгла ее и ужаснула — она уже свыклась с тем, что у них есть деньги. Да есть ли? И сколько!?

Как она ненавидела сейчас Обидова — неужели он никогда уже от них не отстанет? А не подослан ли он за нею следить? Или за Ильей? Или за ними обоими — впрочем, такой догадливости она в КГБ не предполагала...

Магазины закрывались один за другим, катастрофа надвигалась с железной неизбежностью, а речь Обидова текла и текла — спокойно и неторопливо. Участники их группы тем временем заметно оживились, ибо пришла пора отдать дань другой, более неотложной, чем гастрономическая, нужде, а уборные были платные, и денег ни у кого не было.

Поразительная вещь, но именно это спасло их от Обидова — его вдруг сдуло от них так же внезапно, как и принесло, и он присоединился к стаду суетящихся мастодонтов, опасаясь упустить коллективно найденный из столь затруднительного положения выход.

Катя с Ильей быстро пошли в сторону от своих, только и успев заметить брошенный в их сторону обеспокоенный взгляд Обидова. Оглянувшись — никого рядом не было — Илья вытащил портмоне и раскрыл его. В нем оказались миниатюрное зеркальце, роскошный гребень, складной нож, прелестный, в свиной коже, и совершенно еще чистый блокнотик, который Илья любовно оглядел и положил в карман перед тем, как пересчитать деньги. Денег оказалось 340 марок, — сумма по их понятиям колоссальная.

— Может, все-таки рассказать нашим и разделить между всеми? — сработал неожиданно в Кате школьный рефлекс.

— Делиться с мастодонтами — да в своем ли вы уме? — Илья и в самом деле был поражен. — Помимо всего прочего, это небезопасно.

Небезопасно было даже иметь эту сумму — открытых магазинов осталось совсем немного, да и они вот-вот закроются, и все на виду и все стеклянные, насквозь видно, не укроешься от своих, которые как раз дружной стайкой, с сознанием исполненного перед приро-

дой долга, выходили из гальяна, и уже Обидов, отделившись от группы, направлялся снова к ним.

Тут у них началось кружение между трех сосен, и оно бы длилось наверно до самого отлета, потому что Обидов следовал за ними неотступно, а выбор даже в оставшихся магазинах был невозможен для советского глаза, но вдруг Катин взгляд зацепился за потрясающие часы фирмы "Сейко", на которых вместо обычного циферблата и стрелок светилось в глубине золотое табло, мелькали секундные цифры, менялись минутные и неколебимо, как Россия, стояли часовые, а еще был указан день, месяц и даже год. По цене их марок хватало как раз на две пары, и даже оставалось немного мелочи.

— Обидова я беру на себя, — сказала Катя, и бросив Илью, направилась к закомплексованному поэту, от которого Илья ее спустя минут пятнадцать разными хитростями все-таки увел.

— Как обручальные кольца, — пошутил он, разглядывая "Сейко" на своей и Катиной руке.

На оставшиеся марки он накупил замысловатых заграничных конфет, которые они и поедали, ублажая себя на славу.

— Ну, теперь, я надеюсь, можно?

— Теперь — можно.

Рядом не было ни души, и вороватая Катина оглядка Илью необычайно умилила. Он прилип к ее холодным губам, и все закружилось вокруг них, а когда они оторвались друг от друга, деловитая Катя сообщила Илье:

— Обидов, по-моему, все знает.

### 3. ИГРЫ В САДУ

Вся беда в том, что Илье *хотелось*, чтобы Обидов все знал — и хотелось, и кололось. Бывают в нашей жизни такие периоды, когда мы крепко держимся в седле, пронырливо глядим вдаль и вдохновенно скачем, куда глаза глядят — вот тогда мы и теряем чувство опасности, реальный мир исчезает из поля нашего зрения, и мы кажемся себе Гулливером, а огромная наша страна — лилипутом. И вот тут-то легче всего с нами расправиться — а то как же: задравши голову к небу, неизбежно споткнешься — ежели не сам, так с чужой подножки. А желающих тебе ее подставить — пруд пруди: только свистни!

Что-то на Илью в эту поездку нахлынуло и накрыло его с головой, даже казалось, что он всегда любил Катю, во всяком случае давно, со дня их знакомства, а может быть еще раньше — как увидел ее на сцене: в “Балде” она играла маленького чертенка, это была ее первая роль в театре, после окончания института, и не востребованная никем энергия клокотала в ней, она носилась, как сумасшедшая по их огромной сцене, дети ревели от восторга и даже на время отложили неизменные свои рогатки, из которых маленькие романтики обычно целились в Бабу-Ягу, а маленькие циники в Красную шапочку, почему-то именно эти две героини вызывали в юных зрителях особое какое-то возбуждение, и две эти роли почитались в их театре наиболее трудными и опасными, потому что дети пошли на редкость меткие, и несчастные исполнительницы ходили со здоровенными синяками.

Не поразительно ли — по четверть века прожили они в одном городе порознь, а последние годы работали вроде бы в близких, связанных друг с другом областях, были знакомы, часто она видела его в зрительном зале, она безошибочно выделила его среди убогой критической братии и, когда попадались, читала его статьи с удовольствием, хотя в оценках чаще всего с ним расходилась, но мысли и пафос его часто были для нее откровением. После одного его фельетона Зямка бегал жаловаться на него в Обком партии, громогласно предупредил администрацию, чтобы ноги Глузмана не было в их театре. В конце концов на имя Глузмана было наложено в их театре негласное вето, и даже скандал в связи с их “Антигоной” начался, когда ничего не подозревавший Зямка наткнулся в служебных недрах своего театра, где считал себя полновластным хозяином, на Илью Глузмана, рассказывавшего двум тюзовским актрисочкам пикантный какой-то анекдотец, и те помирали со смеху. Сцена, как рассказывают очевидцы, была потрясающая.

Катя не выдержала:

— Илья, а правда, что ты дал стрекача, когда увидел Зямку?

Илья отшутился:

— Катя, если бы я этого не сделал, то что бы с тобой было среди этих разбойников, где всего один человек, да и тот — Обидов!

Разговор этот они вели в автобусе, когда нагоняли упущенное по вине Аэрофлота время, и в оставшийся у них один брюссельский день пытались вместить запланированные два.

С Ильей у них так пока и ограничилось франкфуртским тем по-

целуем — а когда? где? — и казалось, что роман их будет отложен до возвращения, хотя закрутило их здорово и никаких сил терпеть у них не было, и они, устроившись на задней скамейке автобуса, жались друг к другу, ластились, он поглаживал острое колено, и рука его устремлялась в банальное путешествие, они без нужды возбуждали друг друга, и невозможность немедленно соединиться придавала их нетерпению юношескую окраску, и она сначала было стыдливо сопротивлялась наивной силе охвативших ее чувств — все-таки двадцать шесть лет, и сколько мужиков перевидала, но сейчас она вдруг почувствовала тот половой восторг, который подымает человека на седьмое небо, придает ему волшебные силы и бывает только в самом раннем юношестве — и никогда больше с ней не повторялся, неужели сейчас заново?..

И она вспомнила самую горькую и жгучую в своей жизни обиду.

Она и в самом деле была нервным, легко возбудимым ребенком, и мать даже водила ее по врачам в виду сверх нормы повышенной ее реакции на внешний мир. Боже мой, как она ждала обычно лета, как будоражили ее весенние запахи, "чистый зверек", говорили взрослые, радуясь безумному ее летнему прыгу-скоку в деревне. В этот восприимчивый момент ее и настигла театральная волна, ей было лет тринадцать, когда началось ее театральное безумие, может быть, благодаря соседке, ее тезке, тете Кате, которая была средненькой актрисой в Александринке и взяла ее как-то с собой в театр на дневной спектакль "Двенадцатая ночь", усадила в директорскую ложу, где больше никого, кроме нее, не было, и Катя впервые в своей жизни увидела спектакль. А вечером испуганная мама по "ОЗ" вызывала "скорую помощь", потому что температура у Кати без видимых причин подскочила до 39,7°. Так началась и быстро кончилась ее загадочная болезнь, и рецидивы, неизбежно возникавшие после каждого похода в театр, окончательно выявили театральный ее возбудитель.

Сразу же по окончании школы Катя довольно-таки легко поступила в Театральный институт — вот уж какой проблемы перед ней не стояло, так это выбор профессии! — и едва ли не в первый же день занятий влюбилась — впервые в жизни! — в молодого преподавателя по сценическому движению: он был намного ее старше и в любовных делах значительно опытнее. По мещанскому ли страху, либо по своему великому от жизни трепету, которому боялась не найти ни отклика, ни применения, а может быть потому, что слишком много от любви ждала, она, супротив всяких правил,

оттягивала, откладывала момент физической близости с Игорем, хотя они уже чуть ли не полгода гуляли, и были влюблены друг в друга, и Игорева рука побывала везде, где следует, и она измучила его, да и себя тоже и, наконец, они из-за этого крупно поссорились. И когда, два дня спустя, она пришла к нему мириться, Игорева мать сообщила ей, что сына взяли на два месяца на военные сборы, Катя тут же собралась, все бросила и уехала к нему за тридевять земель на загадочный остров Вайгач в Карском море, где благодаря либеральному и всепонимающему начальнику взвода Игорь получил трехдневный отпуск для медового своего месяца, и в их распоряжении оказался запомнившийся ей на всю жизнь сарай и роскошный тюфяк, где они и провели первую брачную ночь, и Катя отдалась Игорю беспрекословно, сразу же, сгорая от любопытства и нетерпения и даже торопя его. И все было бы прекрасно, но тут произошло такое, что положило конец их душевной доверчивости друг к другу. И трудно — даже сейчас, спустя девять лет — кого-либо в том, что случилось, винить.

А произошло вот что.

Игорь, удовлетворив раз и другой свою страсть к ней, отвалил и, лежа на спине, еле-еле касаясь, проводил пальцами по ее телу, задерживаясь на отвердевших сосках и слегка поглаживая их. Этого для нее было вполне достаточно, у нее и потом так всегда было, словно не для материнских надобностей, но в качестве звончков в трепещущий и вздрагивающий сексуальный ее колодец были они Богом устроены, и даже поцелуй на нее не действовал так возбуждающе, и она, благодарная Игорю за все, что произошло, и понуждаемая дремучим своим инстинктом и полным бесстыдством, которого никогда больше — до такой степени! — не было, легла на него и, целуя обезволенное вконец его тело, сползла вниз и поймала ртом вялый его член и — о чудо! — он мгновенно набух, затвердел и заполнил весь ее рот и в такт судорожным его вздрагиваниям она, обмирая от счастья, стала втягивать его в себя, облизывая и обсасывая как леденцового петушка в детстве, и полубомбочная сладость была внезапно прервана звонкой пощечиной.

— Блядь, блядь, — закричал Игорь и заплакал.

Она уехала на следующий день, и никаких объяснений не последовало, потрясены были оба и одинаково, хотя разным, ему стоило больших усилий уговорить ее выйти за него замуж, потом родился Петька, настойчивые Игоревы попытки объяснить ей тогдашнее свое состояние уживались с еле скрываемой — то утихающей, а то

возбуждаемой поздними ее приходами домой — ревностью, возникшей в первую их ночь, когда произвольный ее порыв он счел за высшую степень распушенности выдавшей виды бабы. В конце концов, у нее и в самом деле появился любовник, потом другой, третий, и параллельное сосуществование с Игорем показалось ей бессмысленным и безнравственным — они расстались.

И вот теперь — Илья.

В одном Илья оказался прав — ее подселили к Македоновой. И даже за столом они сидели вчетвером: Катя, Илья, Обидов и Македонова. Что Катю поражало, так это одинаковая способность Обидова на равных говорить с разными людьми, его мгновенная переимчивость, будто не хватало в нем чего-то своего, индивидуального, личного: был он вполне умен с Ильей, очень догадлив, чувствителен и наблюдателен с Катей и невыносимо глуп с Македоновой. Нескончаемая обидовская болтовня приводила ее в ужас, и за обедом она не выдержала:

— Ну, помолчите, Глеб, хоть минуту, дайте поглядеть, послушать — мы же не дома!

— Я же говорил, что для меня все впечатления кончились во Франкфурте — больше ничего не влезет, обожрался, а вы, Катя, как я посмотрю, слишком уж впечатлительны...

Обидов усмехнулся — или обиделся? — и вышел из-за стола.

Македонова, польщенная вниманием к ней московского поэта, не преминула педагогически выговорить Кате за ее грубость.

Катя удрученно обернулась к Илье.

— Наталья Алексеевна, мы, знаете ли, не в детском саду — можно бы и без замечаний обойтись, — миролюбиво обронил Илья.

— Я — первая? — огрызнулась Македонова. — Кто Обидова выгнал из-за стола?

— Да возьмите вы его к себе в постель — вот уж наговоритесь! — не сдержалась Катя.

Македонова аж взвилась!

— Вы бы лучше за собой последили, за своей постелью! Думаете — слепые мы, не видим? Стыд и срам! На глазах у всех милуются и где? — за границей! Нет, я этого так не оставлю — погодите, вот только вернемся!

— А мы возьмем, Наталья Алексеевна, и не вернемся, что тогда?!

Это, конечно, было лишнее, Катя мгновенно поняла свою оплош-

ность, но было уже поздно — Македонова вскочила из-за стола, смахнув по пути роскошный бокал на высокой ножке.

— Товарищи, — закричала она, — будьте свидетелями: Екатерина Костина только что сказала, что собирается остаться здесь навсегда и тем самым предать свою родину. Я сама слышала, своими ушами! Илья, подтвердите!

Все повскакали со своих мест и окружили их стол.

Катя сидела, сжавшись в комок, и острая жалость к ней подка-тила к Илюшину горлу, но что поразительно, жалость эта не сближала его с Катей, а скорее стремительно удаляла ее, и Илье показалось, что Катя, удаляясь, уменьшается в размерах и вот-вот ее совсем не станет видно, она как бы умрет либо растворится в воздухе, и никогда больше он ее не увидит.

Что-то было в ней сейчас такое, на что смотреть мужчине невозможно, ибо вдруг обнаруживалась такая беззащитность, как перед смертью, как во сне, когда рукой не пошевелить, чтобы помочь, и от этой вязкой беспомощности жизнь была не мила и после нее невозможна, потому что стыдна — не жизнь, а сплошное трусливое прозябание. И схлынула с них обоих в эту минуту и оказалась сугубо напускной, каковой и была на самом деле, вся их мнимая независимость и оказались они ярко высвеченные на-сквозь, как рентгеном просвеченные, жадными, подозрительными, волчьими глазами их товарищей, оказались они голыми, одиноки-ми и затравленными, и деваться было некуда, некуда спрятаться и некуда во всей свободной Бельгии бежать, да и как от них убежишь, как разорвешь этот тесный круг патриотической и друж-ной опеки?

И только они двое сидели, а вокруг них все уже сжималось кольцо ненависти и страха.

У Кати было два выхода — попытаться выдать сказанное за шутку, коей оно, кстати, и являлось, либо пойти ва-банк — плю-нуть, рассердиться, матом, наотмашь — уж рвать, так рвать, не ду-мая о последствиях и ни о чем не думая, потому что гнусно и возмутительно, и только с ее куриными мозгами можно было надеяться на эту поездку — с этими-то крестинами? Одна радость и остается — объявить им это во всеуслышание...

Так что Илья вовремя вступил в бой с мастодонтами, а она чуть было не взяла грех на душу, не заподозрила его в отступни-честве и, видит Бог, не попрекнула бы его молчанием: трусливые, поджавшие хвост мужчины, мужчинами быть переставшие, точ-

нее — перестававшие во время решительных конфликтных столкновений — сколько она их на коротком своем веку-четвертинке перевидала! Молчание — еще не худший способ существования, подленький, но не подлецкий.

Илья ее поразил своей защитой. Совершенно спокойно доедая лимонную дольку экзотического и русским языком еще не названного фрукта и обливаясь липким его соком, он вдруг произнес:

— Да что с вами, Наталья Алексеевна — вы что, белены объелись, что ли? Никак у вас шпиономания началась...

Македонова опешила:

— Илья, я требую, чтобы вы сейчас же подтвердили только что высказанное Екатериной Костиной желание попросить в Бельгии политическое убежище!

Илья вскочил:

— Постыдились бы, Наталья Алексеевна, — я знал, конечно, о ваших с Катей конфликтах по Тюзу, но дойти до такой мстительности: обвинить невинного человека — и в чем? — в предательстве Родины?!

Илья театрально бросил на стол бумажную салфетку, предварительно вытерев ею рот, словно очистив его от скверны разговора со злостной клеветницей, решительно и небрежно сказал Кате обычное свое "пошли" и прошел вместе с ней сквозь расступившихся, словно загипнотизированных мастодонтов, как евреи сквозь отхлынувшие воды Красного моря. И только в дверях он злобно прошептал Кате:

— Дура!..

Будто она сама не знала!

— Мне что теперь, в ногах у тебя валяться, прощения просить, грех свой замаливать?

— Я понимаю, что ты этого делать не собираешься. Только уж, пожалуйста, не действуй по принципу "лучшая защита — нападение". Этого еще не хватало! И, кстати, не думай, что Македоновское обвинение мастодонты с тебя уже сняли!

— А мне плевать!

— Слюны не хватит — вон их сколько!

— Ты говоришь, как Креонт!

— А я и есть Креонт, и в то же время твой единственный друг — таков парадокс.

Все исчезло вдруг, и только сиротливое чувство, которое настигло ее на сцене в "Антигоне", когда они остались с глазу на глаз с

Женей, и никого не было вокруг, хоть кричи не кричи — никто не услышит и никто не поможет.

Как наваждение, стянула Катя с себя сегодняшнее происшествие за обеденным столом и позавчерашний спектакль — боже, неужели это было только позавчера, и стальная пружинка вызывала ей слова, жесты, движения, словно бы и не ее, а чужие — как давно это было, а получалось — позавчера?!

Что-то произошло с временем, Катя остро это чувствовала, время стало другим, приобрело тягучую насыщенность, полтора ее заграничные дня могли сойти по прежним подсчетам чуть ли не за месяц стремительной и пустой ленинградской жизни.

Очередным пунктом их безумной брюссельской программы был — Королевский музей изящных искусств.

Уже в холле возник спор. Кожевников и интуристская дама настаивали, чтобы экскурсию совершать всей группой, ни на шаг не отставая и не забегая вперед.

— Мало ли что — музей, говорят, большой, — неопределенно сказал Кожевников, как всегда слегка картавя в подражание великому своему герою.

Кате было все равно — всем вместе так всем вместе, какая разница — к изобразительным искусствам она была вполне равнодушна, а скандалов ей на сегодня было достаточно: свою норму она перевыполнила.

Зато окрыленный обеденной победой Илья неожиданно встрял в беседу начальников и решительно заявил, что не собирается, как баран, ходить всем стадом, что это стыдно, и унижает, и над нами все будут смеяться, что же касается его лично, то он сторонник индивидуального общения с искусством и не может смотреть картину, если рядом с ним стоит толпа, да и неудобно — не стеклянные!

Кожевников начал было спорить и даже повысил голос до митингового уровня, хотя картавить и не перестал, и сказал, что не потерпит послушания, и вся группа дружно его поддержала, но интуристская дама, звали ее Галей, к удивлению Кати поддержала Илью:

— Кто как хочет, так пусть и ходит.

От группы откололись четверо — они с Илей, Обидов и Борис Иванович, профессор из Театрального института, лекции которого Кате хорошо запомнились полной их, хотя и многозначительной, невразумительностью. Он не был ни индивидуалистом, ни знато-

ком, но Илюшины доводы показались ему обоснованными и он не желал прослыть бараном — перед Ильей, Катей и Обидовым.

Обидов и Борис Иванович пошли было за ними, но скоро отстали, а Илья словно бы позабыл про нее, — Кате поведение его показалось ненатуральным, показушным. Больше, чем на картины, Катя искоса глядела на него, сопоставляя колебания его интереса с тем, на что он смотрел. "Выпендривается", зло думала она, разглядывая невысокую фигуру своего кавалера и параллельно раздумывая о том, каков он в постели. В конце концов Катя не выдержала и, стоя перед чьим-то безымянным "Благовещением", раздраженно спросила застывшего в восторге Илью:

— Ну и что?

— Ты что — слепая? Не видишь? Ты посмотри — это же встреча двух воздушных волн, двух трепетов, когда не надо ни слов, ни прикосновений, ни даже взглядов, именно так наверно и был зачат Христос — флюидами добра, нежности и благодати. Если ты этого не чувствуешь, то ты чурбан, и мне очень жаль, что я в тебя влюблен!

Катя слушала Илью, и картина под его словами и в самом деле преображалась — словно цветочный бутон, снятый ускоренной съемкой, распускался на глазах. Боже, как она огрубела, какой ползучий материализм объял ее за последние годы, если она без объяснений сама не способна почувствовать и пережить эту картину! И она вдруг заново, со всей остротой, пережила ту свою пощечину в первую супружескую ночь, девичью свою обиду и вся дальнейшая ее жизнь показалась ей полной бессмыслицей, она даже захлебнулась от жалости к себе.

Илья вдруг заметил, что ее большие глаза переполнены слезами, волна острой жалости снова настигла его, и он принял ее за огромную к Кате любовь — и поразился.

— Катя, ну, Катенька, милая, родная, да как тебе не стыдно?! Есть из-за чего плакать, право! Их же, смотри, сколько — легион! Не наплюешься и не наплачешься! — повторил он прежний свой аргумент, слегка расширив его сюжетно.

Как было ему объяснить?

И вдруг Катя поняла то, что Илья объяснял Кожевникову: картины надо смотреть в одиночестве — в том числе без Ильи. Посредники здесь не нужны — как в любви...

Она отделилась от него и побрела одна по пустынным залам Королевского музея изящных искусств, и глаза ее высохли, а

на душе стало легко оттого, что выплакалась, и как новеллы разворачивались в плоском пространстве давние сюжеты, и перепись в Вифлееме, как и поклонение волхвов, волновали своей сиюминутностью, одновременностью происходящего на картине с нашим на нее глядением, и по какому-то волшебному зову ты оказывался в конце концов втянутым в сюжет и был окружен картиной и не было выхода из нее, да и не надо — некуда и незачем! — и это был Брейгель.

И когда она увидела, наконец, его “Падение Икара”, то долго стояла потрясенная: картина вбирала в себя все пространство и все время, и Катю в том числе, и корабль с надутыми парусами вспахивал воду, как пахарь землю плугом, а пахарь своим волнорезом вспарывал землю, деля ее тугую поверхность на легкие волны, и глядел в небо пастух, окруженный своей паствой, и сидел на камне рыбак и удил, словно осуществляя тайную связь человека с водой, как пахарь с землей, а пастух с небом, и чувство гармонии, тишины и забвения снизошло на Катю, и она не сразу поняла, в чем здесь дело, и только название возвратило картине замышленное художником содержание, совсем не похожее на то, которое было изображено на картине и даже ему противоположное. И вглядевшись, Катя вдруг заметила в правом углу картины нелепо торчащие из воды ноги — да и те вот-вот исчезнут!

И никто из невольных свидетелей жертвенной и героической этой смерти не обратит на нее никакого внимания — ни пахарь, ни пастух, ни рыбак, ни природа. Порыв Икара, рванувшегося к солнцу, пройдет для мира бесследно ввиду его полной бессмысленности и отчужденности — натуральные, животные начала мира его не требовали и в нем не нуждались. И одинокая, нелепая, отчужденная и неприметная смерть Икара неопровержимо свидетельствует: все суета сует.

С Катей творилось что-то неладное — она уходила из этого зала, стараясь забыть про несчастного и так похожего на ее Антигону Икара, но какая-то посторонняя и вместе родственная, дружжелюбная сила всасывала ее обратно и ставила перед этой картиной, и казалось, что недаром натягивал кто-то тугой поводок, что-то это значило, а что — непонятно, и спросить не у кого, и она бы, наверно, осталась у этой картины на веки вечные, если бы не налетела на нее вдруг вся их группа во главе с картавым Кожевниковым, чей непререкаемый и неопровержимый голос игольчато вонзился в Катины уши, и она побежала к выходу, краем глаза заме-

тив устало плетущуюся сзади Македонову, и ей вдруг стало ее жаль.

Она вышла в сад, и было так сладко — одной, весна, чужая страна, позади — или впереди? — все заботы, было легко, счастливо и свободно, и был выбор — впервые в их жизни — ее и Антигоны.

И с подсказки Брейгеля она стала перематывать свою роль, и стало ей безумно жалко античную свою некрофилку, потому что хотя ее правда и была выше правды Креонта, но над ними обоими — а чуть-чуть и в них самих — находился такой абсолют свободы, такая ее неограниченность и красота, по сравнению с которыми и на фоне которых Креонт и Антигона выглядели крошечными, жалкими, а, главное, схожими существами — условностью, узостью, фанатизмом и церемониалом своих страстей.

И стало ей вдруг совсем плохо, дыхание чужой смерти коснулось ее.

Это было как во сне — резкая смена атмосфер и настроений, и быстрота была пугающей — Кате было не поспеть за своими чувствами, то легкость, а то тягость, смертельная усталость, Икаровы ноги, висящая в склепе Антигона...

Илья нашел ее на садовой скамейке около музея.

Нет, зря все-таки она поехала — не по силам ей.

Голос Ильи доносился издали — как будто еще спала, сквозь сон, сквозь полудрему, помимо сознания, только слухом.

Она перестала вдруг понимать Антигону, перестала понимать себя, это было ужасно, появилось в ней новое, космическое понимание — и тоже было не по силам, и хотелось бежать от него, куда глаза глядят, не оборачиваясь.

А Илью она любила все больше и больше, была в нем какая-то степень человечности, которая отличала евреев от всех других и делала их совершенно неприемлемыми в этом мире.

За ужином они опять сидели одним столом — Македонова, Обидов и Катя с Ильей. Обидов вроде бы не знал о давешнем обеденном происшествии и как ни в чем не бывало перематывал свой долгий монолог о ненужности и даже излишности русскому человеку заграничных приключений. Поникшая была Македонова на этой обидовской мысли взбодрилась и радостно поддакивала, и Катя перестала ее жалеть и стыдиться за их с Ильей победу, а Илья морщился, и Катя знала почему: слово "русский" звучало подчеркнуто и одновременно замкнуто, и Илья как еврей оказывался за его бортом.

Памятуя про обеденный скандал, Катя помалкивала, хотя и чувствовала себя по отношению к Илье предателем, а он сам молчал, потому что не самому же ему защищаться, тем более ничего прямо и не было сказано. Они попытались отвязаться от Обидова после ужина, да не получилось, и они вышли из гостиницы втроем, и у Кати снова мелькнуло подозрение, что Обидов неспроста следует за ними по следам, не по одной только своей тоске, но вроде бы и по заданию. Обидов все от них не отставал, пока они не очутились на Гран Пляс, и здесь, слава богу, судьба к ним смирлостивилась, хотя они чуть было не пропустили узенькую эту, коридорного типа улочку, но вернулись и вошли в нее, и увидели с обеих сторон прелестных, одна лучше другой, девушек в витринах, и сначала прошли быстро и стыдась, а второй раз спокойнее, рассматривая и как бы даже выбирая среди них, и в третий раз, уже без Кати, которая осталась терпеливо ждать на бульваре, прошли с расстановочкой, по-мужски, забыв про идеологический и национальный антагонизм, неторопливо, внимательно — кто-то из проституток вязал, кто читал, кто кокетничал с прохожими — Илье с Обидовым досталось что-то вроде подмига.

— Тебе — которая? — спросил Ильа.

— Первая, — ни минуты не колеблясь, ответил Обидов, и вдруг Ильа понял, что перед Обидовым никогда не стоит мучительная проблема выбора: он останавливается на первом попавшемся, кто знает, может, он прав — так легче...

Если Обидов и был послан за ними следить, то сейчас во всяком случае страсть возобладала в нем над долгом: он от них отстал и еще раз вошел в эту улицу греха и соблазна.

Наконец-то они остались одни — без Обидова, без группы, без ротины: какое счастье!..

Они гуляли долго, упорно, падая от усталости, была ночь, улицы пустели, и Брюссель был блестящ, прекрасен и загадочен.

И чувство свободы было таким всепоглощающим и легким, что и страсть их, усиливаясь, не становилась им в тягость, а только добавляла им веселья, легкости и скольжения, и была необходимость закрепить свободу любовью, и одно без другого казалось непредставимым.

Это была страсть подростков: поцелуи были внезапны и бесконечны, и они падали стремглав в преисподнюю и, отрываясь, легко возвращались обратно.

К полночи они окончательно заблудились, и это их даже обрадовало.

Темный сад возник на их пути, словно для них специально приготовленный подарок, и трава была высокой и мокрой, и Илюшин плащ повис на ней и опустился до земли только под их тяжестью, и сначала руки, потом губы, а потом и тела терзали друг друга, будто они были первые любовники на земле и не знали, как это происходит, и не было у обоих никакого опыта, ни толики, они ничего не помнили, и они искали эту дорогу впервые, и только когда широко раздвинув руками ее ноги, он зарылся туда лицом и, всосав к себе в рот тугие мочки, просунул между ними язык и глубоко в нее проник и заработал, заработал, как котенок, слизывая лодочкой ловкого своего языка лимонную кислятину ее влагища, соленые слезы потекли по Катиным щекам, и она стала сглатывать их, и полуобморочное это счастье было первым в жизни — не потому, что над нею было небо в алмазах, не потому, что оргазм, не потому даже, что впервые ее туда целовали, а потому, что наконец-то *замкнулось*, и ей был возвращен Ильей тот произвольный порыв, который когда-то оттопкнул ее первого любовника в первую их брачную ночь на заре ее женской жизни.

Удивительно, что после этого они легко нашли и дорогу, и свою гостиницу, оказалось, что та была совсем рядом, и когда они вошли в холл, не было еще часа, и они снова захотели друг друга, и расставаться было горько и невыносимо, а Македонова еще не спала, стояла на своей патриотической вахте — боялась, что Катя уже сегодня не вернется и попросит политическое убежище, о чем она Кате и сообщила, окончательно притупив Катину к ней жалость, и на Илюшин телефонный вызов Катя вылетела в коридор пулей — еще хоть минуту с ним, а не с ней, а оказалось как минимум два часа — Илья показал ей обидовскую записку: "Ушел к блядам. Приду не раньше трех. Развлекайтесь", и обидовская мужская догадливость только на миг смутила Катю, они быстро разделись и доеблись — всласть.

#### 4. ДЫМ ОТЕЧЕСТВА

И был вечер, и было утро: день третий. И все были в это утро злы, не выспались, перессорились, и все смешалось в доме Облонских.

Обидов, оказывается, возвратился только под утро и злой как черт. Илья не стал его расспрашивать, не желая напороться на скандал, а только хмыкал из-под одеяла, глядя, как Обидов злобно швыряет в чемодан свои вещи: сегодня они уезжали из Брюсселя. Первым не выдержал, естественно, Обидов:

— Тысяча франков, а за что, спрашивается? Те же радости, что дома. Там хоть бесплатно, да еще поллитру поставят и соленый огурец для вдохновения!

Илья понимал досаду Обидова — им обменяли всего по 1100 франков и нелепо было их так просадить. Жалость к Обидову была перемешана у Ильи с торжеством, и Обидов это почувствовал.

— Фартит же некоторым: и задаром, и прямо в группе, у всех на глазах. При народе в хороводе...

— Ты давай не хами, — сказал Илья. — Сам позарился на негрятанку...

Именно Обидов спровоцировал их на разговор, который произошел у них за обедом в Мехелене.

Собственно говоря, спор начался еще под благовест во дворике консерватории звонарей.

В противоположность роскошному и неуловимому — да и другим они были там с Ильей заняты! — Брюсселю, Мехелен был очаровательно мал и по росту, а еще больше — по Катиному сознанию, подстать ему. Мехелен был не реален, а музеев, и даже мехеленский Петрушка, Оп-Синьорке, был весьма кстати и отвечал тому туристическому статусу, который Мехелен добровольно, выгодно и с удовольствием принял на себя столетие назад. Однако очаровательная бельгийская кукла вызвала у Ильи презрительную усмешку, которая по инерции распространилась и на звонарей. Встрепенулся он только, когда колоколист от классической программы перешел к увеселительной и, улаждая русский их слух, сыграл "Калинку" и "Эй, ухнем!" Надо отдать должное мастодонтам — они торжественно встали со скамей и подпевали колоколам, как будто исполнялся по крайней мере "Интернационал" на партийном съезде, а по окончании их охватил невиданный энтузиазм, начались ностальгические вздохи по родине, а Македонова, даром что актриса, даже слезу пустила. Зрелище это, конечно, было невыносимое, однако реакции у Кати с Ильей на этот раз не совпали: Катя развесилась, а Илья озлился, чувство юмора ему изменило:

— Терпеть не могу этот туристический набор банальностей: колокола — в роли балалаек!

— А чем, собственно, тебе не угодила балалайка? — встрял в разговор Обидов. — Тем, что она — наша, русская, народная? Не все же Ойстрахи, Гиллельсы да скрипки с фортепьянами!

— Но согласишься, — рассмеялся Илья, — балалайка, как и мехеленские колокола, к народному духу отношение имеют косвенное — либо тогда не имеют никакого отношения Толстой и Достоевский!

— Толстой и Достоевский имеют, но это балалайке нисколько не мешает, Толстой и балалайка — не антагонисты. Антагонисты: балалайка и Мендельсон, Толстой и Мандельштам. Антагонисты — русская душа и еврейский дух, только и бога ради, не сочти это за антисемитизм. Можем же мы, черт побери, вести спор мнений, а не лиц, поверх племенных предрассудков, каковые предрассудки выяснению истины не способствуют.

— Выходит так: я — молчи в тряпочку, мое еврейство не в счет и предрассудок, зато твоя эта нафталиновая хуевина о русском духе — святая святых, и попробуй только возрази — костей не соберешь? Так, что ли?!

— Напротив, — Обидов даже поднялся из-за стола, — мы за еврейство, и за сионизм, и за ваше государственное объединение. Более того, мы, — это неожиданное и настойчивое “мы” было Кате не совсем понятно и резало ей слух, — мы даже к вам на выучку идем, потому что национальное самоопределение — это и наша программа-минимум! Только мы — за евреев, отделенных от нас Средиземным морем, либо за ассимилированных русских евреев, которым наши идеи станут близки, как нам самим. Но мы против скрытых евреев, которые сейчас космополитизируют, а на деле жидовизируют нашу русскую культуру, как раньше европейскую и американскую. Вот ты отрицаешь русскую балалайку или здешние колокола, для тебя это этнография, музей, магазин “Березка”, а для меня — национальный дух. Да, и в балалайке в том числе, а где ему еще упрятаться от жидов и от советской власти? Только не изображай из себя интернационалиста! Я просадил тысячу франков на черную блядь — я и есть интернационалист! — а ты купил на эти деньги альбомов, но чьих: Модильяни, Шагала, Сутина, Цадкина, Готлиба, Паскена, Лифшица. Ты думаешь, я не заметил?

— А что — тебе и за этим поручили следить?

Краска залила лицо Обидова и поползла вниз. Он резко повернулся и ушел от них.

— Все бы ничего, — сказал Илья, — беда только, что он в чемодане роется. В самом деле, широка русская душа — неплохо бы сузить...

Катя с удивлением подумала о том, какое преувеличенное и неправомерное значение играет в их жизни политика.

Два человека — западник и русофил, космополит и почвенник, и вот между ними политический спор — не на жизнь, а на смерть.

И оба против — вот парадокс! — советской власти: поверх основных разногласий их общая ненависть.

И оба с нею сотрудничают — пусть на разных уровнях. Или, может быть?..

— Илья, тебя в КГБ хоть раз вызывали?

Илья резко повернулся к ней.

— И не раз!

И замолчал.

Еще одна загадка, *implicite*, как повторял на репетициях Женя, кажется, единственное из латыни, что ему было известно.

— Илья, а ты латынь знаешь?

— На уровне "memento mori" и "vivere memento", — отшутился Илья — вопрос о КГБ вверг его, похоже, в мрачное настроение.

Боже, как ей все-таки повезло на Илью, — думала Катя, — что бы она без него делала, затравленная мастодонтами? — и она с дополнительной нежностью украдкой поглядывала на своего любовника. Иногда ей остро хотелось близости с ним, хотя она и догадывалась, что повтора вчерашнему не будет, но что будет хорошо, знала точно. Они подходили друг другу даже физически, страсть всходила в них одновременно, внезапно и ураганно, и быстро уничтожив все вокруг, спадала в сладкую полубморочную истому. С тревогой она думала, где они проделают все это сегодня — вроде бы нигде, и Обидову уходить уже некуда и не на что, и как ни странно, проблематично оказалось даже подвести их дневные отношения к ночным, будто между ними еще ничего и не было и не они так легко и слаженно работали вчера в саду, а потом ожесточенно и без остатка — в постели. Вчера ей было так окончательно хорошо, облегченно, безжеланно, что казалось никогда уж больше она всего этого не захочет, а вот — опять, и Катя с хищной женской расчетливостью поглядывала на пустынные сады, мимо которых они проходили.

Но был день и увы — никакой надежды!

Нет, все-таки она иногда переставала понимать свою Антигону, каждый раз по другой причине, но с какой-то неизбежной неотвратимостью исчезал вдруг образ фанатичной этой девушки — как это все-таки она предпочла смерть жизни и возможно ли что-нибудь ей предпочесть?

— Катя, разве можно так? — удивился Илья. — Ты исходишь из Антигоны как из реальности, а какая же это реальность — идеал, обещание, недостижимая высота — что угодно, только не жизненная реальность!

— Знаешь, если бы я ее так воспринимала, мне нечего было бы делать на сцене! Как это можно — играть идеал? Не представляю... Да если бы я все про свою Антигону знала, зачем бы мне ее играть? Меня понуждает играть загадка Антигоны.

— С этим я не спорю, но это *до* твоего выхода на сцену, а потом, в итоге — что же, так и остается загадка?

— Остается? Наоборот, усиливается, потому что прежний, с таким трудом добытый ответ кажется теперь неверным, и все надо заново. С чего у нас все началось, знаешь? Женя прочел пьесу Жана Ануйя про Антигону, антифашистскую листовку с античным сюжетом, и решил поставить в пандан тоже листовку, только антисоветскую, непосредственно по Софоклу. С двумя четкими позициями: "Да" и "Нет". У каждого человека есть своя катастрофа в жизни, у Жени — это пражский опыт, вот у него навсегда и застыл в глазах тот ужас, и он его заново все время проигрывает во всем, что с тех пор делает — можно ли было всего этого избежать? И как? Неужели только смертью? А если смертью — то можно?

Они и за обедом, как ни в чем не бывало, не смущаясь даже сумрачного присутствия Обидова и Македоновой, продолжали свой разговор. Это даже не было намеренной демонстрацией — Катя после вчерашнего скандала, а Илья после сегодняшнего сочли свои отношения с соседями по номеру оконченными.

— Меня, знаешь, что больше всего отрицательно задело в твоей Антигоне? — горячился Илья. — Ее фанатизм: узость ее сердечной страсти, как и узость рассудочной страсти у Креонта. Сходство противоположностей — общее место!

— А я ее сейчас даже боюсь, — задумчиво сказала Катя. — Она мне не чужая, а какая-то чуждая, враждебная. И — опасная. Древнегреческий Павлик Морозов — вот она кто, только что не доносит!

Это вырвалось ненароком — меньше всего хотела Катя помахать

перед Македоновой красной тряпкой, она просто полностью в этот момент забыла о ее существовании, а когда опомнилась, было поздно — слово не воробей.

“Ну, Илья, на тебя вся надежда, — устало подумала Катя, — еще один скандал мне не выдержать”.

Они с Ильей замолчали, как бы предоставляя неизбежное теперь уже слово Павлику Морозову. Но поразительно — Македонова тоже молчала, хотя крамола была мало того что явная, но и двойная: и против официальной идеологии, и против нее лично.

Что это с ней? Отсутствие привычной и немедленной реакции со стороны Македоновой ставило Илью с Катей в тупик. Что-то они в ней проморгали, но что?

Македонова не подымала головы от тарелки и молчала упорно и, как показалось Кате, вызывающе.

Вместо нее заговорил Обидов.

#### Монолог Глеба Обидова о Павлике Морозове

— Я знаю, Павлик Морозов — образ сакраментальный для обеих сторон, и ежели советская пропаганда спустила этот образ, что называется, на тормозах и сохранила разве что в номинально-упоминательных списках, скорее как бывший символ с выпотроженным ноне содержанием, нежели как развернутый сюжет конкретной и показательной жизни, то либеральная интеллигенция, напротив, превратила его в нарицание зла, в персонификацию предательства, в именную эмблему тридцать седьмого года, в притчу во языцех. Официальный образ поколеблен, прежнее значение его стушевано и придано новое — противоположное. Можно даже сказать, что наши диссиденты выкрали этот образ у Советской власти и, дав ему противоположную направленность, выдали за свой. Однако менее всего я хочу говорить о плагиате. То направление русской мысли, к которому я имею честь принадлежать, менее всего заинтересовано в ревитализации опустошенной советской эмблематики, а тем более в той, которая имеет отношение к незабвенной эпохе коллективизации. 1930 год кажется нам куда более страшным, чем 1937. Павлик Морозов отдал богу душу 3 сентября 1932 года, когда вместе с братом был зарезан в лесу родным дедом и родным дядей, а спустя несколько лет Советская власть возвела его в ранг святого. Я до сих пор помню формулу

пионерской клятвы того времени — необязательной, но желательной, поощряемой, подсказываемой сверху: "И тогда на пионерском сборе, у себя на Украине — на Урале, в Белоруссии, в Сибири, где угодно — мы дали клятву всю жизнь быть такими, как уральский пионер Павлик Морозов". И по сю пору здравствует знаменитый автор повести о Павлике Морозове Виталий Георгиевич Губарев — лично знаком!

На этом месте Обидов театрально раскланялся, прижав к груди руки.

— Так вот, я помню замечательную эту книгу писателя Губарева, и там, в качестве посмертного утешения герою, говорилось, что миллионы советских ребят всегда будут стремиться быть такими же честными, преданными сынами Родины как Павлик Морозов. В этом тринадцатилетнем мальчике были потрясающие потенции, он далеко бы пошел, хотя слишком был горяч, слишком доверчив газетам, которые боготворил до умопомрачения, слишком чист в своей государственной страсти: эпохе нужны были циники и лицемеры, а Павлик Морозов слишком прямо воспринял революционные лозунги — ему бы действовать в эпоху военного коммунизма, вот где он был бы кстати, с винтовкой наперерез, круша налево и направо, самый раз! Увы, и он не вовремя родился... Кстати, вы хоть помните, за что он донес на своего отца? — неожиданно спросил Обидов, прерывая сокрытые скатертью ручные утехи Кати с Ильей.

Они стремительно спланировали на землю, и Илья, уняв сердцебиение, с подчеркнутым равнодушием сказал:

— Кажется, тот мешки с зерном закопал в землю... Нет разве?

— Вот так-то мы родную нашу историю знаем! — огорчился и одновременно обрадовался Обидов. — За мешки эти он деда с дядей заложил, а отец у него совсем по другой статье пошел — Павлик подслушал его разговор с ссыльным кулаком, а потом выкрал из отцовского портфеля удостоверения, которыми отец снабжал ссыльных как председатель сельсовета, удостоверяя их бедняцкое социальное положение, то есть протягивая этим бездомным и бесправным собакам тот минимум человеческих прав, который только и позволяло государство, да и то по карточной системе! И вот за обозначение бывшего кулака или середняка бедняком — а сейчас он был беднее бедняка! — Трофим Сергеевич Морозов поплатился десятью годами свободы, а может быть и

жизнью. Хотя какая там свобода, — заключил Обидов и махнул рукой.

Илья угрюмо молчал, а Катя никак не могла понять, что же все-таки значил обидовский монолог про Павлика Морозова — обычное ерничество или душевное свидетельство?

Их везли по чужой стране, мелькали города, музеи, люди, и только жесткое сверканье врезалось в Катину память — и больше ничего! Она стала путать города, которые они проезжали. Где они видели лебединое гнездо из полиэтиленовых мешков? где Меннекен Пис превратил обычный акт испражнения в святое и полемическое действо? где в качестве сувенира была выставлена на улице живая кружевница? где жили валлоны, а где фламандцы, и какая между ними разница — языковая? религиозная?

Час на Брюгге, полчаса на Дамме, полтора на Гент — галопом по Европам!

При этом отсутствии каких-либо точек соприкосновения с чужой жизнью она могла понять Обидова с его намеренным отстранением. Мельтешение, суэта, кратковременность, усталость, унижительное безденежье, безъязычье, выпадение из сферы своей жизни — только совсем юные могут пережить это безболезненно, но юных в капстраны не пускают. Возникало даже некоторое недоверие к этой жизни с ее обилием и блеском — недоверие и даже отрицание: возможно из-за уродства их поездки, из-за неотделимости от группы. Ностальгических чувств не было, даже Петька, и тот редко вспоминался, а была несовместимость, параллельность двух жизненных течений — здешней жизни и *ее* жизни. Эта жизнь была не про нас, Обидов прав, но как это, если задуматься, страшно, что жизненная норма не про нас, что мы привыкаем к минимуму, а норма нам кажется роскошью и излишком!

Ее поражали названия здешних вещей: пылесос "Вампир", антикварный магазин "Ностальгия", бачок в уборной "Ниагара", то, что у нас было отличием таланта — Юрий Олеша, Андрей Вознесенский, кто еще у нас великий метафорист? — здесь стало обиходом: значит, способности остроумного клерка в рекламном агентстве легко сойдут у нас за литературный гений?!

Это был соблазн для ума, и хотелось поскорее от этого соблазна бежать, куда глаза глядят, но он был везде, куда глаза глядели, этот умственный соблазн с жестким блеском выбора, и оставалось одно — скорее домой! Она и думать себе про это запрещала — невозможно, прикидывала она, вот так, ни с того ни с сего, без пред-

варительного замысла взять и остаться здесь навсегда — а Петька? а мама? а сжатая пружина актерской ее судьбы? а язык?

Она жила в оболочке туристической советской поездки, с ее особым политическим микроклиматом — совсем не тем, что окрест их, да и не тем даже, что дома, на родине. Здесь Родина усиливалась, возводилась в квадрат, в куб, в невыносимую степень, росла беспредельно, и бежать от нее можно было только домой, туда, где родина была кругом, но в несосредоточенном виде, и так остро, ежесекундно и неотвязно не ощущалась.

Обидов оказался прав: щелчок — и ее восприятие замкнулось от окружающей реальности, пересыщенное ею, и все дальнейшее она воспринимала опосредованно, со слов Ильи.

К тому же заболел вдруг зуб, а врач был непредусмотрен, и медицинская помощь платная, она держалась на анальгине и с ужасом думала, что впереди еще Голландия.

Да и с Ильей им не везло — Обидов, как назло, перестал уходить вечерами, а сады были невозможны по причине дождя, и две антверпенские ночи они, тоскуя, провели в одиночестве.

Все мелькало перед глазами — туннели вместо мостов под Шельдой, первый европейский небоскреб, Мидхелхейм. Зато в дом Рубенса они не пошли — музеи надоели, а Рубенса все трое дружно не любили, пришлось Обидова взять с собой, а может быть, Илья нарочно это сделал, чтобы продемонстрировать Обидову своих бельгийских соплеменников. В еврейском квартале он бойко с ними беседовал по-английски, а Обидов остро любопытствовал, и, не получив от Ильи резюмированного изложения состоявшихся при нем бесед, стал иронизировать. Сомнений не было уже никаких — Обидову поручили следить: только за кем — скорее все-таки за Ильей, чем за ней. Обидов был утомителен тем, что не давал смотреть — у него было недержание речи — настоящий зуд! — и ярко выраженный эготизм. "В каждом поэте неистребимо сидит Нарцисс", — попытался ее успокоить Илья. Катя обалдевала от Обидовских речей, от Илюшиной невозмутимости, от зубной боли, от витринного блеска, от страстного желания переспать с Ильей. Уж не влюбилась ли она? Надо же!

Дома они бы нашли где...

Скорее уж домой!..

Мастодонты окрашивали их поездку в столь нестерпимо советский колер, что хотелось домой, где эта окраска давно поблекла и стерлась. Эссенцию нельзя пить в чистом виде...

В Антверпене, который почему-то оказался в Бельгии, хотя вся их группа, включая Обидова, Илью и Катю, была уверена, что в Голландии, и даже попыталась оспорить его политическое местоположение у гида, — так вот в сомнительном бельгийско-голландском Антверпене у них был шведский обед — брать можно было что угодно и сколько угодно. На подносах с закусками в качестве украшений были укреплены роскошные ананасы — Илья не выдержал, оторвал один и торжественно понес через весь ресторан на их стол. Народу в ресторане было много, в основном американцы, ананас соблазнял многих, а решился один Илья — и все ему дружно зааплодировали. Все — кроме их группы. Кожевников подошел к их столу, когда все четверо, забыв про идеологические распри, вгрызались в сочную мякоть ананаса — Илья предложил ему лучистый кусочек, но получил гордый отказ.

— Молодой человек, — картаво сказал Кожевников, абсолютно схоже с Лениным, — вы сейчас уронили достоинство советского человека.

— Где? Не может быть! — засуетился Илья, заглядывая под стол. — Видите — нет!

Сочтя свое фиגлярство недостаточным, Илья в тот же день отомстил Кожевникову — на Катин взгляд слишком жестоко. Хотя, может быть, он того и заслужил — не в истории с ананасом, а по сумме совершенных им глупостей. Когда они проезжали мимо заправочной станции, Кожевников потребовал от шофера объяснения, почему среди четырех висящих над нею флагов нет советского, и его ответ, что, мол, флаги не государственные, а фирменные — Шелл, Бритиш Петролиум и так далее — нашел неудовлетворительным.

Заметив среди декоративной арматуры садовой решетки пятиконечную звезду, обрадовался и даже умилился: “Наша, советская...”, а отрезвляющие объяснения шофера посчитал попыткой отобрать патриотическую игрушку.

Вечером, за ужином он гнусно и несправедливо оскорбил официантку — по-видимому, у него произошла аберрация представлений о западной жизни и он отождествил ее с русским крепостным правом, и был буквально потрясен, когда до этого предельно любезная и предупредительная официантка — а в его представлении крепостная девка! — очень спокойно покрутила пальцем у своего лба, намекая на то, что у него не все дома.

А тут еще за соседним столом оказалась довольно большая

группа американских туристов, и когда заиграла музыка, Илья, выбрав молоденькую американку, пустился с ней в какой-то немислимый поп-пляс, за которым Обидов следил с завистью, а остальные — в недоумении: как это так, ни с того, ни с сего, в чужой стране, к тому же — с американкой?! Мало ему Кати?! И когда раскрасневшийся и довольный Илья вернулся к столу, демонстрируя пятидолларовую бумажку, которую он получил от американки в качестве сувенира в обмен на юбилейный рубль, возмущенный Кожевников не выдержал и потребовал немедленного возвращения американке долларов и обратного изъятия у нее юбилейного нашего рубля с изображением Ленина. На что Илья резонно Кожевникову ответил:

— Не вышло с официанткой, так думаете на мне отыграться?! — и точь-в-точь, как она, покрутил пальцем у лба.

Кожевников стукнул кулаком по столу и сказал, что это так просто Илье не пройдет и что это уже второй раз за день он роняет советское свое достоинство.

Но тут вдруг свет погас и в комнату вплыл роскошный фосфоресцирующий торт, а из него вылетела ракета и, кружась вокруг американцев, сыграла им американский гимн, на что американцы ответили бурной овацией, и кто-то аплодировал дольше всех, когда все уже перестали, и вдруг зажгли свет, и это оказался Кожевников, который испуганно оторвал ладони друг от друга и робко оглянулся — заметили?

— И после этого мы еще что-то говорим о достоинстве советского человека! — спокойно пригвоздил его Илья. — А сами аплодируем американскому гимну, льем воду на ихнюю мельницу и покупаемся на дешевые пиротехнические фокусы?! М-да...

Это была, конечно, шутка, но, никем не подхваченная, она прозвучала прямой угрозой, и Кожевников сидел, опустив голову и весь красный, тем более что он уже не первый раз попадался на западной рекламе — сегодня утром он, к примеру, был потрясен, увидев, как два самолета волокли по небу надпись: "Пейте пепси-колу". А Обидов еще говорил, будто его черепная коробочка переполнена созданным им образом дорогого вождя революции... Как бы не так!

Совершенно обалдевший Кожевников вдруг вскочил и, легко взбежав на оркестровый помост, подбежал к пианино и одним пальцем отбарабанил первый куплет "Вставай, проклятьем заклейменный!", словно бы свидетельствуя свою верноподданность и да-

вая достойный отпор американскому гимну с помощью нашего "Интернационала". Однако американцы, решив, что самостоятельный русский тапер попросту пьян, только расхохотались и в знак одобрения застучали ложками по столу, тем самым полностью нейтрализовав задуманную политическую демонстрацию и окончательно повергнув Кожевникова в уныние под занавес злосчастного этого вечера.

Чудом обманув бдительность Обидова, Катя с Ильей улизнули из ресторана и отправились гулять по Антверпену, и было им легко и весело. Раскачиваясь из стороны в сторону, за ними шел вдрызг пьяный бельгиец, словно был у них на прицепе и боялся, что если отстанет или потеряет их из виду, то заблудится, либо свалится и здесь же на мостовой заснет.

— Интересно, а если мы остановимся, он тоже — или пойдет дальше? — спросила Катя, усаживаясь на скамью на какой-то площади рядом с каким-то бронзовым всадником, и пьяный не заставил себя долго просить и плюхнулся напротив них, покачался, взглянул на них мутными глазами и заснул.

— Это я понимаю — пьяный антверпенец, и ни лыка не вяжет, а если бы вязал, по-русски — ни бельмеса, — весело сказала Катя, почувствовав себя совершенно счастливой, а главное, наконец-то в полной безопасности, — какое это счастье, что рядом ни одного русского, так бы и сидела здесь всю жизнь и никуда отсюда!

Илья наступил ей на ногу.

— Ты что? — не поняла Катя. — Здесь-то, надеюсь, магнитофонов нет. Что хочу, то и говорю! И ни Македоновой, ни Обидова рядом, слава богу...

— А они и не нужны, когда напротив сидит твой соотечественник, очень дурно играет пьяного и ловит каждое твое слово, — громко сказал Илья.

"Бельгиец" приоткрыл сначала левый глаз, потом правый, встал, и, ни слова не говоря, совершенно трезвой, почти строевой походкой стал удаляться от них.

Катя была потрясена.

— Ничего не понимаю. Откуда ты узнал?

— Черт побери, чему тебя учили в Театральном институте — он же ушел на моей реплике! Потому что я сразу его раскусил — он откровенно переигрывал, бездарен, это сразу заметно.

Катя как-то сразу погрузилась, поникла, легкое ее настроение как ветром сдуло.

— Даже здесь от них нет покоя...

— Что значит — даже?! Здесь-то им и раздолье, это их основное поле деятельности, лучше уж здесь пусть резвятся, чем там, у нас дома.

Катя молчала.

— А что, если плюнуть на все и в самом деле остаться? — мечтательно сказал Илья.

— Ты что! — испугалась Катя. — Разве можно?! Да и что бы мы стали здесь делать, кому мы здесь нужны? А дома — Петька, мама, театр, друзья, язык... — она торопливо перечислила вслух то, что недавно уже пронеслось у нее в голове, но сейчас она отчетливо поняла крепостную, кровную, смертельную связь со своей страной — нет разрыва!

Какой черт ее угораздил в эту поездку, приходя в полное отчаяние, думала Катя, когда они молча возвращались в гостиницу. Скорей бы домой, от всех этих соблазнов, от этих выборов, чтобы снова закрутиться, как белка в колесе, между театром и домом, халтурой и любовниками, чтобы ни минуты свободной и чтобы не было в голове всех этих праздных, ненужных, вредных мыслей!

И она в самом деле с тоской подумала о родном своем городе и искоса взглянула на Илью — а он, интересно, скучает? О чем он сейчас думает, и что он есть такое, новоиспеченный ее любовник?

В холле гостиницы их ждал Кожевников.

“Опять скандал”, — устало подумала Катя.

— Илья, простите, если что не так — я не думаю, что нам стоит ссориться, — услышала она и ушам своим не поверила.

Неужели Илья так его напугал своей шуткой про гимн и пиротехнику?

Напугал — и еще как!

— Я знаете, почему вас жду? Вы ведь курите “Беломор”, как я помню? А то у всех в группе сигареты, и сплошь — иностранные. Уж одолжите одну папироску.

— Пожалуйста, Александр Петрович, только что-то я вас не замечал курящим. С чего это вы?

Илья протянул ему пачку, где по синей карте извивалась красная полоска печально знаменитого канала, и свою зажигалку — Кожевников неумело прикурил, втянул в рот дым, попридержал его мгновение и с облегчением выдохнул:

— Спасибо, Илья. Дым отечества! Хорошо! — картаво сказал он, блеснув безумными глазами и торжествуя победу в виду предъяв-

ленного Илье неопровержимого с его точки зрения доказательства своего патриотизма.

И почему-то изо всех событий этого насыщенного дня, именно заготовленное заранее и многократно отрепетированное, пока он ждал в холле их возвращения, кожевниковское торжество больше всего поразило Катю. И она бы, наверное, долго еще о нем думала, если бы не вынужденное ее бдение в эту ночь.

Боясь разбудить Македонову и стараясь не шуметь, она на цыпочках вошла в номер, быстро разделась в тамбуре, чтобы сразу же нырнуть в постель, но когда отворила дверь комнаты, застала Македонову одетой: та сидела к ней спиной и глядела с четырнадцатого этажа на сверкающую панораму чужого города.

— А я вас давно уже жду, — сказала Македонова, обернувшись, и Катя впервые увидела на жабьем лице этой женщины слезы.

## 5. СЮРПРИЗЫ

Вот бежит их автобус, наматывая на свои иностранные колеса иностранные километры: позади уже Бельгия, мелькнул Люксембург, который короткостью в нем их пребывания словно бы подтвердил призрачность своего существования — тоже мне государство: три шага в длину и два в ширину! Бежит их автобус навстречу грядущим событиям, никто ни о чем не подозревает, вот проехали они, кажется, какую-то границу — где они сейчас: все еще в Люксембурге? снова в Бельгии? или уже в Голландии?

Какая, впрочем, разница!

Придорожная богиня луны и ночи Геката, спаси их и помилуй — ну, что тебе стоит!

К агенту с газетой они быстро привыкли и однажды даже целовались у него на глазах. Надо отдать ему должное — он деликатно отвернулся.

Больше всего раздражала Македонова — она ломала такого ваньку, когда в самых неподходящих местах попадалась ненароком на глаза, что им становилось стыдно: не за ее шпионство, но за ее бездарность.

Впрочем она и поплатилась — в том числе, за свое шпионство...

Следить за ними было легко, ненакладно — большую часть времени они проводили среди своих, в коллективных и обязательно-

неизбежных экскурсиях, поэтому в индивидуальном их распоряжении было только время после ужина — и все!

В Роттердаме случай столкнул лбом всех трех их преследователей.

Обидова они взяли с собой сами, учитывая начавшееся у него в Голландии порнобесие — третье его увлечение после Франкфуртского аэродрома и брюссельской чернокожей бляди — и надеясь, что в связи с этим детективная горячка пойдет у него на убыль, клин клином вышибают — Илья намеренно завел их в сексмагазин, и Обидов углубился в изучение экзотического его ассортимента.

Вслед за ними вошел и инкогнито с газетой.

Впрочем, не только Обидов — Катя тоже увлеклась — всякие из ряда вон выходящие половые излишества от группового акта до лесбиянства — ее нимало не волновали, а вот обычная связь между мужчиной и женщиной, показанная подробно, откровенно и бесстыдно во множестве способов и позиций, увлекла и возбудила, а главное, что ей нравилось — из тайного это делали здесь явным, уничтожив множество предрассудков, барьеров, ханжества и фальши, устранив причины для трагических порою недомолвок — и ничего при этом не исчезало — ни поэзия, ни любовь, ни страсть, наоборот, они вроде бы очищались от миллиона глупостей, которые вокруг них были наплетены за многие столетия. И Катя поняла вдруг, что все должно быть явным и открытым, и правды может бояться только ложь, и то, что хочет быть скрытым — это зло, а любовь — не зло, и ебля — тоже не зло. Вот ведь, а у нас даже в языке какая-то чертовщина — нет слов для того, чтобы выразить то, что происходит между мужчиной и женщиной — разве что "соитие"? — и это вотчина двух категорий населения — великих писателей и отпетых матерщинников. А почему изъяты из употребления и отданы на откуп алкашам все эти необходимые слова, почему нет слов у страсти, почему откровенность кажется бесстыдством? А какой темный, гнусный у нас разврат, сколько половых извращений, а комплексующие мужики, фригидные бабы, застенчивые девственницы-онанистки — разве не по этой же причине отсутствия сексуальной гласности?

В том числе — сексуальной гласности, откорректировала она на ходу свои мысли.

Ей очень захотелось остаться сейчас вдвоем с Ильей, и она решила, что им было бы свободнее, ловчее и лучше, после этих фото-

графий, которые нисколько не мешали любовному инстинкту, но зато значительно добавляли к любовному опыту.

Она взглянула на Обидова и поняла, что с ним сейчас повторяется брюссельская история, когда из нескольких десятков блудей он выбрал одну-единственную — первую, то есть не выбирал, просто его эмоциональная коробочка после первой замкнулась — так и сейчас, только нелепее, смешнее: он стоял перед стопкой лесбиянских журналов и изучал их медленно, вдумчиво и подробно, и оторвать его от них — чтобы показать куда более заманчивые вещи — было невозможно.

В это время как раз и вошла в магазин ни о чем не подозревающая и сексуально совершенно невинная, неразвитая и необразованная Наталья Алексеевна Македонова.

— Ба, сколько зим, сколько лет, какая встреча! — фальшиво проговорила она, пытаясь замаскировать свой самостоятельный надзор, но, как часто бывает, бездарной своей маскировкой полностью его демаскируя.

Катя не успела рассказать Илье про ночную новеллу Македоновой и сейчас жалела об этом. Конечно, чему быть, того не миновать, и Катя была фаталисткой и свято верила, что чуть ли не каждый их шаг предопределен заранее, а жизнь неукротима и неизбежна, но во всяком случае, от Илюшиного розыгрыша Македонова была бы избавлена.

А Илью тоже понять можно — оказавшись в окружении сразу трех преследователей, он справедливо решил, что лучшая форма защиты — нападение. Обидов был нейтрализован порнографией — оставались двое: Македонова и инкогнито. Перед Македоновой он выступил в качестве змия-искусителя, любезно предложив ей яблоко разврата — обстановка сексмагазина этому способствовала.

— Наталья Алексеевна, разрешите мне быть вашим чичероне в этом растленном западном вертепе, куда неизвестно какими ветрами вас занесло, — сказал Илья и взял Македонову под руку.

— А что это такое, Илья, что здесь продают? — кокетливо спросила Македонова, радуясь, что все поверили непреднамеренности их встречи.

— Что здесь продают? — Илья плотоядно усмехнулся. — Взгляните направо — на этой витрине вы видите журналы, посвященные нимфеточкам, десятилетним девочкам, чьи бедра не превышают сорока сантиметров в окружности — особым успехом пользуются у пожилых мужчин!

— Да бросьте, Илья, шутить, — грубо хихикнула было Македонова, но Илья подвел ее ближе, и, раскрыв один из журналов, указал на цветную фотографию, где юная обольстительница тонкими пальчиками бесстыдно оттягивала в стороны нежно розовые срамные свои губки — срамные? какой там, впрочем, срам?

— Фу, какая гадость! — Македонова резко отворотилась от нимфеточек и оказалась лицом к лицу с отделом педерастов.

— Что изволите? Вот вам совершенно из другой оперы, — Илья с угодливой расторопностью дореволюционного полового из трактира развернул перед ней журнал, и Македонова увидела здорового и совершенно голого негра, стоящего на коленях перед голым белым мальчиком и упоенно, с закрытыми глазами, сосущего его член.

— Как, вам и это не по душе? Чего же тогда? Может быть, групповой акт? Лесбиянки? Онанисты? Скотоложество? С козой? С коровой? На выбор! — Илья был сегодня в ударе — как фокусник, он раскрывал перед Македоновой журнал за журналом с несметным количеством порнографических непристойностей.

Едва успевала она отвернуться — тут же натыкалась на новое непотребство.

Илья не отпускал ее ни на минуту, вдохновение снизошло на него, все, кто был в магазине, — человек пятнадцать, включая Катю, Обидова и инкогнито с газетой — бросили рассматривать журналы и внимательно следили за легкими танцевальными движениями услужливого гида и сопротивляющейся экскурсанткой с безумными глазами. Впрочем, еще вопрос, кто из них двоих был в этот момент безумнее?

Катя уже знала неистребимую Илюшину любовь к ансамблевой завершенности, к остроумной концовке, и со страхом ждала, чем же все это кончится.

Кульминационным пунктом Илюшиной программы был стенд с искусственными членами разных размеров, обращение с которыми Илья начал было подробно Македоновой разъяснять:

— Предварительно вымыв руки, заталкиваете его во влагалище, причем как можно глубже, до упора, после чего нажимаете на эту кнопчку и — в добрый путь! Это можно делать и находясь в полном одиночестве, а также сочетая с живым партнером либо с партнершей, ежели вы, Наталья Алексеевна, склонны, пардон, к лесбиянству.

Катя не ошиблась, ожидая от Ильи эффектного завершения

устроенного им балагана. Раскрывая перед несчастной Македоновой растленные прелести западной жизни, потрясая и без того убогие, а в последние дни слегка свихнувшиеся ее мозги, Илья постепенно приблизился к инкогнито с газетой, который сейчас стоял с раскрытым журналом, но не глядел в него, а совершенно, по-видимому, забыв о своих детективных обязанностях, увлеченно следил за разыгранным Ильей спектаклем, даже не подозревая, что и ему в нем отведено достойное место. Оказавшись с ним рядом, Илья, словно не рассчитав, слишком широко взмахнул рукой, и журнал, который инкогнито с газетой держал в руках, оказался на полу. Илья мгновенно его поднял и резко спросил по-русски:

— Ваш?

— Мой! — ответил тот, непроизвольно подтвердив и Ильюшино подозрение, и его расчет на мгновенную реакцию при шоковых впечатлениях.

— Что и требовалось доказать! — весь дрожа, сказал Илья растерявшемуся инкогнито.

И продолжал, нервный, возбужденный и сумасшедший:

— Итак, трое на одного! Потому что Катя не в счет — надеюсь, у вас хватит ума хоть это признать. Три человека, не сговариваясь, преследуют совершенно невинную парочку. Три абсолютно чуждых нам личности назойливо маячат на нашем горизонте. Одна — бездарная и выжившая из ума актриса, облеченная высоким званием “народной”, награжденная премией и орденами, старая стукачка, у которой, кто знает еще, сколько на совести зла! Поглядите — она побывала в сексклубе, и мозги ее разъехались в разные стороны — катастрофа неминуема!

Илья слегка даже присвистнул, и Катя легко догадалась, какой нервотрепки стоит ему теперешняя невозмутимость и эта актерская импровизация. Катя ему сочувствовала, хотя его возбужденность ей и не нравилась.

— Другой — стукач начинающий, неофит КГБ, стукач в первую очередь и стукач по преимуществу, высокопарно полагающий, что он продал душу дьяволу (а дьяволом здесь и не пахнет) — и ничего взамен — а что может быть обиднее, чем продаваться даром? — во вторую очередь — антисемит с философским, как ему кажется, уклоном, а на самом деле с сугубо бандитским; в третью очередь — поэт, как пишет в анкетах, приравнивая себя званием к Гомеру, Данте и Пушкину и забывая добавить главное свое поэтическое

качество: бездарность. Потому что для того, чтобы быть поэтом, недостаточно складывать руки крестом на груди, примериваясь и репетируя лежание в гробу, так же как, чтобы быть русским поэтом, мало быть антисемитом, надо еще иметь либо здесь, либо здесь, — Илья приложил руку сначала к груди, а потом к голове. — Ты, Глеб, не поэт, потому что в тебе нет минимума тех мерзостей, которые необходимы настоящему поэту, при максимуме пакостей, которые поэту не свойственны — не были свойственны и не будут, так как — противопоказаны! Скоро ты повесишь себе на шею крест, перестанешь читать свои стихи и начнешь их петь. Но даже если из России уедут поголовно все евреи, тебе это не поможет стать поэтом: ты умрешь, как и родился — стукачом.

— А что же касается вас, уважаемый инкогнито с газетой, — занялся Илья, наконец, третьим преследователем, — то я очень рад, что наше поверхностное сегодняшнее знакомство никогда не продолжится, а уж тем более не углубится. Оба вы бездарны, это очевидно, иначе бы мне, лишенному соответствующего опыта, не удалось бы так легко вас разоблачить. Иначе — и это главное — вы бы не отправились за нами в слежку, накрутив на примитивную катушку своей фантазии гнусный и бредовый донос имбецилки. Я не терплю рокфора из-за его запаха и из-за невозможности узнать по запаху, когда он испортится, когда в нем заведутся черви — так отвратительно он пахнет даже в свежем виде! Я надеюсь, что эта метафора не нуждается в дальнейших комментариях — сочтите ее за звфеизм: я пощадил не ваши уши, но вашу душу — оцените же! Но я предупреждаю, что если я хоть раз в оставшиеся дни нашей поездки обнаружу за нами хвост, то обращусь не в голландскую полицию, а в ту организацию, которую вы здесь представляете, и подробно, на двадцати страницах, опишу вашу бездарность, недееспособность и профнепригодность. На этом разрешите раскланяться — увы, не могу больше утруждать вас своим обществом. Ни Катя Костина, ни Илья Глузман не собираются остаться в Голландии, а тем более попросить здесь политическое убежище! Не дождетесь! Зарубите себе это на носу! Кина не будет! Можете расходиться!

"Слишком эффектно", — с профессиональным актерским равнодушием отметила Катя.

Оказавшись на улице, Илья старался не показывать виду, но тут же начать жалеть о скандале в сексмагазине и опасаться последствий — здесь-то навряд ли, но в Ленинграде? Катю он в свои раз-

мышления не посвящал, и она стала обижаться — ей не нужен был триумфатор, и его уязвимость она принимала ближе к сердцу, чем его победы: голеный, беспомощный, любимый... А победы, наоборот — отдаляли, делали чужим. Да и потом, кого они обманывают? Самих себя? — уж они-то знают цену своим победам...

И в этот день им негде было заниматься любовью, и они прокляли неуютный Роттердам, в котором их неизвестно для чего поселили на целых два дня — последняя томительная остановка перед разорванным и клочковатым временем, которое понесло их в никуда в прекрасном городе Амстердаме.

И пока изощренный иудейский ум Ильи Глузмана изыскивал возможности для любовного сюрприза Кате — и ведь в конце концов изыскал! — Катя пересказала ему ночную беседу с Македоновой.

Катин пересказ рассказа Македоновой  
“За что я благодарна Советской власти”

— Это и в самом деле было невиданно — я зашла, уверенная, что она спит, а она сидела у окна, вся зареванная, и по ее жабьему лицу текли слезы. Если я расскажу кому-нибудь из тюзян, мне не поверят: Македонова — и слезы! Я решила не обращать на нее внимания и юрк в постель — делаю вид, что ничего не замечаю, глаза держу закрытыми.

— Катенька, — обращается она ко мне ласково, — вы были когда-нибудь в деревне?

— Ну, была, — отвечаю ей нехотя.

— А я родилась в деревне, — многозначительно говорит она.

— Тоже мне невидаль — в деревне родиться!

— Не торопитесь, Катенька, — говорит она и вдруг торжественно, громким голосом заявляет: — Я родилась в кулацкой семье.

И делает паузу, чтобы я оценила.

Я, конечно, оценила, но недостаточно — посуди сам: какая мне разница, кулацкая или бедняцкая, не все ли мне равно! Хотя, думаю, забавно и уже предвкушаю, как тебя порадую этим парадоксом.

А Македонова меж тем меня спрашивает:

— А хотите узнать, Катенька, за что я благодарна Советской власти?

Ну, сам понимаешь, особого интереса эта тема у меня вызвать не может — поэтому молчу, ни да, ни нет, а Македоновой того и достаточно.

— Представьте себе, Катенька, — говорит, — заброшенную, как в сказках совершенно точно пишут, “за тридевять земель, в тридесятом царстве” — не сказки так надо начинать, а были! — заброшенную, а главное — Богом забытую псковскую деревню — и название у нее соответствующее — Подмогилье, потому что горушка рядом была, а на горушке могила какая-то, только не нашенская, а чужая, импортная, старинная — нехристь, видимо, хотя тоже крест, но другой, чем наш, ростом велик и весь железный да ржавый — считалось, что псы-рыцари еще оставили, мимо проходя.

Ах, Катя-Катенька, какая жизнь была — малина! У нас в Подмогилье больше хуторами жили, каждый на своем холме да на своем дворе! Трудяги все были — знала бы ты моего папашу: с утра до вечера работал, спиртного в рот не брал, по воскресеньям в церковь ездили в Шики, очень набожный был. И чадолюбив — шестеро нас у мамы было, все дочери, я вторая по старшинству, тринадцать лет было, когда все это началось. Осташкинцы, лентяи, конечно, первыми в колхоз поперли, им терять было нечего, зато наши уперлись — ни в какую! Отец хмурым стал, задумчивым, а мать успокаивал: “Перемелется — мука будет!” Мать помоложе его была лет на пятнадцать. Он ее сильно любил, в деревнях так редко кто любит, а она ему детей исправно рожала, одного за другим. Представляешь, восемь ртов! — а он один за всю семью вкалывал. Да какой он кулак! Есть-то надо. Две коровы были, телочка, лошадь, птицы много. Отец нас баловал, в детстве мы гурманами были — телочку от бычка отличали, а ярочку от барашка: не то что сейчас. И все прахом пошло...

Как-то раз под вечер прибыли к нам пьяные осташкинцы во главе с уполномоченным — отдавай, говорят, свой скот да вступай в колхоз подобра-поздорову, а мы уж, так и быть, простим тебе твои кулацкие грехи и бедняком запишем. Отцу бы согласиться — и все бы сошло, а он в амбицию — как теперь понимаю, перед матерью ерепенился, да только хуже ей сделал. Гордый был больно: горбом, говорит, нажил — добром, говорит, не отдам. А подмогильцы наши постепенно, не в пример отцу, сдались — понимали, видимо, что не с осташкинской голытьбой воевать придется, а с государством. Тогда анекдот у нас ходил, как Сталин тонуть стал, а мужичок его за волосы возьми да вытащи. А Сталин ему и го-

ворит: "Да знаешь ли ты, кого спас?! Я — Сталин, что хочешь проси, все сделаю!" Испугался мужик, побледнел: "Одна у меня к тебе, Сталин, просьба, не говори в деревне, что я тебя спас, а то узнают мужики — прибьют до смерти!" Вот мой папаша и вступил со Сталиным в личную тяжбу. А когда увидел, что дела плохи — силой скот у него заберут, а его в Сибирь — помолился Господу, взял топор и всю скотину в полчаса порубил: ни себе, ни людям, а сам мешок за плечи, и ушел. Милицию присылали за ним, да где его сыщешь? А он сам нашелся, далеко не ушел — слишком мать любил. Через месяца два сыскали его в Погорелках — верстах в тридцати от нас — зарос, дикий, как зверь, стал, никого к себе не подпускает, а главное на самую верхушку дуба, что в поле рос, забрался и стал там жить. Мужики дуб окружили, снизу его угоняют, чтобы слезил и добром властям сдался, а он вроде бы им отвечает, только вниз не глядит, а все вверх. Толково отвечает, мирно, вроде бы беседу как ни в чем не бывало ведет — нету, мол, мне резона вниз спускаться, скот я добром не отдал, а уж себя — тем более. Мужики диву даются, что говорит здраво, а на них не глядит — с чего бы это, думают? К вечеру мамашу привели и тут все разъяснилось. Мамаша как заголосит, а он сначала было растерялся, даже заплакал, говорят, но вниз все равно не смотрит, а все вверх норовит глядеть. И вдруг говорит: "Не искушай, Господи, мя понапрасну — огонь и воду прошел, а души не выдал, так и на искус не поддамся. Вот ты Просиным голосом заговорил, слезу у меня вышиб, а все равно души никому не отдам, токмо тебе — ты дал, ты и возьми". И поняли тогда, что это он с Богом разговаривает, ориентировку в пространстве утратил и нижние голоса ему верхним голосом кажутся. Хотели было залезть к нему наверх, чтобы связать и в Остров свезти в милицию, да при нем топор был — испугались. Поставили к дереву дозорных на ночь, мать увели и разошлись, а наутро обратно та же история. Так пять дней он беседу с Богом и вел. А потом милиционер с Острова приехал: "Слезай, говорит, а то стрелять буду!" А отец возьми и расхохочись: "Ну, испужал, Господи — ты сначала пушку вынь да покажь, а потом уж угрожай!" А милиционер не разобрал, что к чему, про Бога-то ему сообщить не успели, вот он и решил, что это над властью форменное издевательство, а главное — к ней недоверие, и чтобы доказать, на что он способен, выхватил пистолет и давай по папаше палить. Долго его убивал — раза четыре наверно ранил, пока отец от ветки не оторвался и вниз по-

летел. Кто видел, говорят, словно бы чудо произошло, и отец медленнее летел, чем следует — руки и ноги растопырил и плавно так на траву приземлился. Милиционер подбежал, кричит: "Сдавайся, контра!", а отец молчит, потому что мертвый.

Скоро зима наступила, мать в колхоз не приняли как жену раскулаченного, а зерно все равно отобрали на хлебозаготовки: не отдали бы — засудили бы как зажимщиков хлеба. В избе, а изба у нас — это огромная, метров в пятьдесят комната, надвое печью перегородженная — так вот в избе у нас стало холодно, неприглядно, малыши с голоду режут и пухнут, да и мы — зубы на полку — только что не скулим. Папаша берег мать от жизни, вот она и растерялась, и только когда одна за другой три младшие сестренки померли, опомнилась. Установила самогонный аппарат — от отца ей еще достался, и устроила в избе кабак для мужиков: вот так концы с концами и стали кое-как сводить. Да, видать, несчастье за нами по пятам ходило. Однажды собрались мы в Шмойлы отцовскую родню проведать — меня и младшую мать с собою взяла, а Настю, старшую — ей в ту зиму шестнадцать лет стукнуло — дом сторожить оставила. Настя умница была, красавица, недотрога — отец ее больше всех любил, да и мать баловала — первенец как-никак! Уже и посватана была, да, видать, не судьба. Вернулись мы на следующий день, а Настю не узнать — говорить перестала, немой сделалась, убогой, мысль у нее за одну ночь с лица сбежала, а взамен улыбка появилась, но странная такая — блаженная, добрая, нелепая. Это она от ужаса, который ей пережить пришлось, улыбкой этой загородилась. А в избе бардак — не приведи господи! И самогон весь выпит, а на полу стаканы да надкусанные огурцы валяются, и крышка погреба открытая. Мать, как увидела все это, сразу обо всем догадалась. Ночью из подпола, а для сонной Настеньки как из-под земли, выросли перед ней мужики и ввалились в избу за алкогольной своей добычей, а выпив заготовленный впрок самогон, развеселились да Настеньку изнасиловали, надругались над ней бессовестно — и ужас этой ночи для Настеньки был настолько непереносим, что она не допустила его до своих мозгов, свихнулась, чтобы не помереть, и никто так и не узнал, что той ночью злосчастной произошло — и пожаловаться не на кого, мамаша чуть ли не всех попеременно подозревала, да не пойман — не вор, и продолжала их поить водкой, как ни в чем не бывало. Хотя пришибло ее, пожалуй, это посильнее отцовской смерти. А Настенька и до сих пор жива — старуха уже, а все мол-

чит, юродивая наша деревенская, добрая очень, мальчишки камни в нее кидают, а она даже не обижается, только головой согласно кивает.

А бабы тогда, пронюхав про наше несчастье, на мамашу злобу почему-то затаили — мол, мало того, что кабак содержит и мужиков наших спаивает, так еще и совращает, хотя менее всего это у нее в мыслях было. Да разве с деревенской нашей ярмаркой поспоришь — молва, она впереди человека бежит, не догнать! Молвой однако дело не ограничилось. Как-то раз прибегаю домой — лет четырнадцать мне уже было, а у нас дома обыск — аппарат самогонный отобрали, а мамашу к суду привлекают. Пока следствие шло, обнищали мы окончательно — кожа да кости, есть нечего, в деревне нас сторонятся, морду воротят. Когда мимо проходят, будто срамные мы какие. А потом повестка в суд пришла.

Дом мы заперли и пошли все вчетвером, худые, как щепки — в чем душа держится, неизвестно! — в сплошных лохмотьях, голодные, грязные, идем, вшей на себе ловим и на дорогу сбрасываем. Странно, наверно, со стороны на нас было глядеть — мамаша с взлохмаченными волосами и с безумным взглядом, слабоумная наша Настенька, хромая Маша — ей лошадь ножку еще в младенчестве придавила, и я — единственная целехонькая и телом и разумом. Вот все, что осталось от нашей семьи — за год прахом все пошло, и ничего не стало. И до того, должно быть, мы худо выглядели, что суд поглядев на нас да послушав околесицу, которую мы несли вперемежку с всхлипами, мамашу отпустил, ограничившись предупреждением. Да недолго ей осталось на этой земле отсвечивать — как вернулись домой, она слегла и быстrehонько, становясь все прозрачнее и прозрачнее, истаяла, как свеченька.

Вот и весь мой рассказ, Катенька! Нас с Машей в детдом определили, а в войну я ее потеряла — жива или мертва хромоножечка моя родная, до сих пор не ведаю.

И замолчала. Рассказ, сам видишь, Илья, красочный, я еще худо пересказала, мне ее стилечек не восстановить — смесь деревенского говора, старушечьих причитаний и газетной казенщины. Она лучше рассказывала, органичнее, я поневоле стилизую. Но дело не в этом. Слезы у нее на лице подвысохли, взгляд несколько приостановился — знаешь, как у людей, которые душевно себя поизрасходовали — смотрит на тебя и не видит. Я ее очень пожалела в этот момент. Встала с кровати, подошла к ней, обняла за плечи, приласкала. А потом, чтобы отвлечь, спрашиваю:

— Так за что же вы, Наталья Алексеевна, Советской власти благодарны?

Она приосанилась, грубовато хохотнула и говорит мне назидательно:

— А за то я ей, Катенька, благодарна, что из грязи да в князи! Потому что, переживав этот кромешный ужас, мне оставалось только одно, как Настеньке — с ума свихнуться. И тогда, уже в детдоме, у меня и возникла в голове идея, чтобы отомстить всем этим извергам нашим деревенским, оставкинцам, подмогильцам, погорельцам, которые отца с матерью загубили, Настеньку изнасиловали, сестренку голодом извели, свет из белого в черный перекрасили. А как отомстить? В люди выбиться! И к ним знаменитостью приехать, чтобы в ножки кланялись и прощения просили. И положила я — в доску разобьюсь, но актрисой стану, чего бы это мне ни стоило. Где мытьем, где катаньем — всяко было. Я не стеснялась. С волками жить — по-волчьи выть. Знаешь, какая во мне пробивная сила — ничто не остановит! Чего хотела, того и добилась — актрисой стала, знаменитой, талантливой, народной! Кто был ничем, тот станет всем, как у нас в "Интернационале" поется! Только вот в Подмогилье я так и не собралась съездить, хотя так хотелось самолюбие свое потешить, да боюсь, как бы чего там не случилось со мной. Боюсь туда возвращаться, до сих пор боюсь этого самого страшного на всей земле места, боюсь, что смерть там свою найду. А больше ничего не боюсь.

\* \* \*

А Илюшин сюрприз Кате был такой.

На оставшиеся гульдены он снял номер в захудалой какой-то гостинице — прелестную, впрочем, комнату с видом на вокзальную площадь.

Катя была молчалива — Илья счел это за смущение. Он преподнес ей альбом странного бельгийского художника Рене Магритта, и Катя увидела разбитое стекло, на котором был изображен пейзаж, зато за окном открывался вид на пейзаж. Стоял подрамник с картиной, но рама не ограничивала сюжет, который продолжался и за ее пределами. Мужчина пытался раздвинуть женщине ноги, а женщина отчаянно сопротивлялась, и женщина была голая, а мужчина был одетый и был виден только там, где его тело совпадало с ее, а остальное было невидимо, как бы и не было. И было

женское лицо с развевающимся флагом рыжих волос, но вместо глаз были груди, вместо носа пуп и треугольник волосатого лобка вместо рта. И был самозабвенный поцелуй, но на головы любовников были брошены мешки, и поцелуй был сквозь них, а потому и был и не был, и была в этом такая глубина отчаяния, будто падаешь словно камень, и нет конца падению.

И было это про них, а Кате было не до того. И понял Илья тогда, что что-то случилось.

И отдаваясь ему, а точнее — не ему, а тому огню, который бушевал между ними и пожирал их без остатка, она успела прорваться сквозь пламя, но клочковатая, прерывистая ее фраза о том, что Македонова решила не возвращаться на родину, утонула в том, что настигло их наконец и закрутило, и Катя так и не поняла, дошел ли до Ильи чрезвычайный смысл ее сообщения.

Это была их первая ночь, которую они провели вместе, и увы — последняя.

## 6. ПРОКЛЯТИЕ ИЛЬИ

Их время вдруг круто изменилось и понеслось на манер горного потока, который весной приобретает катастрофическую силу, унося за собой — а точнее, в себе — все, что попадет на пути.

Македонова и в самом деле решила остаться в Голландии, и полбеда, если бы она об этом только Кате сообщила, предварительно бухнувшись перед ней на колени и вымаливая прощение за скандалы и слезку, так она еще голландской гидше доверилась — вот дура! Хотя понять ее можно — она выпала из прежних советских координат, и нормы поведения, принятые на родине, оказались здесь неуместны: здесь все оказалось иначе — открыто, гласно, свободно, и она ослабила оборонную свою систему — а уж решившись остаться в милой Голландии, не довериться голландке? А кто ей поможет найти полицейский участок, где она расскажет, что она дочь раскулаченного кулака и больше не желает скрывать это, не хочет больше исполнять роль Павлика Морозова — на сцене и в жизни.

Кате она сообщила обо всем спокойно, как о деле окончательно решенном и перерешению не подлежащем. С Катей она прощалась — это она с Россией прощалась, с молодостью, с театром, со своей

жизнью, которая так бездарно и бесследно прошла между пальцами.

В отвратное настроение Илья пришел еще утром, когда Катя во всех подробностях передала ему второй свой разговор с Македоновой. Дело было в автобусе, Илья все время пугливо озирался, несколько раз шепотом прерывал Катю:

— Тише!

В конце концов, они повздорили — Илюшина предусмотрительность переходила в малодушие, и это было противно. Катя повернулась к окну, благо она сидела около него. Она чувствовала Илюшину подавленность, знала, что он не все выговорил, что хотел, а что еще? Кате было невдомек, да и не больно интересно — неужели она поехала в Бенилюкс только для того, чтобы выяснять отношения с Македоновой, с Ильей, с Обидовым, с Кожевниковым — это она могла бы сделать и дома, не выбрасывая на ветер 600 рублей и минуя санитарно-идеологический кордон Комитета Государственной Безопасности.

Они мчались по рандстаду, проложенному по девяностокilометровой береговой полосе. Как странно все это было, и масштабы иные, и представления — эту страну можно было пройти пешком либо проехать на велосипеде, это была даже не страна, а разбросанный по всей стране город, с паузами-полями, с паузами-садами, паузами-перелесками — там росли ухоженные фруктовые деревья, дрожали на высоких стеблях набрякшие весенние бутоны, мирно паслись пятнистые коровы. Странная вещь — города походили на квартиры, и экстерьер был интерьером, а фасад здания — не внешней его стороной, но внутренней стеной города, и здешние страны — Катя смело обобщала виденные три на всю Западную Европу — были дружным собранием городов, а фактически одним городом, со сквозной улицей, по которой можно было проехаться на веселом, елочном и неправдоподобном трамвае из Детства. И вся страна была из Детства, как и волшебные ее названия, деревянные кломпы, жилые суда вонботы, отвоеванные у моря польдеры, чудесные мельницы, которые оказались на самом деле водокачками и, наконец, знаменитые дамбы, которые ничем внешне вроде бы не отличались от остальной земли — это были подземные, невидимые сооружения, фортификационные укрепления, благодаря которым Голландия противостояла врагу — морю, стихии, природе — и была неприступна. Что-то это ей смутно напомнило — и плоский пейзаж, и злые волны, и наперекор стихии, но только в

Амстердаме, ввиду неопровержимых признаков сходства, она окончательно, словесно дефинировала тождество копии с оригиналом, хотя она как раз любила копию, зная ее с детства, а оригинал увидела впервые, и он вытеснил и подменил собой Петровскую неточную репродукцию — родной ее город Ленинград.

А Илья глядел на мелькающий пейзаж, и душа его медленно оттаивала от напряжения и страха, и он думал о России равнодушно, отдаленно, вчуже, без прежнего высокомерного сострадания. Он думал о России, как о Голландии, поставив их в один ряд для контрастного сравнения, и не было у него подразделения "у нас" и "у них", но сугубо научная классификация.

Так вот, думал Илья, являемся ли мы тем, чем кажемся, есть ли мы государство, пусть и чрезвычайных размеров, но не утратившее все-таки основных своих качеств и годное хотя бы для плохого на нем плавания — или негодное, ибо утратившее, расплывшееся по карте, а за ней и по земле, необозримое, не схватываемое ни глазом, ни слухом, ни остальными чувствами и даже не представимое реально. Родина — Бельгия, родина — Голландия, родина — Франция, пусть даже — Европа — это понятно, если не чувственно, то умозрительно, но родина — Советский Союз? Выходит, тогда, моя родина Узбекистан, Эстония и Дальний Восток одновременно? Плюс еще сто тридцать пять столь же отдаленных друг от друга мест — и пространственно, и географически, и национально, и лингвистически? Тогда родина — это наднациональное, надязыковое, надгеографическое, но сугубо политическое понятие? А может быть, это только он и его соплеменники — перекасти-поле, бегуны и космополиты — утратили это родовое, ставшее политическим, чувство? Вдруг Илье показалось, что что-то в автобусе у них изменилось: напряженнее выглядели Галя с Кожевниковым, а Македонова наоборот — беззаботнее. Такое даже было ощущение, что она помолодела за ночь.

А Македонова находилась в ребяческом веселье — неожиданно она затянула "На сопках Маньчжурии", словно бы окончательно прощаясь с родиной. "Дура, какая дура!" — в отчаянии думал Илья, а взглянув на сосредоточенные лица Кожевникова и Гали, четко вдруг понял, что они все знают: иначе бы поддержали песню хотя бы в качестве патриотического почина.

Или это ему кажется?

В конце концов, у голландской их гидши вполне добропорядочное лицо, Галя не выпалась, Кожевников устал — это все его

мнительность, не имеющая никакого отношения к реальности. А на самом деле — эта идиотка, по полному своему маразматическому безумию решив остаться в Голландии, спокойненько это сделает, а их гидша скорее связана с ЦРУ, чем с КГБ — там и платят лучше, в твердой валюте! И надо выкинуть все это из головы к чертовой матери!

Автобус их на полной скорости мчался по рандстаду, и они даже не успели осознать, что это уже Гаага, и был сонный канал, и неказистое здание на набережной за высокой оградой — резко распахнулись кованые ворота и мгновенно захлопнулись, пропустив их автобус, а точнее — сглотив его, и тогда только они увидели кондитерский вензель с серпом и молотом на фронтоне и поняли, что они находятся на суверенной территории Советского Союза — в советском посольстве.

Поездка их резко была этим визитом прервана, будто что-то снилось разноцветное, утешное и усладное — и вот оборвалось, и даже если заново удастся заснуть, ничего больше не увидишь.

Посольство было похоже на осажденный лагерь: большое витринное — и должно быть, пуленепробиваемое, решил Илья, — стекло давало возможность пристального, в упор разглядывания посетителей — Илья не выдержал и заглянул в “караулку” — и тут же отпрянул, узнав “инкогнито с газетой”, который за ним шпионил. На этот раз он, правда, был без газеты, в спортивном костюме, который обтягивал его пружинистую и мускулистую фигуру. Настроение у Ильи испортилось окончательно. О Македонской он забыл начисто, боясь теперь исключительно за себя и за Катю.

Было здесь как-то небезопасно, тревожно.

Их ввели в небольшой зал, усадили, хотя и частично — стульев не хватило, и мужчины, за исключением профессора и Кожевникова, остались стоять. Сбоку в зале была еще одна дверь и все время кто-то через нее входил и выходил, и она оглушительно хлопала. И это — по контрасту с комфортабельными гостиницами с их чистотой, и вентиляцией, и простором, и бесшумными дверьми — еще больше усугубило горестное и брезгливое чувство родины, которое окончательно придавило Илью, когда ему надоело стоять и он вышел вроде бы по нужде и в самом деле зашел в галюн и был потрясен — засранный, грязный, с обморочными запахами дерьма: Илью выбросило оттуда словно взрывной волной, и он в ужасе понял, что укрыться здесь негде.

Вернулся он в аудиенц-зал вовремя — вице-консул рассказывал об условиях работы советских дипломатов в Голландии. Условия были не из лучших — провокация за провокацией, и все сионисты проклятые! То петицию пытаются передать через посольство, то демонстрацию устраивают, а один раз даже бросили бомбу в контору ТАСС в Амстердаме.

— Сионисты? — переспросил Илья.

— Кто же еще — больше никому!

— И поймали?

— Ну да, держи карман шире! Как их поймаешь, когда на их стороне полиция?

— Так откуда вы тогда знаете, что сионисты?

Вице-консул смерил его оценивающим и удивленным взглядом — откуда, мол, такая прыть? — и Катю всю передернуло, потому что и без слов было ясно, о чем он подумал: еврей, потому и суется, все одним миром мазаны, жида пархатые...

Катя никак не могла понять Илью — чего он добивается ненужным этим и опасным словопрением, зачем прет на рожон, неужели он не понимает, где находится и с кем разговаривает?!

Вице-консулу было за пятьдесят — седые виски, немигающий взгляд из-под белесых ресниц, стальные зубы и стальной же, отрывистый, лающий голос солдафона. Что-то в нем было опасное, очень определенно опасное, человек этот четко являл черты представляемой им организации — всем стало не по себе, даже Кожевникову.

Обидов глядел в окно и что-то себе мурлыкал под нос. Македонова в упор глядела на вице-консула — словно бы и через него прощалась со своей страной. Дафнов широко расправил грудь и нахмурил брови, изо всех сил стараясь напомнить вице-консулу об актерском своем амплуа и многочисленных сыгранных им передовиках производства.

А вице-консул тем временем вернулся к сионистам.

— Мы уж и ограду вдвое увеличили, а поверху колья пустили — на всякий случай. Однажды глядим — идут крестным ходом во главе с раввином. Ну, думаем, схоронимся — поглядим, что будет. Спрятались, даже из окон не выглядываем — ждем. Тогда видим, один смелый нашелся и полез через ограду — тут мы все, как горох, и высыпали и вроде бы в целях самозащиты об колья его, животом, чтобы помнил наших, сионистская сука! Ребята у нас натренированные, небось, заметили у входа — да, вон они стоят,

поглядите в окно: мускулы так и играют, кровь с молоком! Мы здесь — хозяева. Здесь наша советская земля, и нет на нас удержу, нет укороту! — Вице-консул расходился все более и более, глаза его блестели, слова отскакивали, как металлические стружки, он рубил воздух ладонью в такт своей речи, воодушевляясь редким слушателем, ожесточаясь ввиду противника и пьянея от ложного воображения. — Здесь мы вершим свой суд, здесь действуют наши советские законы — и никакие другие! На этом крошечном, со всех сторон обложенном врагами участке советской земли хозяева мы, а не голландцы, и врага, попадись он сюда, мы добром не отпустим! Так и знайте, — кричал вице-консул, кроил ладонью воздух и казалось, что угрожает он не голландцам, а непосредственно им, своим соотечественникам, советским туристам, чтобы не забывали, падлы, в какой стране живут, а здесь только временно, случайно, в гостях, а не дома, а если что, так берегись — и казалось, еще мгновение, и прямо тут же, не сходя с места, на глазах у всех, немедленно начнется над кем-нибудь из них расправа — не докричишься! — и вице-консул дико блеснул глазом, словно корреспондируя тем самым со стальным блеском металлических своих зубов. — Ничего не скажешь, трудолюбивый народ эти голландцы! Только пусть не очень-то хорохорятся, пусть не забываются и не выпендриваются! Тоже мне, государство! Пигалица, а не страна, а туда же — спорить с нами, диссидентов и евреев наших поддерживать, демонстрации с провокациями устраивать! Да нам кнопку нажать достаточно — и нет Голландии. Они что, забыли, что вся их страна на дамбах, как на соплях, еле держится! А ежели бомбочкой — да по дамбам?! А?

Катя вскочила с места — что же это такое? куда они попали? Да, это же бандитское логово, а не посольство! Это же так стыдно — и так страшно!

Вице-консул удивленно обернулся к Кате, а Обидов взглянул на нее с усмешечкой: скандал был неминуем — вот-вот...

Спас положение Илья:

— Скажите, у меня совершенно частный к вам вопрос — нельзя ли в вашем посольском саду приобрести несколько луковиц голландских тюльпанов, а то нас в Ленинграде так просили?..

— Это — сколько угодно! — обрадовался вице-консул невинности заданного вопроса, а ожидал, запомнив Илью, очередного от него подвоха. И приоткрыв окно, крикнул: — Вась, а Вась, дай ребятам луковицы тюльпанов.

Илья с Катей вышли в посольский дворик, поделенный светотенью на две неравные части, и от группы стоявших наготове натренированных гангстеров отделился Вася и повел их в сад, объяснив по дороге, что тюльпаны луковицы весной не привьются, и брать бесполезно, он им лучше даст луковицы гладиолусов — это верняк, только пусть спрячут, а не то придется платить пошлину.

Напряжение не спадало, хотя совещание вроде бы закончилось, и вся их группа разбрелась по саду — за исключением Гали, Кожевникова, Дафнова и Обидова — те остались для чего-то с вице-консулом. Катя с Ильей помалкивали — здесь и говорить было опасно, ушные раковины торчали с грядок, плохо закамуфлированные голландскими цветами. Илья с брезгливостью к самому себе загонял внутрь свой страх — преодолеть его он был не в силах. Собственно, и его подъебенистые вопросы вице-консулу были своего рода борьбой со страхом — так пойманный Аполлон неожиданно издает змеиный шип, и неопытный энтомолог выпускает драгоценную добычу из сачка. Илья оборонялся нападением.

Хотя не только...

Они наткнулись на Македонову — та сидела на скамейке и упоенно, по-кошачьи грелась на солнце. Кате она вульгарно подмигнула.

А может быть, и в самом деле с ней все в порядке, и зря они с Катей повздорили?

Странно — следят за ним с Катей, а останется Македонова: вот смеха-то будет! Хотя какой там смех — семь шкур с этих гавриков спустят, и поделом!

А пока что угроза висела над ними — над ним в частности. Во-первых, инкогнито с газетой, во-вторых, его спор с вице-консулом, в-третьих, в-четвертых, в-пятых, в-шестых! Какой черт тянул его за язык? Нашел, на ком оттачивать свое остроумие! Да, что им стоит его избить, уязвить, унижить?! Пара пустяков! Покрываясь холодной испариной, Илья представлял самые гнусные сцены и ругал себя почему зря за легкомыслие и длинный язык. Скорей бы их отсюда выпустили! — выпустили бы! — сил нет ждать — о, чудовищная неизвестность — только бы пронесло — мимо, мимо...

И когда подбежала к ним Галя и сказала, что его вызывает к себе вице-консул, сердце его упало и он пошел как на казнь.

А когда подходил к зданию, то успел разглядеть в окне поджидавшего его вице-консула и еще старого своего знакомого —

инкогнито с газетой, который, педантично переходя от окна к окну, задерживал черные портьеры.

Тошнота подступила к Катиному горлу от беспомощности — как будто смерть уводит от тебя близкого человека, а тебе рукой не пошевелиться! Так и настигло ее страшное это чувство, которое она столько раз проигрывала в воображении, представляя свою мать в ту страшную ночь, когда увели отца навсегда, а она валялась в сладчайшем обмороке детского сна. Думала, что прошлое, а это было будущим, и вот — настигло. С места не сдвинуться — тошнит и ноги как деревянные.

Обидов легко угадал ее мысли:

— Увели?

Она резко обернулась и ударила его по щеке — неловко, неметко, неумело, рука соскользнула, скорее вышло по шее, чем по щеке. Первая в ее жизни пощечина — и последняя!

Ей стало спокойнее, легче, она бы даже совсем успокоилась, если бы не стыд — именно стыд, а не страх — нравственный стыд за инстинктивное свое спокойствие: Илья-то там и что с ним — неизвестно?

Зачем она с ним поссорилась — как трудно ему сейчас с ними из-за этого — что тыл не обеспечен, некому довериться, пожаловаться, поплакаться, хоть мысленно опереться — говоря с ними, предвкушать преображенный рассказ о них ей? Главное, чтобы был под боком человек, перед которым не стыдно за свое унижение. А Илье стыдно: даже перед ней!

Бить его все-таки не станут, это игра и фантазия обостренного их здесь воображения. Да и за что? За злой язык, за амбицию, за пижонство? А унижить могут. И угрожать будут. Это их амплуа. И Илья — либо полезет на рожон, либо впадет в отчаяние. И все из-за нее — то есть перед ней. Быть униженным он из-за нее не может, хотя какая там гордость — перед кем?! Что государство положило тебя на обе лопатки и лежишь ты в глухом нокауте и не дышишь? Какое же это унижение, когда неизбежность! Все равно, что смерть — ты для нее разве противник?!

Илья вышел минут через двадцать — Катя по его лицу поняла, что хорошего мало, и то, что случилось, полная для него неожиданность. Расспрашивать его на виду у мастодонтов, гангстеров и магнитофонных ушей было невозможно, да он и не подошел к Кате, а напрямик направился к выходу, резко рванул дверцу — не тут-то было! Он оглянулся затравленно — в посольском дво-

рике между тем что-то неуловимо изменилось. Гангстеры забеспокоились, занервничали, забегали. Илье было не до того, чтобы разгадывать причины психологических метаморфоз этих людей, хотя краем сознания он и связал как-то их беготню с подъехавшими к посольству лимузинами: высокопоставленные гости, вот и засуетились. И намеренно замкнул свое сознание от ненужных и посторонних излишков информации: пропади они пропадом, с него на сегодня хватит, с верхом!

И ошибся — день еще не кончен.

А глаз работал, хоть и сам по себе, независимо от удрученного сознания.

Это Илью и подвело.

Из машин высыпало десятка два молодых людей — легких, веселых, разноцветных: Илья глядел на них сквозь железные прутья с болью и жалостью к самому себе — как из камеры на волю, пытаясь сбросить наваждение насильственных и тягостных мыслей, а молодые люди, предводительствуемые тридцатилетним мужчиной в строгом черном костюме, в черной шляпе и с огненной бородой, направились к воротам посольства. Какое-то прелестное девичье существо отпорхнуло от группы и сквозь железные прутья посольской ограды протянуло ему тоненькую папку:

— Передайте, пожалуйста, господину послу, — сказала девушка по-английски, доверчиво ему улыбнувшись.

И эта улыбка сняла вдруг всю напряженность паршивого этого дня, и улыбнувшись в ответ и ничего не соображая, рефлекторно — боже, как далеки были его мысли в это мгновение! — Илья бережно взял из ее рук папку и даже поблагодарил девушку — за что? может быть, за то, что это было единственной положительной эмоцией за весь день — и такой короткой!..

Взметнулось несколько рук с фотоаппаратами, раздались щелчки.

— Они взяли! Они взяли! Наконец-то! Победа! Ура! — закричали на той стороне, а с рыжей бородой широко ему улыбнулся, поднял вверх кулак и потряс им в знак приветствия.

— Евреи-братья! — крикнул он. — Спасибо вам от всех!

И тут Илья все понял — с опозданием.

Он повернулся — к нему бежали посольские молодчики. Чисто инстинктивно он еще раз рванул на себя дверь — без пользы. Кто-то его резко оттолкнул и вырвал из рук папку — Илья попятился, споткнулся и упал на газон. Папка полетела через ограду в толпу

демонстрантов. Снова прицелились в них и защелкали фотоаппараты.

— Жидовская морда! — услышал он.

Это сказал один из молодчиков, но кому?

Его никто не предупреждал — ему дали папку, он ее взял, папка непрозрачная, откуда ему знать, что там петиция, а у них на лбу не написано, что они сионисты! Он не нанимался работать к этим гангстерам, когда ему женщина что-то протягивает, долг вежливости взять, и вообще пусть идут на хуй — он театральный критик, а не агент КГБ!

Не агент?

Обидов оказался тут как тут:

— Рыбак рыбака видит издалека!

Тогда Илья понял, что и жидовская морда относилась лично к нему, и ни к кому другому!

А может, это бред, когда плотно зашторенные окна, пыльный узкий луч — и трое: я, вице-консул, инкогнито с газетой?

За слежку даже извинились...

— Что вы, что вы?! И на старуху — проруха! С кем не бывает! Нет, без вас никак не обойтись: она вам с Катей только и верит. Хи-хи, для нее вы — диссиденты! Ну, мы-то знаем! Кто старое помянет... Мы в долгу не останемся... Они же в одном номере. Глаз да глаз! Из-за кого мы торгуемся — вы же сами говорили: дура, стукачка, сволочь. Как, откуда знаем — а магнитофоны!? А что же вы думали — и здесь! Это наша работа. Так по рукам — многого мы от вас не требуем. Вы уж сразу в бутылку — пусть не требуем, а просим, хотя с другой стороны, гражданский долг, то да се, сами знаете, не первый раз встречаемся.

Свободен ли человек, вступивший в сговор с нечистой силой? Вступивший — ради свободы — становится ли свободным?

Ради свободы? А не из страха?

Можно ли путем несвободы и страха дойти до свободы и страха?

Это все не про то — маневры мысли, дабы избежать истины.

Еще один маневр — от кого же я увиливаю: от КГБ или от собственной совести?

Сгинь, сгинь — это я со страху, а она ни с места...

Я люблю Катю, мы приедем в Ленинград, я разведусь с женой, мы с ней, правда, бытово притерпелись друг к другу, но пора оборвать, сейчас — Катя: я люблю Катю.

Я люблю Катю, я люблю Катю, я люблю Катю.

И больше ничего.

Мы вернемся в Ленинград, потому что это не город, а свадебный нам подарок, и мы будем счастливы, убаюканные злыми его ветрами и защищенные от него нашей любовью.

Я люблю Катю — ассиметричную, с разными глазами, со стальной пружинкой внутри, которая вызванивает ей слова и движения, когда она играет свою Антигону и когда меня любит.

Мне нет до вас дела — я люблю Катю.

Да будет мне позволено молчать — какая есть свобода меньше этой?

Какое мне дело до Македоновой — пропади она пропадом!

Я не хочу быть ни евреем, ни агентом КГБ с газетой в руках!

Человек рождается на смерть, а умирает на живот.

Я родился в стране за семью замками, с клепом в зубах и с обетом молчания — меня учили молчать, а теперь хотят, чтобы я заговорил! Вам мало моего молчания...

Мне не двадцать пять, а трижды двадцать пять — семьдесят пять лет, а старость — это уже болезнь: дайте мне умереть молча!

Я не знаю вашего языка, я не умею говорить, я мертв и поэтому я молчу — оставьте меня мертвым!

Сгинь, сгинь, нечистая сила!

Так вот за кем идет погоня! При чем здесь Македонова — за мной! Силы оставляют меня, они все ближе и ближе, я кричу, но кричу молча, потому что кричать вслух боюсь и не умею!

Это я, Господи: смешной, нелепый, ничтожный. А все равно — пожалей, помилуй, спаси: не меня, а душу бессмертную — залапанную, загаженную, помятую, грязную, кровоточащую, чуть живую, но трепетную еще, а может быть, и бессмертную, кто знает!

Господи, это не молитва, а моя растерянность перед бездной. Я заблудился, и я забыл, кто я и зачем я...

Господи, я не родился предавать и подличать, но и героем я не родился, а человеком — сделай так, чтобы не подличать и не совершать подвиги, а остаться, кем родился: человеком.

Если я успею очертить себя кругом, то, может быть, спасусь: прочь, нечистая сила, сгинь, сгинь...

Оставьте меня человеком, я хочу умереть человеком, как родился.

## 7. НЕ ПЛАЧЬ ОБО МНЕ...

— Это невозможно. У меня жена, мама с отцом — не предупредив, так вот, с бухты-барахты — им же все это невдомек, у них этой безумной недели не было! Как им объяснить? Для них это предательство, подлость, гнусность. Хуже быть не может — особенно для отца. Да, он и не переживет: четыре инфаркта! Нет, это невозможно. Может быть, даже легче здесь подлость совершить, чем там. Даже не так — лучше сделать подлость Македоновой, чем отцу с матерью, да и жене — пусть мы не любим друг друга, изменяем, а теперь так и разведемся, но останемся корректны и человечны, а это предательство — внезапное, вероломное. И не потому что они ближе, чем Македонова — хотя и потому тоже, но они ведь и лучше ее.

— Илья, что ты говоришь? Да разве поднимется у тебя рука что-либо ей сделать? Ведь в том-то и дело, что сейчас она не стукачка и не сволочь, а жертва. Ее можно только жалеть либо помочь — больше ничего. Тем более, что за ней сейчас погоня, она тварь безответная, и каждый ее может ударить, и даже в заслугу поставят — удар ли, плевков. А ежели ее удастся возвратить на родину, ты представляешь, что с ней будет?!

— А ты представляешь, что будет с *нами*, когда мы возвратимся на родину, если мы им не поможем?! Да мне все дороги перекроют — никто печатать не будет! И тебя вышибут — из комсомола и из театра!

— И ты готов возвратиться? Возвратиться, чтобы быть смятым, растоптанным, уничтоженным. Останься здесь, Илья. Я все объясню твоим — они поймут. А за меня не бойся — меня, кстати, никто не просил о содействии, и ты мне ничего не передавал.

— Еще попросят. Разве в этом дело? А мы с тобой? Вот если бы тебя переложить на другую чашу — Катя, милая, родная, я тебя люблю, останемся, нам будет хорошо, клянусь тебе!

— А Петька? У тебя нет детей, ты не понимаешь... И мать — это не как у тебя: я для нее все... Нет, их нельзя оставить. И потом — мы останемся как бы по любви, все остальное побоку, никто не поймет ничего, получится чистейший кошмар, какой-то чудовищный животный эгоизм. Я так не могу — чтобы остаться, надо заранее это решить, к этому надо готовиться, ведь это самый страшный шаг в жизни. Я этого не сделаю, а тебе советую — они тебя съедят!

— Меня-то за что?

— За то, что помог Македоновой остаться!

— Ей уже не поможешь. Ей не дадут остаться ни за что! Да что ты — выжившая из ума старуха против нескольких десятков натренированных профессионалов. Ты видела этих гангстеров?..

— Илья, у тебя нет выхода. Ты меня в расчет не берешь, а ведь я сегодня все объясню Македоновой — и дело с концом! У меня другого выхода нет — один этот! Мне ее предать — это себя предать, свою Антигону, если хочешь! Что-то святое у человека должно быть — хоть что-то!

— Тебе кажется, что жизнь — это когда все, а когда не все — не жизнь. Но жизнь — это неизбежный компромисс... А у тебя нравственный императив, моральный ригоризм; все либо ничего, "да" или "нет". Ты думаешь, ты отличаешься от них? Тот же самый примитив и узость мышления, тот же идейный фанатизм, только с разными знаками.

— Илья, у нас нет времени спорить, у нас один выход: спасти Македонову, чтобы спасти себя.

— Спасти Македонову, а самим расстаться? Ты понимаешь как это — навсегда? Что это значит? всю жизнь кусать локти и жалеть о том, что сделали: ты там, а я здесь. И это ты называешь выходом?

— Пойми, у нас уже не осталось времени. То, что произойдет, — непоправимо. Сейчас у тебя еще есть выбор, а потом не будет!

— У меня нет выбора и никогда не было. Будто я выбирал, когда и кем родиться...

Илья сказал это тихо, и Катя поняла, что спор окончен. Да и был ли это спор? Была отчаянная попытка Ильи оправдать свой способ существования, навязанную извне судьбу превратить в стройную систему аргументов, склонить Катю на свою сторону. И еще — жалкие потуги оплести и усыпить словами совесть и найти — опять же с помощью слов — оправдание тому, чему оправдания нет. Это с одной стороны. А с другой, с Катиной, — жесткое сверкание жертвенности, когда опрометчивая и фатальная жалость к далекому оборачивается непримиримой жестокостью к близкому. Но это Катя поняла слишком поздно.

Он не успел договорить — они подходили к последней в их путешествии гостинице и навстречу им уже шел Обидов, веселый и свободный, даже не злорадный — так ему хорошо было! Но Катя обо всем уже и так догадалась — у Ильи и в самом деле не было выбора. И не в родных дело, а в КГБ: коготок увяз — всей птичке пропасть.

Обидов все-таки не удержался:

— Привет, коллега!

И Илье впервые нечего было ему ответить.

— Что-то вы разгулялись, — продолжал Обидов. — А у нас там переполох: Македонова исчезла.

Илья с Катей переглянулись: неужели это судьба им подбросила чудный такой подарочек в ситуации крайней и безвыходной? И чего было копыа ломать и огород городить?

А их спор? Выходит — понапрасну? А осадок от этого спора?

Или все пойдет у них, как и прежде — как будто и не было никакого между ними спора? Или эта бездна между ними все же пролегла. А вдруг — не забудется?

Забуть немедленно! Осталось им два амстердамских денечка — пусть они будут счастливыми, как два брюссельских!

Две крайние точки их путешествия должны сойтись по противоположности: роскошный Брюссель и скромный Амстердам.

Голландия им была не мила — с Голландии начались их беды, они увеличивались, казалось, с каждым шагом — пока не полонили окончательно: они и не видели Голландии, не нагляделись ею всласть.

Последним их впечатлением был Люксембург, и это было чисто ландшафтное впечатление от живописно расположенного на террасах по обе стороны обрыва странного города, где можно было идти по мосту и не понять, что это мост. В Люксембурге Илья отбивался от стихов, это было физическое ощущение атаки, и это было впервые: Илья не был поэтом, но он любил Катю.

Амстердам они полюбили пылко и нежно: Катя — по прямой аналогии с Ленинградом, Илья — по его преимуществу над Ленинградом, и оба — сбросив с себя тягостное бремя ответственности за Македонову и свой из-за нее жестокий спор.

Они шли молча по неогороженным — в противоположность ленинградским — набережным Амстердама, было необычайно тихо и пустынно, словно закончилась их жизнь, и вообще жизнь, и дано им последний раз прощально на нее взглянуть — не торопясь, не украдкой, а длительно, но не физически, а только умозрительно — без запахов, без осязания, даже без зрения и слуха! Как же так, когда они есть и в то же время их как бы нет, и их присутствие — в памяти, в воображении, однако посмертно, за пределами жизни?

Что же кончалось, что было на исходе? Голландия? Их путеше-

ствие? Их любовь? Передышка, отпущенная им Богом и зрителями. Антракт.

Сюжету был дан обратный ход, и художественный прием они ошибочно приняли за событийную развязку, а фабульный столбнячок за политическую гармонию.

Македонова появилась внезапно, к концу ужина, когда вся их группа уже смирилась с ее исчезновением и потрясенная этим событием молча и безразлично поедала голландские явства.

О чем они все думали?

О тех оргвыводах за недостаточную бдительность, которые их ждут на родине?

О самой Македоновой и странной метаморфозе в ее судьбе?

О ее примере — дурном и заразительном?

Во всяком случае, когда она появилась на пороге ресторана с еще более безумным видом, чем прежде, и приветствовала всех митингово-трибунным голосом когда-то сыгранного ею юного революционера Котика Мгеброва, все были потрясены, как если бы это была не Македонова, а сам Господь Бог. Поначалу даже никто не поверил, ибо ее появление было за пределами предыдущей, также достаточно фантастической реальности, и некоторые даже решили, что неожиданное это появление — не иначе как случай массового гипноза. Но видение не исчезало, а, наоборот, материализовалось в своей обыденности тем фактом, что Македонова, не ограничившись появлением и приветствием, направилась к своему месту за столиком, где сидели Катя и Обидов с Ильей. Сомнений не оставалось никаких — не гипноз и не привидение, а настоящая, всамделишная, живая Македонова!

Первым, не вынеся напряжения, вскочил Кожевников.

— Ату ее, — закричал он. — Окружай! Пошевеливайся! Заходи с другой стороны!..

И все завертелось заново.

Илья сидел, каменея, словно в столбняке, и Катя, не отрываясь и не мигая — как будто в детстве, до обморока, в глазелки — глядела на него, а он не поднимал головы и каменел, безучастный к тому бедламу и галдежу, который стоял вокруг их стола, блокированного мастодонтами. И казалось — так страшно было и безвыходно — что это не про них, а если про них, то понарошке, как в фильме, не они, а про них, а их уже и нет давно на этом паршивом свете — сгнили, истлели к чертовой матери, пыль, прах, все

это было и прошло, все в прошлом: все их мучения вместе с пользой их жизнью.

И вдруг все это оборвалось безумным и протяжным воплем Македоновой, который, перекрыв все прочие звуки, образовал мертвейшую тишину, которую один только и нарушал.

И тогда — впервые! — понял Илья, и его как обожгло этим страшным пониманием, что самая жуть сейчас не ему и не Кате, а именно Македоновой, и Катю, наконец, понял с ее сопереживанием, прежде ему невнятным и раздражающим — да только что пользы от такого понимания, далось оно ему, а лучше бы его и не было вовсе.

Эскортировать Македонову в гостиницу взялся Обидов, и в этом вроде бы не было никакой подлости, а даже напротив — своего рода джентльменство, если бы, правда, не то обстоятельство, что Македонова в гостиницу идти не хотела, но польщенная мужским вниманием Обидова дала себя увести, притупив оборонительный инстинкт, хотя и озиралась пугливо и вздрагивала всю дорогу при малейшем шорохе.

Они все оказались в какой-то наоборотной стране, словно бы не только у Македоновой были вывихнуты мозги, но у всех остальных тоже, и они, арестовав всей группой Македонову, сочли это как бы своеобразной опекой над ней, и защитный этот эвфемизм позволил им сделать из говна — съедобную конфетку, а собственную гнусность — выдать чуть ли не за благородство и подвижничество.

— Илья! — крикнула вдруг Галя. — Поддержите Наталью Алексеевну с другой стороны, а то Обидову одному не управиться. Смотрите, она еле ноги волочит, не дай бог, еще упадет, разобьется...

И в самом деле, непонятно было, что происходит с Македоновой — то ли она упирается и не дает себя увести в гостиницу, то ли падает от усталости.

Илья подошел к ней и взял под руку с другой стороны.

Так они и шли. Впереди Галя, за нею Македонова, сопровождаемая двумя антагонистами — Обидовым и Глузманом, а позади растянулась по тротуару, как похоронная процессия, остальная группа, являвшая зрелище странное и подозрительное, и голландцы останавливались и глядели им вслед с недоумением, но так и не разрешив загадки, шли дальше.

Вдруг Илья резко отпустил Македонову, повернулся и пошел

прочь. Все остановились. Галя его окликнула раз-другой, но он, не обращая на нее внимания, продолжал стремительно от них удаляться, на глазах уменьшаясь в размерах и словно истаивая. И казалось, что это вечность, а это был миг. На перекрестке он свернул — и сгинул: как не бывало.

“Дурак, дурак! — в сердцах, чуть не плача, думала Катя. — Ему кажется, что можно спастись молчанием, неучастием, отстранением, он снова ищет золотой середины, а ее нет, и все едино — семь бед, один ответ, и все ему поставят в вину — в том числе этот уход, теперешнее его самоустранение, от которого никому ни холодно, ни жарко. Дурак! Надо идти ва-банк, а он мелочится. На подлость не способен, и на подвиг, увы, тоже...”

В гостинице их уже поджидал вице-консул, а с ним еще двое — в одном Катя легко узнала “инкогнито с газетой”. По-видимому, они были в курсе происходящих событий, хотя и не самых последних — вице-консул искал кого-то глазами, и Катя догадалась — Илью. Галя быстро подошла к нему и что-то шепнула. Обидов повел Македонову к лифту. Вице-консул немедленно приступил к делу:

— Вы все в курсе дела. Двух мнений здесь быть не может — Наталья Алексеевна сошла с ума, и наш долг, во избежание международного скандала, доставить ее по назначению — на ее и нашу, товарищи, родину! Я надеюсь, вы понимаете, какая это была бы находка для международной реакции, для мирового сионизма — советская актриса, лауреатка Сталинской премии, народная артистка — и на тебе, туда же! Так и представляю себе голландские газеты с триумфальными аншлагами: “От Сталинской премии до политического убежища”. Они — мастера заголовков. А сегодняшние газеты видели? Гнусные снимки: Глузман на переднем плане сквозь прутья решетки — подпись: “Советские евреи рвутся на волю!” Впрочем, Глузман — это особая статья: у нас есть все основания подозревать, что он хочет остаться в Голландии, только боюсь, это ему дорого обойдется, уж мы об этом позаботимся, будьте спокойны! Но сейчас не о нем речь, а о Македоновой...

Катя мучительно думала: что делать, что делать? — ее трясло от ужаса и возмущения, но в нее словно бы вселился загнанный дух ее любовника, и Илюшина осторожность останавливала ее от того чтобы встать и, сказав им все, что она про них думает, уйти от них. Антигона! Как бы не так! Вот она сидит среди этих монстров и выслушивает фашиствующие речи этого молодчика со стальными

зубами и куриными мозгами — и помалкивает. Бойтся? Нисколько! Только в этой ситуации лучше притвориться — чтобы больше узнать, чтобы обезопасить себя и Илью, а главное — спасти Македонову. Илья конечно не останется — не из-за них, не из-за отца с матерью и жены, а из-за нее, но где он, что с ним?

Так и не дождавшись Ильи, Катя отправилась в номер и застала Македонову спящей мертвым сном: умаялась за день. Катя решила ее не будить, утро вечера мудренее... Она налила себе пепси-колы из стоящей на столе бутылки, выпила и едва успела понять, что это снотворное и что Македонова не умаялась, не в том дело, просто ее обезопасили на ночь, а может и на дольше, и не только ее, или случайно, скорее — нет, где Илья? и Петьку вспомнила сквозь туман, он уплывал куда-то на облаке, маленький, а становился все меньше и меньше, как Илья давеча, когда уходил от них, никогда она не увидит их обоих, как смерть, а вдруг не снотворное, от них можно все ожидать, а Илья сидел на облаке с Петькиным лицом и плакал и махал красным первомайским флажком на обструганной палочке, и облако вдруг стало катастрофически таять, и на мгновение они повисли в пустом и чистом воздухе, словно бы застряли в нем или задумались, а потом камнем полетели вниз — и Катя провалилась в сон.

Илья не ночевал в гостинице, и советское посольство заявило голландской полиции о его исчезновении.

Катя проснулась на следующий день с дикой головной болью и никак не могла понять в чем дело — перенервничала вчера или такое снотворное?

Македонова еще спала и слегка постанывала во сне, и было в этом такое какое-то страдание, что Катя, когда дошло до ее сознания, вскрикнула — значит даже во сне смирилась окончательно?! Нет, ее надо спасти во что бы то ни стало — но как?

В дверь постучались — это была Галя. Она заговорщически подмигнула Кате и стала будить Македонову:

— Как вы себя чувствуете, Наталья Алексеевна? Пора вставать, все уже внизу на завтраке — сегодня у нас уплотненная программа. Катенька, давайте поможем Наталье Алексеевне!

И — поехало: и не было ни одного окошечка, чтобы помочь Македоновой. А она все пугливо оглядывалась, несла какую-то околесицу, переходила с крика на шепот и жаловалась, что душа болит и сил нет терпеть.

Надо было крикнуть, привлечь к себе внимание, чтобы спасти

эту безумную старуху, но как назло вокруг никого не было, а только они, советские туристы, и больше ни души — ни в музее, ни в ресторане, ни в закрытом катере, который был уж совсем как аквариум, а они — как немые рыбы и плавали в нем, и были невменяемы, и должно быть, странно было на них глядеть со стороны, но никто и не глядел, и Катя смотрела в иллюминатор на свободных голландцев, и слезы текли по ее щекам, потому что было неважно.

А в Матюродаме было множество народу, и здесь можно было бы крикнуть, но кому и о чем, когда она не знает языка, а Ильи нет рядом — не в качестве друга, а хотя бы толмача!

Македонову вели под руки, а она все что-то шептала и шептала, и это было уже в другой жизни, за пределами той, которой жила сейчас Катя.

А в самом деле, какое ей до всего дело?

Голова раскалывалась от боли, и не было больше сил.

Потом был обед, потом экскурсия по городу, а вечером — Луна-парк, и Катю нервно трясло от чужого веселья, такого изобретательного, остроумного и равнодушного к их русско-советской трагедии. А Македоновой в Луна-парке очень понравилось, она непременно хотела и пострелять в лотерейном тире, и поиграть на автоматах, и покататься в лодке — приободрилась, повеселела и вроде бы даже пришла в себя: прежняя апатия сменилась возбужденностью, глаза так и горели. Они сели с Катей в лодку — Галя успела ей многозначительно подмигнуть — и с места в карьер въехали в печь огненную, потом прямо над ними закачалось тело повешенного, и скелет тянул к ним свою руку, но было не страшно, потому что ужас обыденной их советской жизни был во сто крат больше любой выдумки! Катя пыталась втолковать Македоновой, что надо смываться, пока не поздно, что осталась всего одна ночь — и все! — но безуспешно: Македонова по-видимому, не очень теперь Кате доверяя, хихикала и с неприличной детской жадностью всасывала в себя все новые и новые впечатления, изредка хватая Катю за руку и притворно вскрикивая — она впала в детство и, может быть, в самом деле ее лучше было оставить в покое — пусть едет себе домой и там лечится?

Катя успокоила себя этой компромиссной мыслью, хотя и мелькнуло, что какое там лечение?! — но сил не было и совершенно измотанная этим днем она мгновенно заснула как только пришла в номер.

Или ей снова дали снотворное?

Сил не было больше никаких...

А ночью Македонова попыталась убежать через балкон — в ночной рубашке по пожарным лестницам она спустилась с семнадцатого этажа и насмерть перепугала ночного портье, который однако, оправившись от испуга, вызвал по телефону помощь, и Македонову силой водворили обратно в номер, хотя и нельзя было сказать, чтобы она очень сопротивлялась, но Галя ей все-таки сделала укол в вену, а Катя видела все это сквозь сон, словно и не видела, и утром никак не могла понять, что же это было на самом деле — страшный сон или страшная явь?

И дальше все было как сквозь сон — словно какое-то на нее напало наваждение, и не сбросить — она не знала выхода и уже не искала его, не верила, что он существует вообще. Она подчинилась сомнамбулическому ритму их туристской группы — позавтракала, собрала вещи, села в автобус: Ильи все не было, и никто уже не верил, что он вернется, только она — даже не верила, а знала, что вернется, что все бросит, а ее — нет, хотя, не увидев его за завтраком, очень удивилась и забеспокоилась, заподозрив неладное — а вдруг его сцапали свои.

Когда они подъехали к последнему пункту их туристической программы, цветочной выставке Аалсмер, Македонову решили оставить в автобусе под присмотром вице-консула и врача из советского посольства, который сопровождал их до аэродрома — на случай если Македонова проснется, а отчасти и для проформы: вот, мол, везем тяжело больную, и врач в белом халате — неопровержимое тому свидетельство.

Галя попросила остаться и Обидова, в расчете, по-видимому, на его физическую силу, но к всеобщему удивлению Глеб наотрез отказался:

— Я — поэт, а посему пропустить такой грандиозный аукцион цветов не могу, не имею права, — отрезал он и вышел вон из автобуса.

Катю это удивило мимоходом — она была занята Ильей и Македоновой, мысли ее были далеко, и она не сразу догадалась, что виновницей, а точнее вдохновительницей обидовского отказа была именно она.

Цветы — вот что было сейчас некстати: лучше бы она осталась в автобусе с этими бандитами! Ее мучило сомнение — неужели Илья остался в Голландии? Это было любовное сомнение, ревность,

злора, негодование — и другое “неужели”: неужели она и в самом деле влюбилась в Илью?

И она даже обрадовалась, хотя и удивилась, когда Обидов вдруг подошел и прямо с ходу заговорил. Видимо, он это задумал и обдумал загодя — потому и в автобусе не остался.

#### Последний монолог Глеба Обидова

— Катя, через несколько часов мы с вами расстанемся в Москве на аэродроме Шереметьево — быть может, навсегда: вам налево, а мне направо, вы поедете в Ленинград, а я останусь в Москве. Конечно, при современной технике, 650 километров — раз плюнуть, но при наших затрудненных душевных коммуникациях — это почти непреодолимое препятствие, а как сказал любимый поэт Ильи Глuzмана Осип Мандельштам, и сказал совершенно верно — оцените, Катенька, мою объективность! — разлука есть младшая сестра смерти, и для того, кто уважает резоны судьбы, есть в проводах зловещее свадебное оживление. Что же до меня, то я не только уважаю резоны судьбы, точнее будет сказать, мне не нужны эти резоны, я и так верю судьбе и в доказательствах не нуждаюсь. В отличие от вашего друга Ильи Израилевича Глuzмана, который находится с судьбой в постоянных контрах. Впрочем, здесь дело в другом — у нас с ним разные судьбы. Я говорю “у нас”, имея на этот раз в виду не себя и своих друзей, но себя и вас, как людей русских в отличие от людей еврейских, которые все-таки не есть русские уже даже по своему правовому положению в стране — когда чуть ли не каждый советский еврей может собрать в три месяца — таков кажется срок рассмотрения ОВИРом еврейских заявлений? — свои шмотки и укатить из нашей земли обетованной в свою, чего, увы, не может сделать ни русский, ни эстонец, ни киргиз. Об этом нашем с ними различии я написал однажды стихотворение, которое, к сожалению, никто не напечатал, хотя оно довольно-таки широко распространяется Самиздатом — *нашим* Самиздатом, потому что у нас есть свой, отличный от еврейско-диссидентского. Не бойтесь — догадываясь о сегодняшних ваших чувствах, я своего стихотворения читать вам не стану, но две строчки из последнего все-таки оглашу, потому что разговорной прозой мне так не сказать:

Вам есть, где жить,  
Нам есть, где умирать.

И дело не только в том, что евреям открыли государственную границу — здесь я, пожалуй, соглашусь с аргументацией наших оппонентов, что, мол, образовательный, трудовой и прочий ценз для евреев и в самом деле, возможно, слишком у нас в стране завышен, и, возможно, даже без евреев России будет спокойнее — ах, если бы раньше догадались, как знать, может быть, и Великий Октябрь мы бы миновали с Божьей помощью, потому что одной России без евреев, вестимо, не выдюжить социалистическую революцию! Увы, не догадались, хотя и были попытки, были — скажем, в 1610 году наши бояре вели переговоры о воцарении в России польского королевича, но с непременным условием: “А жидам в московском государстве с торгом и некоторыми делы бывать не позволят и совсем закажут”. И появились в России евреи только после трех разделов Польши — вместе с территорией. Не думаю, что это случайно. Это наш русский инстинкт самосохранения — иначе Великая Октябрьская произошла бы у нас еще в семнадцатом веке, а то и раньше, в пятнадцатом, когда еврей Захария, который прибыл в Новгород в свите литовского князя, тут же организовал секту жидовствующих, на которую русские клюнули моментально, и, кажется, еще Иоанн Васильевич дорезывал этих новообрезанных, а это, уверяю вас, работа не из легких. А ваш Илья Израилевич Глузман удивляется, с чего бы это Грозный, будучи в принципе человеком веротерпимым, делал единственное исключение из правила для иудеев! Было кого опасаться! Да только их как тараканов — не вывести! Ведь что поразительно — с 1844 года с евреев начинают взимать налог за ношение длиннополого сюртука, с 1848 года — за ермолку, с 1850 — и вовсе запрещают носить еврейскую одежду в России, а пользы от всех этих указов — кот наплакал! Ну, ладно, с одеждой еще можно справиться, а с духом? С еврейской вредоносной национальностью, как говаривал Иван Аксаков — с ней как справиться? Погромами? Процентной нормой? Эмиграцией? Игнатьев, наш министр внутренних дел при дворе Александра III, прямо заявил, что западная граница открыта для евреев, обер-прокурор Святейшего Синода Победоносцев выражал убежденность, что теперь уж треть жидов покинет Россию, треть вымрет, а треть ассимилируется? Увы — не сбылись надежды. И сейчас ведь: и уезжать не хотят, и равно про запас этот выход держат — на всякий пожарный случай, про черный день. А у русских этого выхода нет, и не потому, что граница для нас на замке, а потому что мы в *своей* стране, какая бы она ни была,

а они, евреи — в чужой. Не можем же мы все уехать — все 250 миллионов! Увы, нет пророков в своем отечестве, никто пророкам не верит, а только побивают камнями, а разве мы не могли избежать революции, а то и обеих, если бы вовремя прислушались к нашим оракулам? Разве не предупреждало нас "Новое время" в 1880 году, что "Жид идет" — так и называлась статья? А разве в 1891 году не был очищен наш престольный град от жидов, и двадцать тысяч евреев, некоторые даже в кандалах, как преступники, не были выдворены из Москвы? Так ведь возвратились...

Катя остановилась — даже не возмущенная, скорее — потрясенная:

— Да что это с вами, Глеб, вам лечиться надо — у вас же настоящая жидомания! Вы помешались на еврейском вопросе, вы просто спятили! И вообще, что вы ко мне пристали, что вам от меня надо?

Обидов ухмыльнулся:

— А ежели я в вас влюблен?

— И это вы называете объяснением в любви? Причем здесь тогда евреи?

— Как — причем? — пришла пора удивиться Обидову. — Да если бы не ваш Глузман, то ведь вы бы со мной гуляли по Бенилюксу, а не с ним! Плюс, у вас обо мне представление с его слов. Говорил он вам, что я рылся у него в чемодане? Так теперь я вам скажу — был грех, рылся, только не по заданию КГБ, как он считает, а из чистого любопытства — истинный крест! Это во мне несостоявшийся прозаик говорит, с его любопытством и бесстыдством. А вы мне с первого взгляда приглянулись — еще в Москве. Если вы к тому же еще и актриса, и на сцене хороши — о боже, да я приеду в Ленинград, закуплю на месяц билеты и не вылезу из ТЮЗа — это-то вы мне запретить не сможете! И во Франкфурте я видел, что вы кошелек нашли и часы себе купили — в жизни никогда об этом не доложу. Да и кому это интересно? А что касается КГБ, то вызывают поголовно всех перед поездкой — будто вас не вызывали?

— Вызывали — перед поездкой, но не в связи с поездкой.

— Но о поездке хоть слово было?

— Было.

— Видите! Значит, они поездкой пользовались, чтобы что-то у вас узнать. С каждым — по-разному. А если вы думаете, что мне доставляют удовольствие встречи с ними, то вы ошибаетесь. Глузмана

ведь тоже вызывали! А что он взбунтовался — так это он перед вами, как вы не понимаете?! Я ведь тоже из-за вас сейчас из автобуса вышел, а то получается — совсем скурвился, ссучился, выходит, окончательно. Но главное — другое: для вашего Глузмана Россия — место действия, одно из мест его пребывания, а нам она до смерти дана, и другой не будет. Он может себе позволить рвать с ней, потому что Россия для него — транзитный пункт, перевалочная станция, а для нас, Катя, — все-таки родина. А коли в России жить, то хочешь не хочешь, приходится искать общий язык с ними, иначе жизни не будет — КГБ сейчас всесилен и неизбежен. Советы давать просто — вон, один ваш земляк целый кодекс составил, как вести себя в КГБ, но составил-то он его, находясь уже за пределами доступности этой организации, — сам читал в журнале “Континент”, Яков некий, фамилию не упомяну, нерусская. Легко им, этим Глузманам да Яковам...

— Нелегко! — возмутилась Катя.

— Пусть, пусть нелегко, — скороговоркой согласился Обидов. — Но ведь вот — мы с вами сейчас полетим на родину, а Илья Израилевич — взял да остался!

Здесь Кате и в самом деле крыть было нечем — похоже, что Илья уже не появится. Катя подумала о нем зло и поймала себя на этом, а ведь сама ему советовала! Ах, не надо заводить детей, одной, как перст, чтобы только за себя быть ответственной — и ни за кого более: тогда что-то еще можно решать, а так — по рукам и ногам! Вот почему охраняет Антигона свое девство и уносит его в могилу — чтобы быть свободной в своих решениях, чтобы за ее поступки не страдали другие! Хотя все равно — мать: не у Антигоны, а у нее, у Кати... Но мать все-таки не то, а Петьку бросить нельзя — никак! Неужели Илья так и не появится и вся их любовь тоже — по боку?

О, эти муки личного решения — далась ей эта свобода, вспомнила Катя вдруг про Македонову, и сердце защемило, и душа заболела, и стыдно стало, что забыла про главное. Какая же это свобода, когда сердце молчит или говорит тихо-тихо, а все заглушает болтливый демагог-разум с его дуализмом, демагогией и немощью.

— Глеб, — обратилась вдруг Катя к Обидову, — а могли бы вы спасти Македонову? Ведь даже идеологически вы должны были бы вроде принять участие в ее драме, она ведь — из раскулаченных, жертва той самой коллективизации, которую вы, как трагедию, ставите даже впереди тридцать седьмого года.

Некоторое время они шли молча. О чем думал Обидов: об аргументированном ей ответе или о том, как спасти Македонову?

— Македонову спасать не надо, — начал Обидов. — Я вообще не сторонник уклонения от драмы, обезболивания боли и прочих новокаиновых атрибутов еврейского гуманизма. Смерти нам не избежать — так вот, надо тренироваться! Жить — это упражняться в умирании. Жизнь — это трагедия, и ее чашу надо испить до дна. Особенно русская жизнь — почему 250 миллионов должны нести крест, а Македоновой — из-под него выскользнуть? Почему ей исключение — из русской истории, из русской судьбы, да и из судьбы ее собственной семьи? Ее рассказ вам я знаю — в вашем номере был установлен магнитофон, и в посольстве мне и другим товарищам прокрутили эту пленку. В конце концов, я могу даже понять глузмановское бегство не от нас, но от русской судьбы: он — еврей, он не обязан, нету такой — кровной, с рождения, в генах — связи, а есть благоприобретенная, а, что легко находишь, легко и теряешь. Евреи — кочевники, цыгане, проходимцы, но не мы! Мы возвращаемся в нашу страну, которая измучена, устала и смертельно больна — и мы вместе с нею: это наша боль. В том числе и македоновская. Нам есть где умирать — это уже много. Мы — не богоносцы — какое там! — мы скорее крестоносцы — не в том смысле, что с крестом на неверных, а в том, что под крестом, под всей тяжестью православного русского иисусова креста!

И Катя вдруг поняла, что Обидов не уваливает, что его позиция, может быть, вынужденная, но давно и в подробностях — до мелочей — обдуманная и даже выстраданная — нет, не культ страдания, скорее культ России, не венценосной, но униженной; потому и бросить нельзя, все равно как — мать...

Или даже Петьку.

Они столкнулись со своей группой так же неожиданно, как и потеряли ее — на очередном повороте пандуса, и Катя впервые заметила, какие у всех понурые, усталые лица — Кожевников, профессор, даже Дафнов сдал, даже стайка приставленных к ним в Москве поэтов: боже, а если не только она, но все они — нет, не переживают, а проклинаят тот день, когда подали заявление на эту поездку?

Или другой день — когда родились на свет божий в пределах их разбросанного по всему свету Отечества — в беспредельных просторах советской Вселенной...

А Обидов успел ей только шепнуть:

— Не пытайтесь, Катя: помимо всего прочего — бесполезно...

А если бы она поговорила вот так, как с Обидовым, — с профессором, например? Открылась же ей изнанка даже Македоновой, а теперь вот Обидова. Она глядела со стороны и стороннему взгляду удивлялась — с чего бы это? Она была частью их, и все они были не сами по себе, но скованные одной цепью, будто с рождения и навсегда, неделимое целое, и отпасть от него было нельзя — никому.

А Илья?

Он ждал их в аэропорту — один, никаких полицейских, она обо всем сразу же догадалась: он ушел, а теперь вернулся — к ней. И больше она его мучить не будет. Македоновой — как, а их снова двое!

Ни с кем не здороваясь, он подошел к Кате и отвел ее в сторону.

— Ты во всем права, но я ничего не могу. Я много думал за это время: я — ничтожество, потому что я могу только думать, а больше ничего не могу. Еще — любить тебя. Я не могу быть счастливым, потому что счастье инстинктивно, а у меня разум искажает чувства — даже к тебе: поэтому ты тоже не будешь со мной счастлива. Я это знаю, но я тебя люблю.

Катя вдруг испугалась, что это он пришел к ней проститься — она обернулась, словно ища защиты, и увидела, что вся их группа, не отрываясь, на них смотрит, так и застыла, потрясенная появлением Ильи — а может быть, и они подозревают, что он пришел проститься: попробуй его сейчас задержи!

— Я могу говорить долго, — продолжал Илья, и Катя только сейчас заметила, какой он невыспанный, небритый, почерневший, и — какой родной! — Я могу говорить долго, потому что у меня сейчас, как у Обидова, — недержание речи, но суть сводится к совсем простым словам, а их у меня тоже нет. Последний раз — не предлагаю, а прошу, молю тебя, Катя, — останемся здесь, здесь я что-то могу, а там ничего, я тебя люблю и нам будет хорошо, клянусь тебе!

“Зачем я родила Петьку?” — с двойным ужасом подумала Катя, потому что ужаснулась заодно и своей мысли: мать она все-таки смогла бы бросить, но не сына.

Илья говорил еле слышно, и она ответила одними губами, без звука, и только потом — какой раз уже! — поразились их сходству с рыбами, аквариумному их сейчас существованию.

— Я просто так, — прошептал Илья, — я знал, что ты откажешься, я — на всякий случай...

— А ты полетишь? — спросила Катя и снова удивилась сама себе: в какой обыденной форме задался этот страшный вопрос.

Илья ничего не ответил, и Катя поняла, что он летит только из-за нее, а не из-за отца и жены.

Дальше были формальности — анкеты, осмотр багажа, проверка паспортов, Катя пребывала в полном оцепенении, плохо соображала, да и все были какие-то ошарашенные, с тупым и растерянным взглядом, смертельно усталые — так бесславно кончалась их десятидневная поездка, начавшаяся — и так давно! — томительным ожиданием во франкфуртском аэродроме с его удивительными подарками — как обещаниями: Илье и Кате.

Им было обещано, даже дано — и отнято.

Македонову вели под руки, из-за нее была небольшая задержка, но все как-то разъяснилось, и кэзбэшники вместе с врачом, оставшись по ту сторону паспортного барьера, махали им руками и улыбались, их операция была успешно окончена, и они, должно быть, предвкушали благодарности и награды, а может быть, просто искренне были довольны, что работа была сделана аккуратно и вот наконец они от нее свободны — чисто профессиональная радость, по ту сторону нравственных категорий.

Но Македонова, оказавшись в самолете, вдруг пришла в себя и быстро-быстро стала что-то шептать себе под нос, и никто не мог разобрать — что, а она говорила все громче и все отчетливее, хотя и бессвязно, и постепенно до Кати стал доходить наконец рефрен ее невыносимой речи, потому что среди безумного и учащенного ее бормотания, между ровными паузами, возникала одна и та же фраза и звучала все четче и тревожнее. Это было похоже на какую-то мелькающую из фильма в фильм военную сцену, где чудом оставшийся в живых солдат пытается по полевой рации связаться с базой и в отчаянии повторяет свои позывные: "Я — Чайка" или "Я — Океан". И было невозможно, невыносимо для человеческих ушей слушать обезумевшую Наталью Алексеевну Македонову, эти позывные, которыми она обозначала свое местонахождение в мире, требовала помощи и верила, что хоть кто-нибудь услышит и запеленгует ее голос.

Какая-то сила подняла Катю с уютного сидения, и она сорвалась, помчалась по проходу между креслами, не помышляя даже

о помощи Македоновой — лишь бы убежать от безумных ее позывных.

Кто-то схватил ее за руку — кажется, профессор, кто-то пытался подставить подножку, и она чуть не упала, но все-таки выскочила в проем, успела вскочить на отъезжающий трап и вцепилась в его поручни, а сзади ее настигал македоновский голос:

— Я — Павлик Морозов... Я — Павлик Морозов... Я — Павлик Морозов...

И вдруг Кате стало так легко, как никогда в жизни, даже в детстве так не было, хотя она и тосковала все это время — не по детству, скорее — по девству, а точнее — по себе прежней, и она безошибочно почувствовала сейчас всю нестерпимую фальшь софокловой и ее, Катиной, Антигоны, потому что решение человеку не в тягость, тягость — это когда не решиться, а решение — это свобода, как у нее сейчас, когда она, вцепившись в поручни, все дальше и дальше отъезжает от их самолета и мчится по залитому солнцем бетонному полю на таком странном виде транспорта, как трап, и в ушах ее гудит ветер и сдувает с нее все двадцать шесть лет ее советской жизни.

И это было как музыка, и вроде в самом деле была музыка, и верный быстрый конь мчал ее, вцепившуюся ему в загривок, и даже слегка пританцовывал, а музыка звучала все веселее и громче, пока не превратилась в тревожную сирену, и их нагнала и опередила полицейская машина и на ее задую зажглось требовательное табло: "Следуйте за мной!"

Все было теперь очень просто, и пока Катю везли к зданию аэропорта, она быстро перевела в расчет то, что сделала почти что бессознательно, — значит, зря она боялась за свой инстинкт и что заразилась от Ильи мозговой его игрой. Правда, когда ее привели в просторную комнату с большим, формы ветрового, окном, окружили и стали о чем-то расспрашивать, она было растерялась, потому что смысл английских слов до нее доходил медленно и не всегда, а ее английские слова были редкими, корявыми и никак не складывались в фразу. Но в окно она увидела, что их самолет окружен полицейскими, и поняла, что рейс задержан.

Полицейские в комнате тем временем о чем-то совещались, звонили по телефону и наконец дали трубку ей. Она услышала ломаную русскую речь, но поняла, что далекий голос просит ее объяснить, в чем дело, сначала ему, а уж он переведет ее сообщение полицейским. У нее было мелькнуло, что если он так дурно

говорит, то понимает и того хуже, а тем более по телефону, но она, впрочем, сразу же забыла об этом, и быстро, легко, нервно стала разворачивать перед невидимым своим респондентом сюжет македоновской драмы. И не отрываясь, продолжала глядеть в огромное ветровое окно, с замечательно широким обзорным видом на летное поле, где стоял их самолет, куда ей вскоре предстояло возвратиться, чтобы попасть в лапы КГБ — зато Македонова спасена.

Катя с удовольствием наблюдала, как пререкаются работники Аэрофлота — тоже, небось, кэзгэзшники отпетые! — с полицейскими, окружившими их самолет, а когда дверь распахнулась и в их комнату ворвался позеленевший от злобы вице-консул и, бросив ей: "Сука!" — заблестел стальными зубами и что-то закричал по-немецки, Катя совсем развеселилась, потому что живо представила себе, как плакали вожделенные благодарности и награды этого очень плохого человека, который так напугал ее тогда в посольстве. В конце концов, к полному Катиному удовольствию, вице-консула выдворили вон, так как он мешал работать и нарушал порядок.

На другом конце провода ее несколько раз переспрашивали, и Катя догадалась, что дело не только в плохом знании языка ее телефонным собеседником, но и в ней самой — в ее теперешней нервной и скорой речи, и она еще раз терпеливо объяснила, что речь идет о том, чтобы предоставить политическое убежище в Голландии Наталье Алексеевне Македоновой, иначе ее растерзают в Советском Союзе голодные псы из Комитета Государственной Безопасности, и ее собеседник несколько раз с сильным акцентом повторил "политическое убежище" и "Комитет Государственной Безопасности", словно бы заучивая эти слова наизусть, как самые важные в ее сообщении, а затем попросил передать трубку кому-нибудь из полицейских.

А у Кати — гора с плеч. Какое все-таки счастье, что она это сделала! Как она могла сомневаться? И вдруг она поймала себя на том, что ничего не боится — ничего и никого! Скорее бы домой, в Ленинград, к Петьке! Впервые она заскучала по нему и даже почувствовала, что десять дней ее путешествия — это что-то вроде маленького предательства Петьки, такогомышленного и одинокого ее мальчугана.

И еще ей захотелось поскорее на огромную их сцену, чтобы сыграть совершенно другую, счастливую Антигону после того,

как та решилась сделать то, что сделать было невозможно, но необходимо.

И Катя, вздохнув, закрыла глаза, потому что теперь уже все, что происходило в полицейской комнате, к ней не имело никакого отношения.

А когда открыла их и, взглянув в окно, увидела, как мощная машина Аэрофлота, развернувшись, пошла на взлет, то с ужасом поняла, что произошло непоправимое и ее сообщение о Македонской сочли за личную ее, Кати Костиной, просьбу о предоставлении ей политического убежища в Голландии.

Проклятая ее артикуляция — почему, когда все настаивали, она так и не сходила к логопеду? Почему не выучила английский?..

И не было уже сил ни спорить, ни плакать, ни доказывать, ни объяснять, она только глядела прощально, как их самолет круто взмыл в небо и быстро, на глазах, катастрофически стал уменьшаться, пока не превратился в точку, которая тут же погасла — как будто ее и не было.

О черное средневековье современности!..

И когда навсегда исчезла в небе точка, бывшая только что советским самолетом, Катя услышала поверх чужеземной речи вполне внятную русскую — одну всего лишь фразу:

— Не плачь обо мне, плачь о себе самой...

## **КНИГОТОВАРИЩЕСТВО "МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ"**

**ВЫПУСТИЛО В СВЕТ НОВУЮ КНИГУ  
АДИН ШТЕЙНЗАЛЬЦ. КОНТУРЫ ТАЛМУДА**

"Контурь Талмуда" — не только первая на русском языке популярная книга, рассказывающая о возникновении, содержании и особенностях Талмуда — этого станового хребта всей еврейской культуры. Личность автора, крупнейшего израильского религиозного философа-экзистенциалиста, наложила на эту книгу неповторимый отпечаток, превратив ее в рассказ об особенностях еврейского отношения к человеку и к миру, обусловивших исключительность еврейской судьбы.

**Цена книги — по заказу — 120 шекелей (за рубежом — 12 долларов).**  
Чеки и заказы принимаются по адресу: "Foundation Moscow—Jerusalem",  
P.O.B. 7045, Ramat-Gan, Israel.

Коммунизм — это есть Советская власть... ну, нету, но предположим, что есть. Можем на минутку себе представить. Только не больше, как договаривались. Я вас понимаю, понимаю, не нервничайте, я знаю, что это нелегко, кто ее когда видел, Советскую власть, но я же сказал: "Предположим"... Для людей с живым воображением. Итак: коммунизм — это есть Советская... Произношу заново с маленькой буквы: коммунизм — это есть советская власть плюс электрификация всей страны. Ну, не всей, есть чукчи, которые свои шестьдесят свечей из тюленьего жира отливают, но скажем, что всей. Допустим. И еще — плюс химизация... Какой же это плюс? — спросите вы — какой это к собачьим свиньям плюс, если вся страна, как необъятная задница, а из Байкала можно неводом брать спирохету? Вы спросите — я отвечу: у них это плюс. У н-и-х. Для их системы нужна специальная математика, тут ни Лобачевский не подойдет, ни Фридман, ни Эйнштейн. Тут не искривление пространства, тут разбазаривание пространства. И времени. Хотя пространства у них сколько угодно, а времени нет. Тут не разбегание Галактик, тут люди разбегаются. Так что слушайте, что я вам говорю: у людей минус, у них плюс. Байка-

*Александр Гольдман*

**МОНОЛОГИ**

лом меньше, Байконуром больше! Кто считает? Я считаю, я как раз взялся посчитать, я одел нарукавники и очки, взял счета фирмы "Тексас Инструментс", послунывил палец.

Итак: электрификация с плюсом, химизация с плюсом; накин им еще всеобщее обязательное среднее. Ниже среднего, между нами говоря, но и у нас, в Израиле — тоже не Царскосельские лица рассыпаны. Записали с плюсом. Нет, а вот это не пойдет: "Нынешнее поколение советских людей будет жить..." Кто знает? Кто поручится? Сколько лет уж талдычат — будет жить, будет жить — а кто живет? Когда заживем, тогда и запишем, а пока не надоедай, а то с минусом запишу.

Давайте, черт с вами, бесплатную медицину, я вам поверю, как будто это не я давал участковому врачу Израиль Марковичу десятку за больничный, когда болен, и пятерку, когда здоров, как будто это не у меня профессор Розенкранц брал молдавским коньяком и "Всемирной литературой". Да и кто докажет — профессор в Америке водит такси, Израиль Маркович — участковый в кибуце, то ли врач, то ли полицейский, во всяком случае хрен ему кто дает, так что записываем с минусом. Валяйте дальше: налоги низкие, взносы членские. Ну, скажем. Что? Ленинский принцип подбора кадров по деловым качествам? Записываю с минусом за наглость. Это кто предложил? Садись. Я уже устраивался на работу по деловым качествам и других устраивал. Примерно по сотне качество, не считая ресторана с начкадром плюс такси и компенсации кадровику за потерянный по пьянке портфель свиной кожи с секретными документами от руки.

Нет, так мы с вами не вылезем, надо бабки подбивать. Советская власть плюс электрификация. Плюс химизация. Плюс всякие хренации. Минус фашизация. Минус деградация. Плюс КВН, минус КГБ. Минус детская смертность, лучшая в мире. Минус ассимиляция, плюс ассенизация. Вон Иосиф Виссарионович плывет, отрицательный, как электрон. Лаврентий Павлович. Вот он Леонид Ильич, вообще-то вполне положительный как дворник или, скажем, управдом. Но на присвоенных ему пять звездочек не тянет, будем смотреть правде в глаза. Оне у нас будут нолик. То есть без всяких знаков отличия. Минус железный занавес. Плюс эмиграция. Минус отказы — слушайте, зачем вы нам отказываете? Будьте доступнее, добрее, человечнее. Но: будь вы добрее и гуманнее, вы были бы не вы. И не сделаю я вам никаких скидок. Я вам включу в счет сорок миллионов, сорок огромных

бочек арестантов. Плюс Плисецкая минус Барышников, да что там, целый список танцовщиков от Нуреева до Годунова Александра. Минус Борис Годунов, которого ни ставить, ни петь теперь не умеете. Плюс Коган, хоть и сволочь и стукач, но скрипач и еврей. С другой стороны. Минус Ростропович, который уже с другой стороны. Так сказать, для всего мира плюс, для вас минус. Извините-с. Минус жратва, деленная на Кубу, Анголу и много всякой шушеры в знаменателе. Плюс ресторан "Арагви", но в прошлом. Плюс "Националь", минус микрофоны. И чешский насильный плюс — он все равно с минусом. Минус Афганистан в большой нечетной степени. Минус убывающая польская прогрессия. Минус Армения с Грузией — да отпустите вы их только. Минус вильна Украина. Кстати и Вильно — со всей Литвой — всегда готовы. Да начните вы только отпускать — одне останетесь, одне. Бессарабию — Румынии, Латвию и Эстонию — самим себе. Немцев отпустите, просят ведь. Отдайте вместе с Кенигсбергом. У кого чего набрали — поотдавайте честь по чести. А сами оставайтесь. Минус баптисты. Минус мусульмане, буддисты, не говоря уже о евреях. Мы ваш внутренний минус. Уедем все равно. Минус правозащитники, минус пятидесятники. Минус прошлое. Минус будущее. Что у вас в настоящем? Ноль? Врете.

*и время отсчитываешь не по календарю...*

Михаил Жванецкий

...время отсчитываешь не по календарю, по олим, по новеньким нашим иммигрантам, все реже приезжающим, но все-таки, все-таки, когда-никогда... Ну все-таки, а?

...вот он, вот он, ты его встречаешь, он твой старый друг, блуждает по стекляшке аэропорта в Луде, чемоданы на колясочку погрузил — и толкает, бережно, бережно так, как младенчика или взрывчатку, кружит, бедный, не знает, куда приткнуться. Да брось ты этот вальс с чемоданами, заметь меня, сюда, сюда, к стеклянной стеночке, где я стою, на тебя пялюсь! Ну вот, давно

бы так, увидел, замахал, сморщился... погоди-ка, постой... это не он! Или все-таки? И телеграмма, номер рейса, час прибытия... Но — не он, я ж кого оставлял? Я ж льва оставлял, гангстера, бабью присуху, а этот плетется, шаркает, мешки под глазами и под мышками. И все же — он, я его по бородавке опознал, иди давай, приближайся, да не втягивай ты живот, иди свободно, ты в свободной стране, посмотри, какая марокканочка, чего ты оглядываешься, балда, ты по-прежнему боишься мамы? Что? Это не мама? Жена? Ой я понял! Ох ты жох! Ох ты пройдоха! Ох я тебя раскусил! Ты же взял большие деньги! Ну ты капиталист! Ну ты здесь далеко пойдешь! Или: ты был вынужден, тебе не хватало на выезд. А! Что эти мерзавцы делают с людьми! Что? По любви? Ты ее и сейчас любишь? Гос-споди, что с ним Советская власть сделала. Плюс электрификация...

... а этот, этот, я ж на тебя молился, ты же был борец за права человека человеком, диссидент, орел, весь в полете — и всегда о возвышенном, отчего же теперь приземлился и униженный такой? Хотя нет, вот он, оживает, борец, правильно, нас так не возьмешь, не сломишь, есть еще порох... Жажахни им на всю катушку "Отпусти народ мой!" Погоди, погоди, ты за что, парень, борешься? Ты за улыпан в центре страны борешься? Эх, черт, борьба под лозунгом "Отпусти народ мой в центр страны, в Тель-Авивский округ"... Но ладно уж, валяй, в конце концов — положено тебе, заслужил, так ты и борись, настаивай, требуй! Ты зачем просишь? Зачем заикаешься на иврите? Да плюнь ты сохнутовцу этому наглomorдому в очи черные, да пошли ты его подальше, по-русски, по-русски, он поймет, видишь он какусенький у нас умница? Стой перед ним спокойно, как перед начальником ОВИР-а, он чиновник, пакид, а ты ученый... у нас, правда, ученых здесь — как собак нерезаных, но тебе это знать рано, просто ты человек. Не хуже чиновника. Эх, не в форме ты парень, снимаю тебя с соревнований. Не знаю пока — то ли ты устал, то ли отборолся свое?

... смотри, смотри, строим прут! Это хто? Это рымляне. Да не древние, нынешние, русские, но имя им — легион. А вот эта — точно древняя из раскопок. Ее Сохнут в Остии раскопал. Да чего ты врешь — из Ладисполли, из Ладисполли! Ты из города Бельцы Бессарабской ССР. Куда решила, если не секрет? В Австралию? Очень правильное решение, там бескрайние просторы, а у нас тебе будет тесновато. У нас страна приталенная и облегающая со

всех сторон. Тебе будет жать в груди. Ты бы отсюда выпирала, выпирала и в конце концов выперла. Тебе бы пришлось жить, затаив дыхание. Теперь дыши свободно. Нет-нет, это не от зависти, поверь, и я не сержусь, я понимаю, у тебя там уже двоюродный брат, и тетя со стороны двоюродного брата, и племянница со стороны тети... Я знаю, это я виноват, это твою тетю мне бы перехватить в Риме лет пяток назад, всего только пять лет, как это я ее проглядел, как это мы вас всех проглядели, дорогие мои римляне. Теперь все дороги ведут в Рим, все дороги, до чертовой матери дорог, и каждая из них на твоём лице! Эх, новый Рим, новый мир! И где те гуси, которые этот новый Рим спасут? Где?

... мымра!! Прошла — ноль внимания — не узнает в-ро-де бы. Я-ко-бы. Мол. Ддддура! Это же тебя невозможно узнать! НО: я узнал. Я пристально глядел. Я наблюдательный. Ты стала поразительно похожа на свою маму. Которую я ненавидел, покойницу. Ой, она не покойница, а бодро прет справа от тебя с двумя чемоданами и совсем не изменилась. Тебе бы так. Слушай, у тебя же была потрясающая походка, ты же танцевала шейк, страшно подумывать! Не вздумай, бога ради этим заниматься здесь — враги решат, что в Израиле проводятся подземные испытания ядерного горючего! Да не притворяйся, оглянись же ты! У нас же было с тобой свидание, на углу Пушкинской и Пироговской, ровно двадцать лет назад в это время, и я не пришел, глупо же сердиться, прошло столько лет! Ну, наконец, оглянувшись, иду навстречу военным шагом, молодцеватый и щеголеватый, я еще хоть куда, молодые мысли, я не постарел, я такой как был, очки, от которых темнеет в глазах, джинсы экстра-экстра-лардж, но фирмовые, живот втянул, валидол — импортный — советский — под язык — йалла!

... но вот она, она — господи, в висках застучало, перебоев больше, чем ударов — она, и совсем не изменилась, эти сводящие с ума ноги — от шеи и вниз, вниз, далеко, и глаза выпуклые и с усмешкой, и груди, как у козы — налететь, схватить, смять, забыть, что женат, что дети, она узнает, если не меня, то мои руки, мои объятия, ну чего ты верещишь, дуреха, не режут же тебя, какой я тебе к дьяволу дядя? А вы здесь при чем, мадам? Это ваша внучка? Что? Дочь? Извините, да, да, помню, вы прекрасно сохранились, как Тутанхамон, только на вас золота больше, вы случайно не были в Египте? Что? Вы меня любили? И даже я вас? Что вы говорите? Да, да, конечно, естественно, разве вас можно было тогда не

любить? Это только теперь можно, а тогда — ни-ни! Вас. Одну. Только вас. Нет, нет, не целуйте меня, гражданка, товарищ, женщина, геверет наконец! Я могу не перенести — столько счастья сразу. Дайте мне опомниться. Обращаться к вам "на ты"? Нет, нет, не настаивайте, я стесняюсь, я должен привыкнуть... Познакомьте меня лучше с вашей дочкой? С чьей? С моей? С чьей это моей? С какой такой моей? Вылитая я? Из чего, если не секрет? Мой портрет? Я же вам не позировал. И вообще: я же дал деньги на это... А? Выбросили босоножки и ты сохранила? Что за бред, что сохранила, гражданочка, я Вас не понимаю!! Вы сохранили босоножки на память обо мне? Кто-то выбросил, а вы сохранили? Ага, вы потратили деньги на какие-то поганые босоножки, здесь такие — шекель — кучка, и сохранили дочку. Плюс воспоминания. Вот за это спасибо! А ты, девочка, чего от меня хочешь? Ты туфли "Аидас" от папы хочешь? Да, да, папа купит, папа непременно купит, он тебя найдет, папка твой, и купит. Ты в это обязательно верь. Он куда как меня богаче должен быть, папа твой. Опять вы, госпожа! Вам что? А? Называть тебя как в молодости? Не знаю, как у тебя, а у меня это было так давно... Хоть режь, не помню. Зайчиком я вас называл? Удивительно метко. Раз-два-три-четыре-пять, вышел Зайчик... Ну, выехал, положим... И как же Зайка к нам прискакал? Ведь наш Заинька — русский, если не ошибаюсь? Нет разве? Заяц-русак. Ну, ладно. Сейчас — иврит, ульпан, прекрасное время, знакомства, встречи. Не нужен? Хотите квартиру? Отдельная квартира, что может быть лучше, я похлопочу, я нажму на министра абсорбции, тот нажмет на Бегина. Вы же знаете, если на Бегина нажать — он отдаст, отдаст, отдаст... Как, и квартира вам не нужна? Мы будем жить вместе? Ты устала от тайных встреч? Вот это совпадение, я тоже очень устал, у меня переутомление, до бессилия, надеюсь, вы меня понимаете? Нет, никакой надежды, врачи говорят, что уже все. Ох, я с вами заговорился. Я встречаю тетю. Здравствуйте, я ваша тетя. То-есть это вы — моя тетя. Вот уж над кем годы не властны — так это над вами, те-тя. Вы как выглядели двадцать лет назад на свои восемьдесят три, так на них и тянете! Просто Дориан Грэй какой-то, а не тетя, с ума можно сойти. Тетя, дядя, родственные, давайте к нам, Что? С соседями? По самолету? Давайте с соседями, все, все к нам валите, да поскорей, а то вон гражданочка рвется, говорит, что раньше занимала...

... слушайте, а быть может это я? В смысле: это я изменился?

Я же, рассказывают, добрым был, я же был хороший. Ее ж, тетю старенькую, ее ж бы приласкать, да и одинокую эту, — человек же нет? И девчонка — безотцовщина, и друг мой растерянный — всех. Что это — неужто печень? Раньше себе рисовал: все приедут, сядем по-божески, по-людски вокруг стола, все молоды, небу жарко, а вот выпили по первой, — и сердце, и холецистит, и нервы...

... я в Париже был — Эйфелеву башню лично видел — не меняется, сука! Людей миллиарды перемерло, а она, гадина, стоит. Не ржавеет. Говорят, на ее подновление каждый год миллионы тратят. Эх, моя бы воля, да я бы приказал, уж я б распорядился: на дуру эту длинную с сего дня — ни гроша. Людей подновлять ежегодно, ежедневно, ежечасно. А башню оставить ржаветь. Как памятник любви к человеку. Мол, насколько башня больше окиси даст, настолько и людей ржа меньше тронет... Ах, если бы так...

А все же — подумал — в России сильнее ржавеют. Там среда агрессивная слишком. Эх, черт с вами, меняйтесь, старейте, как положено, но: ПРИЕЗЖАЙТЕ, ПРИЕЗЖАЙТЕ...

### **КНИГОТОВАРИЩЕСТВО "МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ"**

ВЫПУСТИЛО В СВЕТ НОВУЮ КНИГУ

**АЛЕКСАНДР ВОРОНЕЛЬ. "ТРЕПЕТ ИУДЕЙСКИХ ЗАБОТ"**

**(ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ, ПЕРЕРАБОТАННОЕ И ДОПОЛНЕННОЕ)**

Почти музыкальный строй этой книги воспоминаний и размышлений лучше многих рациональных доводов автора доказывает, что наша судьба есть цельность, развертывающаяся во времени и пространстве, и нам надлежит прислушиваться к музыке своей жизни, чтобы не сфальшивить ненароком. Судьба еврейского интеллигента определяется двумя темами. Россия и еврейство, и разговор о их взаимосвязи и противостоянии составляет содержание и главный интерес этого оригинального произведения.

**Цена книги — по заказу — 90 шекелей (за рубежом — 8 долларов).**

**Чеки и заказы принимаются по адресу: "Foundation Moscow—Jerusalem", P.O.B. 7045, Ramat-Gan, Israel.**

*Сергей Гандлевский*

## СТИХИ

Сегодня дважды в ночь я видел сон,  
Загадочный, по существу один  
И тот же. Так цензура сновидений,  
Усердная, хранила мой покой.  
На местности условно-городской  
Столкнулись две машины. Легковую  
Тотчас перевернуло. Грузовик  
Лишь занесло немного. Ветровое  
Стекло его посыпалось на землю.  
Осколки же земли не достигали,  
И звона не случилось. Тишина  
Вообще определяла обстановку.  
Покорные реакции цепной  
Автомобили, красные трамваи,  
Коверкая железо и людей,  
На площадь вылетали, как и прежде,  
Но площадь не рассталась с тишиной.  
Два битюга — они везли повозку  
С молочными бидонами — порвали  
Тугую упряжь и скакали прочь.  
Меж тем из опрокинутых бидонов  
Хлестало молоко. И желоба,  
Стальные желоба трамвайных рельсов  
Полны его. Но кровь была черна.  
Оцепенев, я сам стоял поодаль  
В испарине кошмара. Стихло все.  
Вращаться продолжало колесо  
Какой-то опрокинутой "победы".  
Спиною к телеграфному столбу

Сидела женщина. Ее черты,  
Казалось, были сизмальства знакомы  
Душе моей. Но смертная печать  
Видна уже была на лице женском.  
И тишина. Так в клубе деревенском  
Киномеханик вечно пьян, динамик,  
Конечно, отказал, и в темноте  
Кромешной знай себе стрекочет старый  
Проектор. В золотом его луче  
Пылинки пляшут. Действие без звука.

Мой тяжкий сон, откуда эта мука?  
Мне чудится, что мы у тех времен  
Без устали скитаемся наощупь,  
Когда под трубный глас на ту же площадь  
Повалим валом с четырех сторон.  
Кто молвит завершающее слово  
Под сводами последнего суда,  
Когда лиловым сумеркам Брюллова  
Настанет срок разлиться навсегда?  
Нас смоем с полотняного экрана.  
Динамики продует медный вой.  
И лопнет высоко над головой  
Пифагорейский воздух восьмигранный.

\* \* \*

“Расцветали яблоки и груши”, —  
Звонко пела в кухне Линда Браун.  
Я хлебал портвейн, развесив уши.  
Это время было бравым.

Я тогда рассчитывал на счастье,  
И поэтому всерьез  
Я воспринимал свои несчастья.  
Помню, было много слез.

Разные истории бывали.  
Но теперь иная полоса

На полуподвальном карнавале —  
Пауза. Повисли паруса.

Больше мне не баловаться чачей,  
Сдуру не шокировать народ.  
Молодость, она не хер собачий,  
Вспоминаешь — оторопь берет.

В тихий час заката под сиренью  
На зеленой лавочке сижу.  
Бормочу свои стихотворенья,  
Воровскую стройку сторожу.

Под сиренью в тихий час заката  
Бьют, срывая голос, соловьи.  
Капает по капельке зарплата,  
Денежки дурацкие мои.

Не жалею, не зову, не плачу,  
Не кричу, не требую суда,  
Потому что так, а не иначе,  
Жизнь сложилась раз и навсегда.

\* \* \*

Еще далеко мне до патриарха,  
Еще не время, заявляясь в гости,  
Пугать подростков выморочным басом:  
"Давно ль я на руках тебя носил!"  
Но в целом траектория движенья,  
Берущего начало у дверей  
Роддома имени Грауэрмана,  
Сквозь анфиладу прочих помещений,  
Которые впотьмах я проходил,  
Нашаривая тайный выключатель,  
Чтоб светом озарить свое хозяйство,  
Становится ясна.

Вот мое детство  
Размахивает музыкальной папкой,  
В пинг-понг играет отрочество, юность

Витийствует, а молодость моя,  
Любимая, как детство, потеряла  
Счет легким километрам дивных странствий.  
Вот годы, прожитые в четырех  
Стенах московского алкоголизма.  
Сидели, пили, пели хоровую —  
Река, разлука, мать сыра земля.  
Но ты зеваешь: мол, у этой песни  
Припев какой-то скучный... Почему?  
Совсем не скучный, он традиционный.

Вдоль вереницы зданий станционных  
С дурашливым щенком на поводке  
Под зонтиком, в пальто демисезонных  
Мы вышли наконец к Москве-реке.  
Вот здесь и проживем. Совсем пустая  
Профессорская дача в шесть окон.  
Крапивница, капризно приседая,  
Пропархивает наискось балкон.  
А завтра из ведра возле колодца  
Уже оцепенелая вода  
Обрушится к ногам и обернется  
Цилиндром изумительного льда.  
А послезавтра изгородь, дрова,  
Террасу заштрихует дождик частый.  
Под синим рукомойником трава  
Заляпана зубною пастой.  
Нет-нет, да и проглянет синева,  
И песня не кончается.

В припеве

Мы движемся к суровой переправе.  
Смеркается. Сквозит, как на плацу.  
Взмывают чайки с оголенной суши.  
Живая речь уходит в хрипотцу  
Грамзаписи. Щенок развесил уши —  
His master's voice.

Беда невелика.

Поговорим, покурим, выпьем чаю.  
Пора ложиться. Мне наверняка

Опять приснится хмурая, большая,  
Наверное, великая река.

\* \* \*

Вот наша улица (допустим,  
Орджоникидзержинского) ,  
Родня советским захолустьям,  
Но это все-таки Москва.  
Вдали топорщатся массивы  
Промышленности некрасивой.  
Каркасы, трубы, корпуса  
Настырно лезут в небеса.  
Как видишь, нет примет особых:  
Аптека, очередь, фонарь  
Под глазом бабы. Всюду гарь.  
Рабочие в пунцовых робах  
Дорогу много лет подряд  
Мостят, ломают, матерят.

Вот автор данного шедевра,  
Вдыхая липы и бензин,  
Четырнадцать порожних евро-  
бутылок тащит в магазин.  
Вот женщина немолодая,  
Хорошая, почти святая,  
Из детской лейки на цветы  
Побрызгала и с высоты  
Балкона смотрит на дорогу.  
На кухне булькает обед.  
В квартирах вспыхивает свет.  
Ее обманывали много  
Родня, любовники, мужья —  
Сегодня очередь моя.

Мы здесь росли и превратились  
В угрюмых дядь и глупых теть.  
Скучали, малость развратились —  
Вот наша улица, Господь.  
Здесь с окуджавовской пластинкой,

Староарбатскою грустинкой  
Годами прячут шиш в карман  
И вырезают, как армян,  
Свои дурацкие надежды.  
С детьми играют в города:  
Чита, Сучан, Караганда.  
Ветшают лица и одежды,  
Бездельничают рыбаки  
У мертвой Яузы-реки.

Такая вот Йокнапатофа  
Доигрывает в спортлото  
Последний тур (а до потопа  
Рукой подать), гадают, кто  
Всему виною — Пушкин, что ли?  
Мы сдали на пять в этой школе  
Науку страха и стыда.  
Жизнь кончится — и навсегда  
Умолкнут брань и пересуды  
Под небом старого двора.  
Но знала чертова дыра  
Родство сиротства — мы отсюда.  
Так по родимому пятну  
Детей искали в старину.

### **КНИГОТОВАРИЩЕСТВО "МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ"**

**ВЫПУСТИЛО В СВЕТ НОВУЮ КНИГУ**

**ЯКОВ ЦИГЕЛЬМАН. УБИЙСТВО НА БУЛЬВАРЕ БЕН-МАЙМОН**

В первую книгу бывшего ленинградского, ныне иерусалимского журналиста вошли повести "Похороны Мойше Дорфера", впервые рассказывающая правду о Биробиджане, и "Письма из розовой папки, или убийство на бульваре Бен-Маймон", насмешливо и весело изображающая жизнь советских евреев в Израиле.

Цена книги (при заказе в издательстве) — 110 шекелей, за рубежом — 10 долларов.

Чеки и заказы принимаются по адресу:  
"Foundation Moscow-Jerusalem", P. O. B. 7045, Ramat-Gan, Israel.

*Хорхе Луис Борхес*

## БАВИЛОНСКАЯ БИБЛИОТЕКА

*Это искусство позволяет созерцать  
бесконечные комбинации из два-  
дцати трех значков...*

*Анатомия меланхолии,  
ч. 2, разд. II, пункт 1У*

Как известно, Вселенная (которую некоторые называют Библиотекой) составлена из огромного — быть может, даже бесконечного — множества шестиугольных висячих галерей, огороженных очень низкими баллюстрадами; эти галереи висят одна над другой, выступая из стен отвесных и очень широких вентиляционных колодцев. С каждой галереи видны другие, выше и ниже — до бесконечности. Каждая галерея ничем не отличается от другой. Четыре из шести ее стен закрыты стеллажами — по пять полок на каждой стене; в высоту они доходят до следующей сверху галереи, что слегка превышает рост среднего Библиотекаря. В каждой из двух незанятых стен имеется дверь в тамбур, ведущий в узкий коридор — проход на соседнюю галерею, точно такую же, как первая и все остальные. В стенах коридора находятся две кабинки; в одной из них можно спать — стоя, в другой — отправлять естественные надобности. Здесь же проходит винтовая лестница, уходящая вниз и поднимающаяся вверх, в отдаленные уголки Вселенной. Освещение дают некие шарообразные плоды, которые называют лампами. Их две на каждой галерее — на противоположных стенах. Свет, который они испускают, докучен и тускл.

Как и все жители Библиотеки, я много странствовал в молодости; я предпринимал дальние маршруты в поисках какой-нибудь книги — быть может, Каталога каталогов; сейчас, когда глаза мои почти не различают, что я пишу, мои последние дни

проходят всего лишь в нескольких километрах от той галереи, на которой я некогда родился. Когда я умру, не будет недостатка в сердобольных руках, чтобы перебросить мой труп через балюстраду; могилой моей станет бездонный воздух; тело мое будет нескончаемо ниспадать, и распадаться, и распыляться на ветру, вызванном бесконечным этим полетом. Идеалисты заявляют, что шестиугольные галереи — необходимая форма абсолютного пространства или во всяком случае нашего интуитивного представления об абсолютном пространстве. Они доказывают, что треугольную или пятиугольную форму невозможно вообразить. (Мистики утверждают, что в состоянии экстаза им является сферическая галерея, которая содержит одну-единственную книгу с непрерывным корешком, покрывающим всю сферическую поверхность стен; их утверждения сомнительны; их слова невняты. Эта всеобъемлющая сферическая книга — Бог ). С меня достаточно пока повторить классическую аксиому: Библиотека представляет собой сферу, центр которой располагается в центре любой из ее галерей; внешняя поверхность этой сферы недостижима.

На каждой из четырех стен галереи находится по пять полок; на каждой полке стоит по тридцать пять книг стандартного формата; в каждой книге насчитывается четыреста десять страниц; на каждой странице содержится сорок строк; каждая строка состоит из восьмидесяти типографских знаков черного цвета. Буквы имеются также на корешке каждой книги; они не указывают и не предвещают того, что содержится на ее страницах. Я знаю, что когда-то это несовпадение казалось загадочным. Прежде чем изложить его разгадку (открытие которой, невзирая на его трагические последствия, составляет, быть может, фундаментальнейшее событие в истории), я хочу напомнить несколько аксиом.

Во-первых, Библиотека существует извечно. В этой истине, непосредственным следствием которой является вечность мира в грядущем, не может сомневаться никакой здравомыслящий разум. Человек, этот несовершенный Библиотекарь, может быть продуктом случайного каприза эволюции или делом рук каких-нибудь насмешливых демиургов; Вселенная с ее элегантным расположением полок, загадочными книгами, нескончаемыми лестницами и туалетами, несомненно, может быть только творением Бога. Чтобы постичь всю глубину различия между Божест-

венным и человеческим, достаточно сравнить те неуклюжие, дрожащие символы, которые моя неуверенная рука выводит сейчас на обложке одной из книг, с извечными знаками на ее страницах — четкими, абсолютно черными, неподражаемо симметричными.

Аксиома вторая: число орфографических символов равно двадцати пяти. Это открытие позволило, около трехсот лет назад, сформулировать общую теорию Библиотеки и дать удовлетворительное решение проблемы, которую ни одно прежнее предположение не могло объяснить — бессвязного и хаотичного характера почти всех ее книг. Одна из них, которую мой отец видел в какой-то из галерей секции 1594, содержала всего три буквы — М, С и В, — повторявшихся с первой до последней строки без всякого порядка. Другая, с которой часто консультировались в тех краях, представляла собой истинный лабиринт печатных знаков, но ее предпоследняя страница гласила: "О, Время, твои пирамиды!" Вот что удалось, в конце концов, установить: на каждую осмысленную строку или правильное утверждение приходится километры бессмысленной какофонии, словесной неразберихи и путаницы. (Я знаю одну небезопасную группу галерей, Библиотекари которой отвергают бесплодный и суеверный обычай поиска смысла в книгах, сравнивая его с поиском толкования снов или рисунка линий руки... Они признают, что изобретатели письменности заимствовали двадцать пять лежащих в основании природы символов, но считают, что их использование является совершенно случайным и что книги сами по себе ничего не означают. Их утверждения, как мы убедимся, не вполне ошибочны.)

Долгое время полагали, что эти непостижимые книги написаны на вымерших или неизвестных языках. Верно, самые древние люди, первые Библиотекари, пользовались языком, весьма отличающимся от того, на котором говорим мы; верно и то, что в нескольких километрах от наших мест язык становится искаженным, а на девяносто этажей выше — непонятным. Все это, повторяю, верно, но четыреста десять страниц, заполненных буквами М, С и В, не могут соответствовать никакому языку, сколь угодно искаженному или примитивному. Некоторые предполагали, что каждая буква может оказывать влияние на последующую, и поэтому смысл букв ВСМ в третьей строчке семьдесят первой страницы не совпадает со смыслом такой же их ком-

бинации в другом месте книги; но эта сомнительная гипотеза не получила распространения. Другие говорили о шифре; это объяснение было, в целом, принято, хотя и не в том смысле, который ему придавали его создатели.

Пятьсот лет назад заведующий одной из галерей на верхних этажах\* обнаружил книгу, столь же путаную, как и все остальные, но содержавшую, однако, почти две страницы связного текста. Он показал свою находку странствующему специалисту по шифрам, который высказал предположение, что текст написан по-португальски; другие утверждали, что это идиш. По истечении ста лет удалось установить, что это был чукотско-литовский диалект языка гуарани с примесью классического арабского. Одновременно удалось расшифровать текст — несколько теорем по комбинаторике с примерами на сочетания с неограниченным количеством повторений. Эти-то примеры позволили одному гениальному Библиотекарю открыть фундаментальный закон Библиотеки. Этот мыслитель заметил, что все книги, как бы они ни отличались друг от друга, состоят из одних и тех же знаков: пустого промежутка, точки, запятой и двадцати двух букв алфавита. Кроме того, он выдвинул предположение, подтвержденное всеми путешественниками: в бесконечной Библиотеке нет двух тождественных книг. На основе этих двух бесспорных предположений он пришел к выводу, что Библиотека является абсолютно полной — ее стеллажи содержат все возможные комбинации этих двадцати с чем-то орфографических символов (количество таких комбинаций, будучи чудовищно большим, все же не бесконечно) — иными словами, все, что можно выразить на всех возможных языках. Все: подробную, в мельчайших деталях, историю будущего, автобиографии архангелов, достоверный Каталог Библиотеки, многие тысячи недостоверных каталогов, доказательства недостоверности этих каталогов, доказательство недостоверности достоверного Каталога, гностическое евангелие Базилидиса, комментарий к этому евангелию, описание грядущей смерти каждого Библиотекаря, переводы каждой книги на все языки, цитаты из каждой книги во всех других книгах.

Когда было оглашено, что Библиотека содержит все возмож-

---

\* Раньше на каждые три галереи приходился один Библиотекарь. Самоубийства и легочные заболевания уменьшили это число. Невыразимо печальное воспоминание: многие ночи и дни я иду по освещенным коридорам и лестницам, не встречая ни одного Библиотекаря.

ные книги, первым ощущением был какой-то странный восторг. Все почувствовали себя владельцами огромного и загадочного сокровища. Не было более такой личной или мировой проблемы, подробное решение которой не содержалось бы в какой-либо книге — на какой-нибудь из галерей. В те времена особенно много говорили о Реабилитациях — книгах, которые содержат апологии и пророчества, раз навсегда оправдывающие поступки каждого человека во Вселенной и таящие в себе чудесные тайны его будущего. Тысячи жаждущих покинули милые сердцу родные галереи и устремились вверх по нескончаемым лестницам, гонимые суетным желанием найти свою Реабилитацию. Эти паломники хрипло спорили в узких коридорах, выкрикивали темные заклинания, душили друг друга на Божественных лестницах, сбрасывали разочаровавшие их книги в колодцы, находили смерть, сброшенные тем же манером в пропасть жителями тех отдаленных мест. Другие сошли с ума ... Реабилитации существуют (я держал в руках две из них, посвященные каким-то людям из будущего, быть может, даже не вымышленным), — но их искатели забыли, что вероятность найти именно свою Реабилитацию или даже какой-нибудь ее искаженный вариант почти равна нулю.

Тогда надеялись также, что со дня на день будут объяснены фундаментальные загадки бытия: происхождение Библиотеки и природа времени. Вполне возможно, что эти глубокие тайны могут быть выражены в словах; если для этого недостаточен язык философов, то всеобъемлющая Библиотека наверняка содержит такой язык, который для этого необходим, вместе с его словарем и грамматикой. Вот уже четыре столетия люди роются в галереях... Существуют официальные исследователи: Инквизиторы. Я видел их при исполнении обязанностей: они всегда возвращаются из своих экспедиций смертельно угнетенные; рассказывают о каких-то лестницах без перил, где едва не погибли; говорят с Библиотекарем об отдаленных коридорах и галереях; временами берут с полки ближайшую книгу и листают ее в поисках какого-то ничтожного слова. Видно, что они уже потеряли надежду что-нибудь найти.

Как всегда, неумеренные надежды породили столь же непомерные разочарования. Мысль о том, что какая-то полка скрывает драгоценные книги и что эти драгоценные книги недостижимы, казалась почти невыносимой. Некая еретическая секта

предложила прекратить поиски и начать самим комбинировать буквы и символы — до тех пор, пока не удастся благодаря невероятной удаче создать эти канонические книги. Власти вынуждены были принять суровые меры. Секта перестала существовать, но еще в детстве я видел стариков, которые проводили долгие часы в туалетах, встряхивая металлические кружочки в запрещенных к употреблению чашечках и пытаясь тем самым имитировать Божественный хаос.

Другие, напротив, считали, что главная задача состоит в уничтожении бессмысленных книг. Они врывались в галереи, предъявляли полномочия — даже не всегда поддельные, с отвращением перелистывали какой-нибудь наудачу взятый том и изрекали приговоры целым стеллажам; это стерильное, аскетическое безумие привело к бессмысленной гибели миллионов книг. Имена этих варваров преданы проклятию; но те, кто оплакивает “сокровища”, погибшие в ходе этого массового помешательства, забывают два общеизвестных факта. Во-первых, Библиотека столь огромна, что любое ее уменьшение, на которое способен человек, несущественно и ничтожно. Во-вторых, хотя каждая книга единственна и незаменима, но (в силу полноты Библиотеки) всегда найдутся сотни тысяч несовершенных копий каждой книги — копий, отличающихся от оригинала всего лишь какой-нибудь буквой или запятой. Вопреки всеобщему мнению, я осмеливаюсь утверждать, что последствия Пуританских Погромов были преувеличены благодаря ужасу, который внушали эти фанатики. Ими руководило маниакальное стремление отыскать книги пресловутой Атласной Галереи — чуть меньше стандартного формата, всемогущие, иллюстрированные, обладающие магической силой.

Мы знаем и о другом суеверии тех времен — легенде о Человеке Книги. На какой-то полке какой-то из галерей (рассуждали многие) должна находиться книга, которая является полной энциклопедией и сжатым изложением всех остальных; некий Библиотекарь прочел ее и стал подобен Богу. В языке тех отдаленных мест до сих пор сохранились следы этого древнего библиотечного культа. Многие отправлялись в путь, чтобы отыскать Человека Книги. Добрую сотню лет они бесплодно рыскали в самых запутанных закоулках Вселенной. Возможно ли найти тот величественный и таинственный Шестиугольник, где пребывает Он?.. В этих поисках и я провел и растратил свои лучшие

годы. Мне не кажется столь уж невероятным предположение, что на какой-то из полок Вселенной действительно находится Главная книга; я молю неведомых богов, чтобы какой-нибудь человек, один-единственный, пусть это даже совершилось бы тысячи лет назад, увидел и прочел Ее. Если эта честь, и мудрость, и счастье не предназначены мне, пусть они выпадут на долю других. Пусть будет на свете Рай, даже если мое место в Аду. Пусть я буду унижен и уничтожен, но пусть когда-нибудь, для кого-нибудь, на одно мгновение объявит свой смысл Твоя Библиотека!

Безбожники утверждают, будто бессмыслица — основное свойство Библиотеки, и что смысл (или даже привычная и убогая осмысленность) представляет в ней невероятное исключение. Они говорят (я сам это слышал) о “безумной Библиотеке”, бессмысленным томам которой постоянно грозит превратиться в другие столь же бессмысленные тома, все подтверждая, всему противореча и во всем запутывая, точно некий обезумевший Бог. Утверждения эти, которые не только клеймят хаотичность, но одновременно являются ее образчиком, представляют собой очевидное проявление дурного вкуса и впавшего в отчаяние невежества. В действительности Библиотека содержит в себе все возможные комбинации, которые мыслимо составить из двадцати пяти символов, но в ней нет ни одной абсолютно бессмысленной комбинации. Стоит ли упоминать, что лучшая книга во всех галереях, находящихся под моим наблюдением, называется “Причесанный гром”, а другая — “Гипсовая судорога”, а еще одна — “Аксаксаксас мле”? Выражения эти, на первый взгляд — бессмысленные, несомненно, могут быть расшифрованы; поскольку расшифровка эта выражается в словах, она уже имеется где-то в Библиотеке. Невозможно придумать такую комбинацию символов — например: *дхсмрисхтди* — которую Божественная Библиотека уже не придумала бы раньше и которая на одном из ее загадочных языков не имела бы какого-нибудь страшного смысла. Невозможно произнести такой звук, окрашенный надеждой и страхом, который не означал бы — на одном из этих языков — могущественного имени какого-нибудь бога. Говорить — означает повторять кого-то. Так и мое многословное и ненужное послание уже содержится в каком-нибудь из тридцати пяти томов на какой-нибудь из пяти полок какого-то стеллажа какой-то из неисчислимого множества галерей, — равно как и опровержение

этого послания. (Может существовать N разных языков с одними и теми же словами; в одном из этих языков слово "Библиотека" имеет правильное толкование: "Всеобъемлющая и вечная система шестиугольных галерей"; в других это также "хлеб", или "пирамида", или любая иная вещь. Ты, читающий это послание, — уверен ли ты, что понимаешь мой язык?!)

Методический труд составления письма отвлекает меня от горестных размышлений над нынешним положением человечества. Уверенность в том, что **все** уже написано, лишает наше существование смысла или делает его призрачным. Я знаю места, где молодые Библиотекари падают на колени перед книгами и, точно язычники, целуют их страницы, но не знают, как прочесть хотя бы одну букву. Эпидемии, еретические распри, паломничества, которые с какой-то жестокой неизбежностью вырождаются в грабежи и убийства, опустошают наши ряды. По-моему, я уже вспоминал о самоубийствах, с каждым годом все более массовых. Быть может, меня обманывают старость и страх, но мне кажется, что род человеческий, эта уникальная разновидность, находится на грани исчезновения; но Библиотека будет пребывать вечно: пустынная, освещенная, бесконечная, абсолютно застывшая, заполненная драгоценными книгами, бесполезная, нетленная, загадочная.

Я только что написал — "бесконечная". Эпитет этот продиктован не привычкой к риторике; я утверждаю, что не будет алогичным предположить, что Вселенная бесконечна. Те, кто считает ее ограниченной, утверждают тем самым, что где-то вдали эти коридоры, и лестницы, и шестиугольные галереи могут каким-то непонятным образом кончиться, — что совершенно абсурдно. Те, кто воображает, что Вселенная безгранична, забывают о том, что количество возможных книг конечно. Я осмелюсь предложить следующее решение этого древнего противоречия: Библиотека безгранична и периодична. Если бы какой-нибудь воображаемый и бессмертный Путешественник двигался по ней в одном направлении, то по истечении многих веков он стал бы замечать, что те же самые книги начинают повторяться в том же самом беспорядке (который, в силу такого повторения, становится уже своеобразным порядком: Законом). Эта изящная надежда скрашивает мое угрюмое одиночество.

## ТРИ ВЕРСИИ ИУДЫ

*Унижение казалось ему чем-то надежным.*

*Т. Е. Лоуренс*

В Малой Азии или в Александрии второго века нашей эры, когда Базилидис учил, что космос есть безрассудная или злонамеренная импровизация незадачливых ангелов, Нильс Рунеберг был бы, вероятно, ревностным руководителем какого-нибудь тайного гностического братства. Данте отвел бы ему, наверно, место в пылающем гробу; его имя, наряду с именами Сатурнина и Карпократа, возглавляло бы один из списков еретиков второго разряда; какой-нибудь фрагмент его книги, испещренный проклятиями на полях, сохранился бы, может быть, в апокрифическом *"Liber adversus omnes haereses"*\* или погиб в тот день, когда пожар монастырской библиотеки уничтожил последний экземпляр *"Syntagma"*\*\*.

В действительности, однако, Бог судил ему родиться в XIX веке и в университетском городе Лунд. Здесь, в 1904 году он опубликовал первое издание своего *"Христа и Иуды"*, а в 1909-м — свою главную книгу: *"Сокровенное оправдание"*.

Прежде чем приступить к пересказу его идей, надлежит подчеркнуть, что Нильс Рунеберг, член Национального Евангелического Союза, был человеком глубоко религиозным. Его идеи вполне могли бы прийти в голову и какому-нибудь литератору в одном из кафе Парижа или даже Буэнос-Айреса; но, высказанные в подобной обстановке, они показались бы не более чем упражнениями в бесплодной болтовне или фривольном богохульстве. Для Рунеберга они явились ключом к одной из величайших загадок теологии; стали предметом размышлений и анализа, узлом исторических и философских противоречий, источником гордости, восторга и ужаса. Они составили оправдание и трагедию всей его жизни. Я хотел бы также подчеркнуть, что излагаю здесь лишь заключительные выводы Рунеберга, опуская всю систему

---

\* Трактаты о еретиках и еретических сочинениях. (Прим. перев.)

\*\* Имеется в виду христианский догмат о воплощении Слова-Бога (*"В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог"*) в человеческий телесный облик Иисуса Христа для искупления т. н. *"первородного греха"*. (Прим. перев.)

его доказательств. Могут заметить, что эти выводы очевиднейшим образом предшествовали "доказательствам". Что ж, укажите мне людей, которые ищут доказательств не тому, во что верят заранее и что имеет для них значение и смысл.

Первое издание "Христа и Иуды" начинается с категорического заявления, содержание которого Рунебергу предстояло впоследствии распространить до столь чудовищных масштабов: "Не один, а все атрибуты, которые по традиции приписываются Иуде Искарриоту, — лживы" (Де Квинси, 1857). Де Квинси, вслед за каким-то немцем, предположил, что Иуда выдал Христа, чтобы вынудить последнего открыть свою божественную природу и вызвать тем всеобщее восстание против римлян; Рунеберг предложил объяснение метафизического плана. Он весьма остроумно начинает свою книгу с указания полной бессмысленности поступка Иуды. Он замечает, что для опознания Учителя, который ежедневно проповедовал в синагоге и творил чудеса на глазах тысяч людей, не было надобности в предательстве одного из апостолов. Тем не менее предательство совершилось. Немыслимо предположить, что евангелия сообщают неточные сведения; столь же немыслимо допустить, что самое многозначительное событие мировой истории имело в себе хоть один случайный элемент. Следовательно, предательство Иуды не было случайностью; оно было заранее предопределено и учтено в общем балансе Искупления. Воплотившись в "тело", продолжает Рунеберг, Слово перешло из бесконечной вездесущести в конечное пространство, из мира блаженной вечности в мир бренности и смерти; чтобы достойно ответить на такую жертву, необходимо было, чтобы какой-нибудь из людей, от имени всего человечества, принес равноценную жертву. Этим человеком был Иуда. Он, единственный из апостолов, догадывался о скрытой божественной природе и страшном намерении Иисуса. Коль скоро Слово могло унижить себя до смертности, тогда и Иуда, ученик Слова, мог унизиться до предательства (этого тягчайшего из бесчестий) и обречь себя на вечное пламя Ада. Ведь дольний мир есть зеркальное отражение мира горнего; земные формы соответствуют формам небесным; расположение родимых пятен на нечистой коже повторяет карту целомудренных созвездий; Иуда является в определенном смысле зеркальным повторением Христа. Отсюда тридцать сребреников — и поцелуй; отсюда самоубийство, рассчитанное на то, чтобы пре-

зрение было еще более заслуженным. В этом и состояла, по Нильсу Рунебергу, загадка Иуды.

Богословы всех исповеданий осудили его книгу. Ларс Питер Энгстрем обвинил автора в пренебрежении или забвении ипостатического единства\*; Аксель Борелиус — в попытке возродить ересь гностиков, отрицавших человеческую природу Христа; бескомпромиссный епископ Лунда — в противоречии с третьим стихом 23-й главы евангелия от Луки.

Всевозможные эти анафемы оказали воздействие на Рунеберга, который в результате частично переработал отвергнутую книгу и видоизменил ее основную идею. Он уступил своим оппонентам теологические траншеи и двинул против них обходные колонны моральных доводов. Он признал, что Иисус, "располагавший теми огромными возможностями, которые предоставляет Всемогущество", не нуждался в помощи человека для Искупления человечества. Зато он обрушился на тех, кто заявлял, будто нам ничего не известно о загадочном предателе; мы знаем, утверждал он, что это был один из апостолов, один из тех, кто был избран, чтобы провозгласить приближение царствия небесного, исцелять больных, обмывать прокаженных, воскрешать умерших и изгонять бесов. Человек, избранный Икупителем, заслуживает, по крайней мере, того, чтобы мы попытались истолковать его поступки самым благожелательным образом. Объяснять его преступление простой жаждой наживы означало бы обвинить его в самой последней низости. Рунеберг предлагает прямо противоположное толкование — непомерное и поистине безграничное самоотречение. Аскет унижает и истязает, во славу Господа, свою плоть; Иуда совершил то же самое со своим духом. Он отрекся от чести, достоинства, блаженства и царствия небесного подобно тому, как иные, менее мужественные, люди отрекаются от земных наслаждений\*\*. Он обдумал свой выбор с ужасающей ясностью. В прелюбодеянии все же есть нечто от самозабвения и чистого чувства; в убийстве — от смелости; в кощунстве и богохульстве — от дьявольски извращенного величия. Иуда выбрал такое преступление, в котором нет ни тени достоинства: злоупотребление доверием и измену. Его выбор был продиктован вели-

---

\* Имеется в виду христианский догмат о единстве трех ипостасей Бога — Отца, Сына и Святого Духа. (Прим. перев.)

\*\* В этом месте Борелиус иронически вопрошает: "А почему же он не отрекся от отречения? И от отречения от отречения?"

чайшим смирением; он считал себя недостойным творить добро. Апостол Павел говорил: "Хвалящийся хвались Господом"; Иуда избрал Ад, ибо с него было достаточно, что Бог наслаждается Раем. Он считал, что счастье, как и доброта, — атрибут Божества, и люди не вправе присваивать их себе.

Впоследствии многие отмечали, что в этих вполне логичных послылках уже неявно содержались все последующие парадоксальные выводы Рунеберга и что его "Сокровенное оправдание" — не более, чем искажение и доведение до абсурда "Христа и Иуды". В конце 1907 года Рунеберг закончил работу над этой рукописью; прошло еще около двух лет, прежде чем он отдал ее в печать. В октябре 1909 года книга вышла в свет, снабженная отчужденным до полной невнятности предисловием датского гебраиста Эрика Эфьорда и коварным эпиграфом из евангелия от Иоанна: "В мире был, и мир чрез Него начал быть, и мир Его не познал". Ход рассуждений Рунеберга прост и непритязателен; его конечный вывод чудовищен. Бог, говорит Рунеберг, унизился до воплощения в человека ради Искупления человечества; надо полагать, что эта Божественная жертва была Божественно совершенна: ее величие не было умалено ни на иоту каким бы то ни было несовершенством. Умалять муки, перенесенные Им во время агонии на кресте в тот пятничный полдень, было бы величайшим кощунством.

Заявляя, что Он стал человеком и в то же время остался неспособен к греху, мы впадаем в противоречие: понятия "непогрешимость" и "человечность" несовместимы. Кемниц, например, признает, что Искупитель мог ощущать усталость, холод, тревогу, голод и жажду; можно, следовательно, допустить, что Он был способен также грешить и заблуждаться. Знаменитый отрывок из Исайи: "Ибо Он возшел перед Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли; нет в Нем ни вида, ни величия; и мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и умален перед людьми, муж скорбей и изведавший болезни" — представляется многим пророческим описанием вида Иисуса на кресте; другим — отрицанием обычно приписываемой Ему красоты; Нильсу Рунебергу эти слова казались буквальным предсказанием будущего, и не одного лишь мгновения Его смерти, а всего того ужасного, простирающегося во времени и в вечности низкого и презренного будущего, на которое навсегда обрекает себя Слово, становясь "телом". Бог

воплотился в человека — до конца, а значит — в человека самого ничтожного, самого последнего и пропащего. Чтобы искупить нас, Ему достаточно было избрать любую из судеб, сплетающихся в сложную ткань истории; он мог воплотиться в Александра Македонского или в Пифагора, в Рюрика или в Иисуса. Он избрал самую отвратительную судьбу: Он воплотился в Иуду.

Книжные лавки Стокгольма и Лунда тщетно рекламировали эту новинку. Скептики отнеслись к ней как к очередному скучному и громоздкому теологическому исследованию; теологи игнорировали ее. Это всеобщее равнодушие казалось Рунебергу почти чудесным доказательством его собственной правоты: сам Бог ниспослал на людей такое равнодушие; Бог не хотел, чтобы его ужасная тайна стала известной всем. Рунеберг понял, что его час пробил. Он почувствовал, как над ним сгущаются древние заклятья; он вспомнил, как пророк Илья и Моисей заслоняли лица, чтобы не узреть Бога; как был потрясен Исайя при виде Того, Чья слава наполняет вселенную; как ослеп Саул по пути в Дамаск; как раввин Шимон бен Азай пал замертво, когда увидел Рай; как прославленный маг Иоанн из Витербо потерял рассудок, увидев Троицу; какой ненавистью полны мидраши к безбожникам, которые вслух произносят Шем А-Мефураш.\* Разве сам он не совершил такое же мрачное преступление? Разве не было это кощунством, которому нет прощения? Валерий Соранус погиб из-за того, что раскрыл тайное имя Рима; какое же бесконечно большее наказание суждено тому, кто открыл и разгласил чудовищное имя Бога?!

Шатаясь от бессонницы и головокружительных вихрей диалектики, Нильс Рунеберг бродил по улицам Мальме, во весь голос умоляя ниспослать ему блаженство: разделить со Спасителем муки Ада.

Он умер от разрыва аорты 1 марта 1912 года. Исследователи ересей, возможно, будут помнить его имя; к понятию Сына, которое казалось уже полностью исчерпанным, он добавил всю сложность беды и зла.

---

\* Шем А-Мефураш — Тайное Имя (имеется в виду кабалистическое поверье о существовании тайного, запрещенного к произношению имени Бога). (Прим. перев.)

## ИЕРУСАЛИМСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

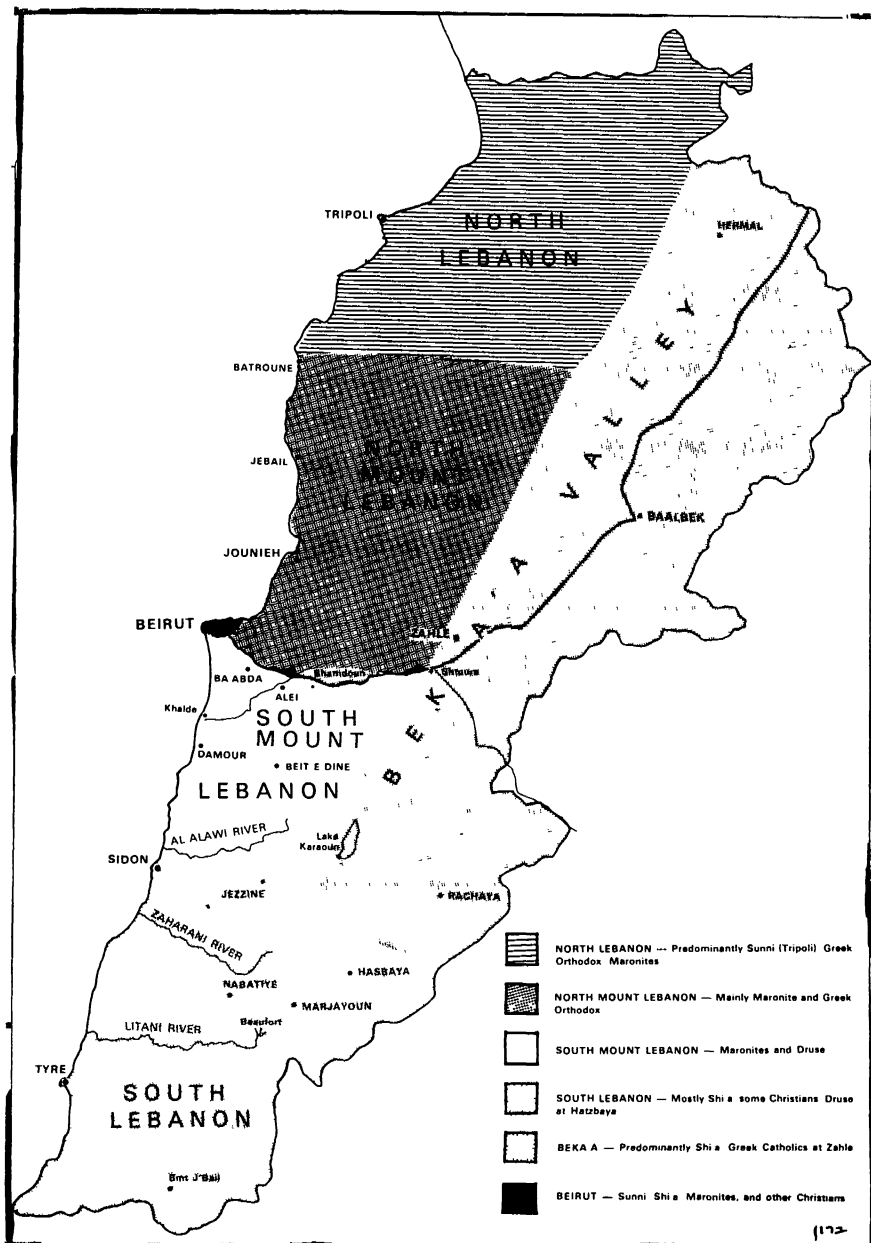
Президентские выборы в Ливане должны состояться в сентябре этого года. Но "предвыборная борьба" уже началась — шестого июня, на полях сражений. Это снова вывело Ливан в фокус всеобщего внимания и немедленно породило очередной всплеск гаданий о возможном исходе ливанской головоломки.

Подобные гадания — дело неблагодарное. В вышедшем в 1973 году томе Британской энциклопедии статья о Ливане завершалась уверенным прогнозом: "Ливанская политическая система доказала свою жизнеспособность и устойчивость." Это было написано за два года до начала гражданской войны и за четыре — до фактического распада Ливана.

Столь резкое расхождение между прогнозом и реальностью невольно заставляет задуматься: что же все-таки "доказала" ливанская политическая система — свою жизнеспособность или нежизнеспособность? Была ли гражданская война случайным эпизодом или трагической закономерностью? Задуматься нужно не только потому, что это позволяет оценить реальные шансы на восстановление ливанского единства. Долгие десятилетия Ливан приводили в пример возможности подлинной демократии и общинного плюрализма — даже в арабском мире. Нынешний итог

*Михаил Вартбург*

**КТО, С КЕМ И ПОЧЕМУ —  
В ЛИВАНЕ?**



“ливанского эксперимента” заново ставит вопрос, возможны или невозможны демократия и плюрализм в государстве, объединяющем разнородные этнические и религиозные группы?

Ответ требует более детального знакомства с особенностями Ливана, чем то, которое дают обычные газетные статьи. Необходимо заглянуть в глубины истории и за кулисы политики.

Ливан не всегда был таким, как на прилагаемой здесь карте. Во времена Османской империи “Ливаном” называлась лишь горная часть страны, населенная преимущественно христианами—маронитами и мусульманами—друзами, а также множеством мелких христианских сект, нашедших здесь убежище от религиозных преследований. Сплоченная, образованная и хозяйственно предприимчивая маронитская община составляла экономическую базу Ливана, отряды друзских воинов защищали его относительную автономию, во главе которой несколько столетий стояли друзские феодальные лорды. Отношения между друзами и маронитами не были, впрочем, идеальными, военно-экономический симбиоз часто нарушался столкновениями, которые в 1840—60 годах вылились в настоящую гражданскую войну, умиротворенную только французским вмешательством. Однако подлинной остроты межобщинные противоречия достигли в XX веке, после первой мировой войны, когда в результате раздела побежденной Османской империи Ливан и соседняя Сирия достались Франции по мандату Лиги Наций. В 1920 году Франция объявила о создании “Республики Большого Ливана”. К горной части страны было прирезано побережье, а также части сирийской территории (район Триполи, долина Бека, некоторые районы нынешнего южного Ливана), населенные мусульманами. Механическое соединение разнородных общин с их противоречивыми традициями и интересами облегчало мандатным властям манипулирование подвластной страной. Но оно же заложило основы всех ливанских трудностей. (Два года спустя подобную операцию проделали британские мандатные власти, отрезав от Палестины “Трансиорданию” и посеяв зерна будущей “палестинской проблемы”).

Создание Большого Ливана резко изменило все демографические соотношения. В горном Ливане к 1920 году проживало 224 тысячи христиан и 45 тысяч мусульман. В Большом Ливане отношение численности христиан к мусульманам сразу стало 6:5. Не менее важным было то, что количество разных общин в Большом Ливане тоже резко увеличилось. Страна стала напоми-

нать этнографический музей. Одно лишь перечисление ее главных "этнических залов" способно вызвать головную боль. Увы, обойтись без такого перечисления невозможно.

По вертикали ливанский "музей" представляется двухэтажным, что соответствует самому грубому его делению — на христиан и мусульман. (Добавим, что верхний — господствующий — этаж занимали христиане). На христианском этаже самый большой зал занимают марониты. В 1933 году они составляли 30% населения. Эта христианская секта была основана в четвертом веке в Сирии монахом Маруном. В седьмом веке она бежала от преследований в горный Ливан, основала здесь свою патриархию и маронитский монашеский орден, до сих пор существующие. Во времена крестоносцев марониты стали католиками. За столетия арабского владычества они полностью арабизировались и стали по существу "арабами христианского вероисповедания". Однако в арабском мире они держатся обособленно: долгие века борьбы за сохранение религиозной автономии сделали их весьма чувствительными к угрозе растворения в мусульманском море; не случайно именно среди маронитов более всего популярен лозунг: "Ливан — для ливанцев".

6% населения в том же 1933 году (последнем, когда в Ливане проводилась перепись) составляли греческие католики. Остальные католические общины: "сирийская", "армянская", "римская" и "халдейская" — давали вместе примерно такой же процент. Хотя все эти общины подчиняются высшему авторитету римского Папы, они заметно отличаются друг от друга языком и формой богослужения, а также особенностями общинной жизни.

Ортодоксы (в России мы бы назвали их "православными") — вторая группа ливанских христиан, отличающаяся от католиков особенностями религиозной догматики. Среди них самая большая община — греческие ортодоксы, которые составляют 8% населения. В отличие от маронитов, они живут вкраплениями по всей стране (как издревле жили вообще в мусульманском мире). Привычка жить среди мусульман сделала их менее обособленными, чем марониты, и даже отчасти склонными к идеям панарабизма. К этой же группе христиан относятся также более мелкие общины армянских и ассирийских ортодоксов.

В целом христиане — католики и ортодоксы — составляли в 1933 году около 55% населения Ливана. Остальное приходилось на долю мусульман.

На мусульманском этаже самый крупный зал занимают сунниты (что-то вроде ортодоксальных евреев, если угодно: они так же следуют Сунне и шариату, как еврей-ортодоксы — Мишне и Галахе). Их было около 20%. Несколько иную разновидность ислама исповедуют шииты (некогда они разошлись с суннитами по вопросу о том, кто является истинным наследником Магомета, но с тех пор на этот первичный конфликт напластовались религиозные различия). Шииты в мусульманском мире — меньшинство, они концентрируются в Иране, Ираке, Бахрейне. В Ливане они в 1933 году составляли 18% всего населения. Последняя по численности — 6% — (но не по важности) мусульманская община — друзы. Эта секта сложилась некогда вокруг проповедника аль-Дарази (давшего ей нынешнее ее имя); в учении аль-Дарази ислам каким-то образом сочетается с элементами язычества, но каким именно — не знает никто, так как религия друзов “за-секречена” и полностью известна только их “посвященным” лидерам. Для полноты картины добавим, что полумусульманами — полуязычниками являются в Ливане также алавиты, главная часть которых однако живет в Сирии (президент Асад, как известно, — выходец из этой секты, и было бы чрезвычайно интересно узнать, как он совмещает алавитский обычай поклонения Солнцу с принадлежностью к арабской социалистической партии Баас!).

Географическое распределение различных ливанских общин можно понять из рассмотрения карты. Наиболее компактно живут в Ливане марониты, шииты и друзы, наиболее рассеянны (сосредотачиваясь однако по преимуществу в городах) — сунниты и греческие ортодоксы. Это кое-что говорит о характере различных общин. Впрочем, следует иметь в виду, что компактность не означает полной этнической “чистоты”: во многих местах деревни и городки, населенные представителями различных общин, соседствуют друг с другом.

Та общинная смесь, которую представлял собой Большой Ливан, требовала, понятно, какой-то государственной упорядоченности, какой-то формулы сосуществования различных общин. Такая формула, под названием “Национального Пакта”, была выработана в 1943 году, в разгар борьбы за освобождение Ливана от французов, в преддверии ливанской независимости. Лидеры общин договорились, каким будет их независимое государство. Чтобы обеспечить его устойчивость, они согласились на компромисс. Мусульмане обязались не тянуть Ливан в “арабскую сторо-

ну", христиане — в "западную". Решено было, что те и другие будут уважать двурелигиозную особенность страны. Власть была разделена пропорционально численности общин: президент всегда маронит, премьер — суннит, председатель парламента — шиит и так далее, до конца административной лестницы. Ливан провозгласил себя либеральной парламентарной демократией и отказался от провозглашения какой-либо государственной религии (при наличии сразу двух это было просто невозможно). Вместо единой государственной религии провозглашались равноправие и автономия всех религиозных общин, каждая из которых могла сохранять свою организацию, структуру подчинения традиционным лидерам, свой образ жизни и культурные особенности. Прекрасный этот документ, "Национальный Пакт", заложил основы ливанской политической формулы: демократия плюс плюрализм (перенеся их готовыми, с Запада, на восточное, арабское феодальное общество, лишенное исторических традиций демократии и плюрализма). Одновременно он заложил основы ливанского "политического уравнения", жестко обозначившего, кому какая доля этой демократии и плюрализма достанется. Как оказалось впоследствии, в попытке совместить декларативную формулу с жестким уравнением таилось противоречие. Это лишний раз показывает, сколь малого стоят подчас придуманные в кабинетах декларации и конституции.

Национальный Пакт закреплял политическую систему Ливана как механического объединения разнородных общин. Община, а не индивидуум стала основной единицей ливанской демократии. Лояльность ливанца принадлежала, таким образом, не государству, а общине, секте, клану. Что это означало?

Ливанские общины разнообразны не только по религии, но и по типу организации. Община маронитов, например, организована по жесткой пирамидальной системе, в вершине которой — патриарх, а в основании — деревенские священники. Многовековая борьба за политическую и экономическую самостоятельность (которой они в значительной степени добились) сделала общину необычайно сплоченной, и символом этой сплоченности является маронитский монашеский орден. Напротив, у греческих ортодоксов нет такой сплоченности, поскольку они всегда жили рассеянно; в их общине нет такого сильного религиозного авторитета, и самостоятельности они не добились, что выработало у них такти-

ку приспособления к окружающему мусульманскому большинству.

Сунниты в Османской империи принадлежали к религиозному большинству; им доверялось управление меньшинствами. Отсюда их концентрация в центрах управления — городах — или в плодородных сельских районах севера, где они были феодальными лордами; отсюда же их концентрация в торговле и ремеслах. Религиозные авторитеты играют в их общине меньшую роль, чем политические. Шииты же никогда не входили в имперский аппарат власти, поэтому они организовались вокруг немногих традиционных владетельных родов. В отличие от образованных суннитов, они не успели выработать и "общинного сознания". Еще сложнее обстояло дело с друзами, которые отрицали и османскую власть и мусульманский закон (шариат). В их общине авторитет принадлежал "праведным людям" ("а-джавид") и вождям двух древних феодальных кланов, сейчас известных как Джумбалаты и Арсланы. "Праведники" являли собой тот образец морального и социального поведения, который обязывал всех друзей, независимо от их клановой принадлежности, и обеспечивал общине высокую сплоченность.

Однако при всей разнородности общин в их организации были общие моменты. В каждой общине ведущую роль играли (и играют по сей день) традиционные лидеры — главы крупнейших кланов и родов (по-арабски "заимы"), являвшиеся по существу феодальными лордами. Замаскированными феодалами они являются и сегодня. У каждого такого лорда есть обширная клиентура (рядовые члены его клана), которая обеспечивает ему политическую, а в случае необходимости — и военную силу. В свою очередь "заим" гарантирует своей клиентуре защиту и отстаивание ее интересов в джунглях ливанской политики — в парламенте, в бюрократических учреждениях, в армии и просто в быту. Ливанский социолог Иссави назвал эту прямоком перенесенную из феодализма в современность систему "правлением людей, а не законов". А ее практическое воплощение отлично ухвачено в таком ливанском анекдоте. Полиция арестовала трех вооруженных бандитов. Час спустя в тюрьму позвонил министр внутренних дел и попросил освободить его клиента. Еще через несколько минут позвонил министр юстиции, и его клиент тоже был выпущен на свободу. Третьего арестованного освободил сам

судья, воскликнув: "Должна же быть в конце концов справедливость!"

Ливанская феодальная демократия напоминает "демократию" польского сейма XVII—XVIII веков с его ясновельможными магнатами. Она и поддерживается с помощью весьма специфического избирательного закона. Каждый ливанец обязан голосовать в той деревне, где он родился, — даже если он всю жизнь живет, скажем, в Бейруте. Клан и община не выпускают его из-под своего контроля. Списки кандидатов составляются также с учетом соотношения общин в данном районе. Хотя списков на каждом участке несколько, отличаются они лишь именами кандидатов, но не их распределением по общинам: в каждом таком списке обязательно будет, например, два маронита, один греческий ортодокс и один суннит, и голосовать нужно за список в целом. "Заимы" различных общин входят в сговор и принимают меры, чтобы их клиенты были во-время подкуплены или запуганы: не случайно места в парламенте стоят дорого (в Бейруте накануне гражданской войны — 50 тысяч долларов), и выборы проводятся в разных районах в разные дни, — чтобы небольшая ливанская армия могла поспеть с места на место для предотвращения насилия.

В итоге в местные муниципалитеты Ливана проходят местные "заимы", а в парламент — феодальные лорды общеливанского масштаба. Находясь в парламенте, они получают возможность не только защищать интересы своей общины, но и всю эту выгодную для них политическую систему в целом. В ливанском парламенте из десятилетия в десятилетие восседают представители одних и тех же родов: южношиитские аль-Асады и северошиитские Хамады, друзские Джумбалаты и Арсланы, суннитские Караме, Саламы, Сольхи, маронитские Джемайели, Шамуны, Эдде, Франжье. Остальные депутаты составляют в основном "свиту" того или иного лорда, которая для приличия называется "политической партией" (например, "национально-либеральной" у Шамуна или "прогрессивно-социалистической" у Джумбалата), в каждой такой "партии" 4—5 депутатов; за ними подразумевается масса их "поданных" в деревне или в городе — та клиентура, которую "партия" обслуживает в обмен за ее преданность и лояльность. Власть лордов на местах передается по наследству (как и положено в феодальном обществе); в состав наследства входит и "партия": Башир Джемайель получил от отца Пьера Джемай-

еля партию "Катаиб" ("Фаланги") вместе с ее вооруженной милицией, Валид Джумбалат унаследовал после своего отца Камаля власть над друзьями и "прогрессивно-социалистическую" партию. Эти партии — в сущности политические организации отдельных общин, как сама община — социальная организация, организационный инструмент для достижения **своих** интересов. И поскольку государство — это федерация организованных по феодальному принципу общин, которые через своих владык заправляют в парламенте, то все государственные должности, привилегии, доходы от экономического развития, планы развития, короче — все жизненные и национальные блага распределяются не "по людям", а по общинам, в соответствии с их влиянием и силой. Парламент и правительство (которые обычно составляется из тех же Шамунов, Джумбалатов, Арсланов, аль-Асадов и Джемайелей) — не более, чем поле столкновения противоречивых феодально-общинных интересов. Чтобы отстоять их, нужно быть сильнее всех остальных общин, то есть фактически — государства. Поэтому ливанские лорды и бароны заинтересованы в том, чтобы не допустить усиления государственной власти и появления "горизонтальных" партий (которые пересекали бы границы общинного деления). Как заметил ливанский журналист Тувейни, в Ливане "правительство не существует, а то, что существует, не имеет власти, а то, что имеет власть, — это не правительство".

Издержки этой политической системы, которая мертвой хваткой держала Ливан с 1943 по 1975 год, совершенно очевидны. Многие ливанцы тоже их сознают. Известен анекдот, высмеивающий нелепость, до которого может довести слепое следование "общинному принципу". Во время войны против Израиля в 1948 году какое-то ливанское отделение упорно отказывалось идти в атаку. Когда у командира наконец потребовали разъяснений, он доложил: "У нас тут убили одного бойца, так что мы теперь ждем, пока убьют еще трех маронитов, двух суннитов, двух шиитов, двух греческих ортодоксов и одного друга, — а уж тогда мы ринемся в бой!"

Главным противоречием этой системы была ее замороженность, негибкость. Национальный Пакт надел на страну стальной корсет неизменного уравнивания дележа власти. Помните, Гюго в "Человеке, который смеется" рассказывает, как на Востоке выращивали уродов? Их младенцами сажали в глиняные корсеты предназначенной формы. Ливан был жизнерадостной, веселой

страной, но иногда его улыбка жутко напоминала улыбку Гуинплена.

За 30 послевоенных лет соотношение городского и сельского населения страны буквально перевернулось: на селе вместо прежних 60% населения осталось 17%. Но в парламенте соотношение сельских и городских участков осталось прежним. За те же 30 лет марониты и сунниты уступили свое численное превосходство в стране шиитам. Но в правительстве, парламенте и аппарате по-прежнему доминировали марониты и сунниты. За это время мусульманское население страны сравнялось с христианским. Но "политическое уравнение" 6:5 осталось неизменным.

Но с годами менялось не только демографическое соотношение общин. Не менее глубокие изменения происходили и в самих общинах.

Межобщинные связи в Ливане были и остались крайне слабыми. Разумеется, объединение многих культурных традиций, даже и формальное, обогатило ливанскую культуру, архитектуру, искусство — в том числе и кулинарное, о чем, глотая слюнки, с восторгом повествовали, возвращаясь из путешествий, западные туристы. Точно так же демократия, пусть тоже формальная, породила свободный политический климат, сделала Бейрут международным культурным и политическим центром, где зародились все главные идеологические веяния современного Ближнего Востока. И либерализм, эта ливанская установка на свободное предпринимательство, обеспечила Ливану быстрое экономическое развитие, особенно после войны.

Однако при сохранении межобщинных перегородок, упрочненных особенностями политической системы, подлинного плюрализма в Ливане не было. Он оставался не сплавом, а мозаикой общин, которые под воздействием происходящих изменений не сближались, а все больше расходились в разные стороны.

Экономический расцвет Ливана в конце сороковых годов затронул прежде всего крупнейшие ливанские города и вызвал приток в них эмигрантов из сельских местностей. Этот первый поток состоял в основном из маронитов, суннитов, греческих католиков — людей более образованных и предприимчивых, сумевших воспользоваться благами процветания. И так как блага эти распределялись "по общинам", то процветание обогатило прежде всего именно эти общины, еще более упрочив их доминирующее положение в стране. Одновременно с соци-

альными, происходили и идеологические изменения. Сороковые—пятидесятые годы были временем господства в обществе идей национальной независимости; одновременно в городскую среду начали проникать идеи панарабизма и социализма. Новые идеи еще более упрочили националистические настроения среди маронитов; панарабская идеология увлекла многих новых горожан-суннитов; какая-то часть христиан и мусульман была увлечена идеями социализма и коммунизма. Тогда-то начали складываться первые ливанские партии: Антуан Саада создал так называемую “Сирийскую” партию, требовавшую объединения Ливана с Сирией; Мишель Афлак, христианин, создал партию Арабского социалистического возрождения Баас; в противовес им Пьер Джемайель основал маронитскую националистическую партию Фаланг.

В шестидесятые—семидесятые годы в города хлынули массы шиитов. Они опоздали к дележу пирога. В воздухе носились новые идеи — социального передела, социальных реформ, социальной справедливости. В сущности, это обездоленные общины требовали для себя участия в экономическом процветании. Понятно, что они стали главной опорой новых — “прогрессивных”, “социалистических” и прочих “левых” партий. Социальные требования постепенно стали приобретать политическую окраску, перерастая в призыв к изменению всей политической структуры в сторону большей роли мусульманских общин (как в силу их возросшей численности, так и в силу их социальной обделенности). Этот социально-политический протест был направлен прежде всего против господствующих общин. При наличии нормальных демократических возможностей: **свободного** объединения **индивидуумов** в партии и группы и парламентской борьбы этих групп — он мог бы найти разрешение в обычных для западной демократии формах. В условиях Ливана, где действующими лицами политического процесса были не партии и индивидуумы, а общины и кланы, конфликт неизбежно должен был принять форму межобщинной, то есть гражданской, войны.

Один внешний фактор сыграл важнейшую роль в назревании, развязывании и протекании этой войны. Этим фактором были палестинцы. 220 тысяч палестинских беженцев в Ливане оказались после 1967 года базой и резервуаром для отрядов ООП. Действия ООП с территории Ливана и ответные действия израильских войск вызвали массовое бегство шиитов южного Ливана

на север. Шииты принесли с собой недовольство центральной (маронитской) властью, не сумевшей их защитить (а еще до того — не сумевшей обеспечить экономическое развитие их района), и центральная власть обеспокоилась. Она попыталась обуздать палестинцев. Те обратились к арабским государствам, и конфликт был “исчерпан” Каирским соглашением 1969 года, по которому палестинцев, правда, обязывали, оставаться в своих лагерях, но при этом им позволена была мобилизация и подготовка бойцов для действий против Израиля. После изгнания Организации Освобождения Палестины из Иордании и войны Судного дня, обострившей отношения ООП с Сирией (которая пыталась поставить ее под свой полный контроль), Ливан остался единственной базой ООП. Чем более резкие формы принимала борьба ООП и Израиля, навлекаявшая бедствия на Ливан, тем острее становилось недовольство правящей ливанской общины маронитов присутствием палестинцев в Ливане. Недовольство имело не только прямые политические, но и более общие причины. Присутствие палестинцев изменяло соотношение сил в Ливане в сторону мусульман. Радикальный характер ООП делал ее естественным союзником всех левых мусульманских групп и партий, число которых, по мере обострения внутриливанского конфликта, быстро росло. Левые партии, немногочисленные и плохо вооруженные, видели в ООП не только идеологического союзника, но и решающую военную силу. В свою очередь, ООП нуждалась в союзе с мусульманами, который мог легитимизировать ее присутствие и действия в Ливане и защитить от “посягательств” центрального правительства. Центральная власть не прекращала попыток обуздать палестинцев. В 1973 году дело дошло до вооруженного столкновения ливанской армии с отрядами ООП. Левые мусульманские группы и партии, объединившиеся под руководством Камала Джумбалата в так называемое “Национальное движение”, решительно выступили в защиту ООП; наметился блок левых мусульман с палестинцами, что подтолкнуло “правых” христиан, в свою очередь, начать ускоренно вооружаться против усилившегося противника. С этого момента в бейрутских кафе, как вспоминает профессор Американского университета Гордон, о столкновении говорили как о чем-то неизбежном. В контролируемые христианами порты стали приходить корабли с оружием (помощь единоверцам оказывали ливанские христиане—эмигранты на Западе); левые

мусульмане вооружались с помощью запасов ООП. Ни одна сторона не могла уступить: христиане не могли согласиться на оставление ООП в Ливане, ибо это угрожало не только безопасности страны, но и их собственным господствующим в ней позициям; мусульмане не могли согласиться с изгнанием ООП, ибо это не только противоречило их убежденной поддержке "палестинской революции", но и лишало шансов на изменение ливанской политической системы в свою пользу. А поскольку в действительности речь шла именно об изменении системы, то на сторону левых мусульман склонялись и другие мусульманские группы, недовольные гегемонией маронитов. Так граница конфликта пролегла уже не между "левыми" и "правыми", а между мусульманами и христианами, и конфликт перерос первоначальные социально-политические рамки: вопрос уже стоял не только об изменении ливанской системы, но и об изменении всей ориентации страны — оставаться ей суверенным, независимым государством, тем "уникальным мостом" между Западом и Востоком, каким ее видели христиане, или сблизиться с арабами, мусульманским миром и интегрироваться в нем.

Формально считается, что гражданская война в Ливане началась 13 апреля 1975 года, когда неизвестными лицами были застрелены телохранители лидера маронитов Джемайеля и — несколько часов спустя — расстрелян автобус с палестинцами. Описывать ход войны не входит в нашу задачу. Одни специалисты насчитывают в ней четыре этапа, другие пять, границы этих этапов условны и разными авторами проводятся по-разному, но одну жуткую классификацию все же можно произвести. Сначала война еще сохраняла какое-то подобие социально-политического конфликта между обездоленными и привилегированными, между "левыми" и "правыми" силами, силами сторонников существующего режима и оппозиции к нему. Затем социальные границы конфликта стерлись: крестьяне—сунниты стали убивать крестьян—маронитов, горожане—шииты стали уничтожать горожан—ортодоксов, и война стала чисто межобщинной, вынудив массы людей покидать насиженные места и перебираться под защиту "своих" общин и их вооруженных сил (это немало способствовало произошедшему позднее распаду страны). И наконец наступил момент, когда все причины войны потерялись в кровавом тумане, и люди стали убивать друг друга "просто так", потому что "чужие". На улицах и дорогах валялись обгорелые останки христиан, заживо сожжен-

ных на деревянных крестах, и изуродованные трупы мусульман с торчащими изо рта отрезанными половыми органами.

На первой стадии войны ООП держалась в стороне, и христиане достигли значительного успеха. Затем ООП активно включилась в конфликт на стороне левых мусульман, и этот блок стал теснить христиан. Вскоре на сцене выявились два главных противника: ООП и Фаланги. Тогда в борьбу вмешалась Сирия. Ее войска оккупировали Ливан, подавили сначала левых и палестинцев, затем христиан и формально положили конец гражданской войне. В действительности она не закончилась, а лишь затихла и видоизменилась: никто ведь никого так и не победил и никто ни с кем не примирился. Политическая структура не была изменена — она просто потеряла остатки своего реального значения, ибо произошло неизбежное в этих условиях: единый Ливан распался на автономные общинные государства, существование которых гарантировалось присутствием сирийских войск. Христианам достался восточный Бейрут и северный горный Ливан — 15% территории страны; левым мусульманам и палестинцам — западный Бейрут и южный Ливан — около 35% территории; сунниты контролировали часть западного Бейрута и северный Ливан вокруг Триполи; сирийцы фактически отторгли от Ливана всю долину Бека, объявив ее своей зоной безопасности и введя там свои налоги и денежную систему. Свою налоговую систему, вооруженные силы, почту и так далее создали и христиане; но аналогичная попытка левых мусульман не удалась, поскольку их “Национальное движение” состояло из разношерстных партий и группировок, вскоре начавших бороться не только с христианами, но и друг с другом. Это не удивительно, если учесть, что в “Национальное движение” входит 13 групп, к которым примыкает еще 23, не участвующих в нем формально, и объединены они только отрицанием прежней ливанской политической системы, а не общей позитивной программой. Как раз напротив — общей программы у них быть не может, поскольку среди них есть группы проиракские и просирийские, просоветские и прокитайские, прохомейнистские и антихомейнистские. “Теперь, — говорит ливанский историк Саламе, — когда распад Ливана стал совершившимся фактом, гражданский конфликт продолжается внутри каждой общины: борьба идет за то, кто будет главенствовать среди христиан и кто — среди мусульман”.

У христиан эта борьба завершилась летом 1980 года, когда

фалангисты Башира Джемалея перебили многих сторонников Камила Шамуна и установили неоспоримую гегемонию над христианским районом. У мусульман борьба еще не окончена. Пока среди них доминируют сунниты и друзы, но их гегемонии уже начинает угрожать новая шиитская организация "Амаль" во главе с Наби Берри.

Нельзя сказать, чтобы война совершенно не изменила позиции сторон. Фалангисты, не отказываясь от требования вывода из Ливана палестинских и сирийских войск, одновременно выразили готовность на определенные уступки ради национального примирения. Они готовы обсуждать вопрос о приемлемых формах проживания палестинских беженцев в стране. Они хотели бы установить нормальные отношения между Ливаном и Сирией (которая с 1920 года не признает независимость Ливана). Они готовы отказаться от связей с Израилем (установленных Шамуном в критический для христиан момент войны). Более того, они говорят даже о необходимости большего сближения Ливана с арабскими странами, понимая, что без всех этих уступок им не добиться компромисса с мусульманами. Но все это — при одном условии: гегемония в Ливане должна остаться в их руках.

Шииты, вначале активно участвовавшие в гражданской войне на стороне левых мусульман и палестинцев, постепенно разошлись со своими союзниками. Этому способствовали как бедствия, навлеченные на шиитские районы страны палестинскими действиями против Израиля, так, в особенности, хомейнистская шиитская революция. Шииты никогда не были пылкими сторонниками панарабизма, провозглашающего интеграцию Ливана в арабском мире, ибо это немедленно превратило бы их из самой крупной общины в Ливане в меньшинство в мусульманском мире. Образец Ирана вселил в них новую надежду — на гегемонию в Ливане или (на первых порах) хотя бы приобретение существенной доли власти.

Сунниты — во всяком случае, та их часть, которая идет за своими традиционными лидерами, — готовы были бы, видимо, на компромисс с христианами при условии, что власть будет разделена поровну и Ливан сблизится с арабским миром, прежде всего — суннитским. Как и марониты, они согласны с необходимостью проведения определенных социальных реформ.

"Левые" однако добиваются не просто социальных реформ, а социальных **преобразований**; отстранения маронитов от власти;

оставления ООП в стране и продолжения борьбы с Израилем; объединения Ливана с радикальными арабскими странами. Эти группы, борющиеся против прежней социально-политической системы под руководством "идеологических", а не "общинных" партий, называют свою борьбу "революцией". Христиане, защищающие режим и свою гегемонию в нем, называют ту же борьбу "войной", подчеркивая, что конфликт имеет ливано—палестинский, а не ливано—ливанский характер. Палестинцы предпочитают называть ее "гражданской войной", чтобы показать, что они только втянуты в конфликт, который на самом деле происходит между самими ливанцами. Как бы ни называть этот конфликт, совершенно очевидно, что он прежде всего — ливанский. Он порожден глубоким противоречием, заложенным в основах ливанской политической и общественной системы. Но вопросы, поставленные этим конфликтом и всей историей независимого Ливана, выходят за собственно ливанские рамки.

"Ливанский конфликт, — пишет бейрутский социолог Туби, — затрагивает более общую проблему — возможности объединения различных социальных, религиозных, расовых, этнических или сектантских групп внутри общей структуры. Эта проблема — не уникально ливанская: вряд ли найдется такая ближневосточная страна, которая не имела бы плюралистического состава. И большое число стран Европы и Америки также являются плюралистическими. Трудность состоит не в плюрализме, как таковом, а в способности политической системы совместить плюрализм с неизбежными социально-экономическими изменениями".

В Ливане был проделан эксперимент формального бракосочетания незрелых принципов демократии и плюрализма с древней арабской феодально-общинной системой. Для сохранения брака был придуман жесткий брачный контракт, ни при каких условиях не подлежащий изменению. Но демократия, которая не развивается, плюрализм, который не движется к стиранию общинных перегородок, — это противоречие в определении. Ливанская демократия и ливанский плюрализм оказались красивой вывеской, которая долго вводила в заблуждение самих ливанцев и посторонних наблюдателей; в действительности за ней скрывалось все то же восточное общество с его феодальной структурой подчинения и власти и непримиримыми религиозно-общинными конфликтами. Возможно, ливанские христиане и мусульмане сконструируют, в конце концов, еще одно, новое политическое

уравнение, которое позволит им на время воссоздать кажущееся единство. Возможно, этого не произойдет, и разобщенный Ливан будет еще долго агонизировать или его растащат по кускам. Независимо от исхода, урок ливанской трагедии должен быть услышан: демократия, которая не готова приспособиться к появлению и требованиям новых общественных групп и сил, плюрализм, который не стремится к преодолению межобщинной обособленности, — не демократия и не плюрализм. Они нежизнеспособны, они чреватые взрывом.

## КНИГОТОВАРИЩЕСТВО "МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ"

ПРЕДЛАГАЕТ КНИГУ:

Менахем Бегин. "В белые ночи" — бывший зэк, а ныне премьер-министр Израиля рассказывает о времени, проведенном им в лагерях Воркуты. — 9 долл.

Заказ и чек направлять по адресу: Foundation "Moscow-Jerusalem", Ramat-Gan, Israel, P. O. B. 7045.

*"Одно из наиболее значительных исследований русской истории, появившихся в последние годы" (Сидней Монас)*

*"Важная книга; она может дать начало многим другим" (Ричард Ловенталь)*

*"В высшей степени стимулирующие размышления о тенденциях и смысле русской истории" (Роберт О. Крамми)*

АЛЕКСАНДР ЯНОВ

**"Происхождение автократии (Иван Грозный в русской истории)"**

Издательство Калифорнийского университета, Беркли, 1982,  
339 стр. \$19.95

Alexander Yanov

**"The Origins of Autocracy (Ivan the Terrible in Russian History)"**

Заказы и чеки направлять по адресу: University of California Press, Berkeley, Ca. 94720, USA

Пылкий полемист В. И. Ленин не имел привычки в споре убеждать оппонентов. Он их обливал грязью и осыпал руганью — к удовольствию молодых, а потому решительных наблюдателей дискуссии. И довольно толково объяснял преимущества такой технологии спора: бесполезно убеждать людей, чьи убеждения уже сложились. Никого ни в чем не убедишь. Заботиться следует лишь о молодых, чьи взгляды еще только формируются и на которых крепко сказанное слово производит впечатление крепкого аргумента.

И ведь верно... В зрелом возрасте правым обычно кажется тот публицист, который высказывает *твои собственные*, выношенные, выстраданные в жизненном опыте идеи.

Нелли Гутина — публицист, чьи взгляды полярны моим, да и самый подход к общественным явлениям у нас полярны. А вот поди ж ты! — я прислушиваюсь к ее слову со вниманием, и она способна воздействовать на мое вполне сложившееся мировоззрение. Ее последняя статья “Ближний Восток на историческом перекрестке” (“Двадцать два”, № 22) вынудила меня попробовать разобраться в этом странном парадоксе.

По-моему, в этом смысле я все-таки исключение. Нормаль-

*Михаил Хейфец*

## ЛУЧШЕ ИДТИ ПРЯМО

(ответ Нелли Гутиной)

ные читатели к Нелли Гутиной мало прислушиваются. И виновата в этом она сама, не они.

В публицистике Н. Гутина избрала самый трудный и неблагодарный жанр — романтический. Известно, что “у романтика мир его души торжествует над внешним миром” (Гегель). К этому привыкли; более того — ценность такого подхода уже оценили в поэзии, живописи, философии. Но в публицистике романтический подход заставляет читателя подозревать “фуфло” в выводах, и он небрежно скользит взглядом по статье, напоминающей, скорее, эссе, то есть полухудожественное произведение.

Вот пример. В статье о Ближнем Востоке на историческом перекрестке Н. Гутина с романтической пылкостью заявила, что в случае арабской победы над Израилем “пресловутое уничтожение евреев” все равно не было бы осуществлено. И в доказательство привела программное заявление вроде бы самого свирепого из мусульманских лидеров — генсека сирийской партии БААС. Боюсь, что многие читатели, добравшись до этого абзаца, дальше уже читать не стали. Мы все-таки, что ни говори, евреи. И хотя книги любим и чрезмерно им верим, но уж больно у нас поучительная история, чтоб совсем забывать ее практические уроки — даже ради романтических пассажей. Мы помним, например, что самые широкие гражданские и политические права даровало еврейству украинское правительство Симона Петлюры — причем совершенно искренно, считаю нужным подчеркнуть! А больше всего евреев занимало руководящие посты не в ленинском ЦК, как думают антисемиты, а в штабе батьки Махно (начальник штаба Арон Барон, начальник контрразведки Лева Задов-Зиньковский, начальник агитпропа Б. Волин-Эйхенбаум и глава гражданской власти, председатель Гуляй-Польского совета товарищ Коган!), и у въезда в Гуляй-Поле стояла виселица, на которой красовались трупы покаранных батькой погромщиков. Ну, и что с того? Что нам от великолепных петлюровских проеврейских деклараций и свирепых махновских антипогромных приказов, если они не помешали самым жутким после “хмельничины” погромам в многовековой национальной истории?!

Когда Н. Гутина определяет цели Шукейри и ООП в Шестидневной войне, она роняет еще одну неосторожную (для профессионала) фразу: “В наше время не так-то легко уничтожить государство...” А Литва, Латвия, Эстония, Тува — это что, не “наше

время"? А Катанга, Биафра — разве не были государствами не хуже других; многие ли читатели о них помнят?!

Впрочем, зачем так далеко забираться: вспомним "гуманного" короля Трансиордании Абдуллу, который обещал Голде Меир, что будет добрым повелителем для побежденных евреев, и последующую резню в Гуш-Эционе, где еврейские защитники *сдавшихся* кибуцов были подчистую вырезаны подданными этого самого доброго Абдуллы...

Я специально начал свою статью перечислением романтических огрехов и преувеличений публициста Н. Гутиной, чтобы показать "проницательному читателю": не хуже его вижу промахи автора. И потому — вопреки! — смею утверждать: тем не менее статья ее чрезвычайно интересна и заслуживает не только прочтения, но и размышления.

Самое важное, что обнаружила Н. Гутина в современной действительности Израиля — это *практическое тождество целей крайне левого и крайне правого флангов* израильского политического спектра.

Некогда ООП провозгласила лозунг "бинациональной, светской, демократической Палестины". "Но теперь, — пишет Н. Гутина, — бинациональное, демократическое... государство хотят израильтяне... Посмотрим правде в глаза: пусть это называется "священным правом евреев селиться в..." или пусть это называется "из соображений безопасности", — так или иначе Израиль хочет Западный берег. Что такое "план автономии", как не фактический отказ от сионизма и поиск иных исторических альтернатив развития Израиля?"

Н. Гутиной такой путь нравится. Мне — нет: если жить в государстве, где всех намешано помаленьку, тогда уж лучше жить в США, а самое порядочное — вернуться в Советский Союз и бороться за его прогресс. Или, может быть, Н. Гутина видит эту бинациональную Палестину в форме государства, где евреи будут расой господ, и считает это "нашим преимуществом"? (Из письма ко мне старого друга-израильтянина по поводу идей Н. Гутиной: "В свое время Ядин правильно (хотя, увы, чисто платонически) поставил вопрос о том, что Израиль, включающий в себя Западный берег, может быть либо еврейским государством, либо демократическим государством, а тем и другим одновременно быть не может".)

Н. Гутиной нравится бинациональное государство, растущее из "плана автономии", потому что палестинцы в нем не будут больше

угнетаться и смогут "слиться" с "братьями-евреями". Это, так сказать, "левое" оправдание присоединения территорий. После чтения этой "левой" статьи я снял с полки и перечитал в комплекте журнала "Двадцать два" интервью с "правыми", которые журнал часто помещал в "старые годы". Перечитал под новым углом зрения — в поисках "единства взглядов" "правых" с так называемыми "левыми". Вот результаты:

*Рав Меир Кахане:* "Нужно учиться у Советского Союза, как выигрывать войны. Он выиграл войну, захватил всю Восточную Европу и заявил: "Что? Мы потеряли 10 миллионов человек и еще будем спрашивать, кому это принадлежит? Это наше, и кончено"... Все великое всегда делалось меньшинством. Большинство всегда идет за теми, кто выигрывает" ("22", № 11).

У рава Кахане "кредо" высказано просто и прямо. Лидер Тхии профессор *Ювал Нееман* неизмеримо интеллигентней и просто респектабельнее. Когда читаешь его программу преобразования Израиля ("22", № 13), там кахановских упоминаний про СССР, коммунизм и т. д. не встретишь; более того — сознательно, полагая, профессор Нееман об этом не думает. Но нам, бывшим советским гражданам, трудно не вспоминать о "великих стройках коммунизма", когда мы слышим о программе преобразования Израиля посредством "солнечного", "атомного" и прочих проектов. До чего на самом деле "левое" мышление у "правого" профессора!

Национальный (точнее, бинациональный) вопрос профессор Нееман "решает" с помощью системы экзаменов по ивриту и сионизму для арабского меньшинства. В России это называли процентной нормой. Нисколько не удивлюсь, если выяснится, что в проекте "демократической, светской Палестины", составленном умеренными элементами ООП, предусмотрена процентная норма для евреев в этом государстве после сдачи ими экзаменов по арабскому языку и Корану. Почему нет? Конечно, по складу своей натуры профессор Нееман — демократ, это видно хотя бы из того, что он лишает арабов, не сдавших экзамена, только права быть избранными, но не права избирать. Иными словами, в Кнессете будет не сорок Арафатов, а сорок Вильнеров.

Но совершенно очевидно, что приход к власти в Израиле любого пусть и демократически избранного, но несионистского правительства возможен только после гражданской войны (и это отлично чувствует любой израильтянин). Следовательно, Тхия предлагает

нам вместо обыкновенной войны, к которой призывает рав Кахана, войну гражданскую. А поскольку она такой войны не хочет, то в реальной политической жизни ей остается, будучи последовательной, перейти на позиции Кахана — другого выбора у Тхия нет. Глубинные же позиции Кахана, глубинные идеологические ценности не отличаются от глубинных идей его последовательных противников "слева". Он сам об этом сказал: "На месте арабов я действовал бы так же" (имелась в виду ООП).

Итак, оба края нашего политического фронта — сторонники ООП и Кахана с Тхией — предлагают в сущности одно и то же: бинациональную Палестину. Спор у них идет о важных, но все-таки деталях: кто будет ее создавать, кто будет ею руководить, кто будет расой господ, а кто — дискриминируемым меньшинством. Признаюсь, эти детали важны для политиков, не для меня.

Варианты "центра"?

Правый, ликудовский центр предлагает "автономию"; левый, маараховский центр желает отдать 75 процентов Западного берега Иордании при условии его демилитаризации (забавная историческая деталь: именно Маарах в давние годы придумал "бинациональную Палестину"; но его ветераны пожилы в ней — под британским управлением — и нынче почему-то больше не хотят). И подобно тому, как Перес всех обманывает, намекая по секрету, что на самом-то деле король Хусейн хочет того, чего он не хочет, так Бегин надувает остальных, уверяя, что на самом деле кто-то хочет автономии.

Нелли Гутина впервые, по-моему, в русскоязычной прессе (насчет другой не могу сказать) стала оспаривать принцип решения палестинского вопроса, некогда предложенный Жаботинским и лежащий в основе нынешней (официальной) сионистской идеологии. Жаботинский предлагал применить для такого решения метод, который в XX веке общепризнанно используется при решении вопросов социальных, а именно — перераспределение исторически сложившейся собственности в пользу неимущих. Если "справедливо" отобрать землю у помещика и заводы у фабриканта и раздать их пролетариям и крестьянам, назвав это "аграрной реформой", "национализацией промышленности" и т. п., то почему несправедливо проделать то же самое с богатейшим землевладельцем мира — единым панарабским народом, перераспределив ничтожную часть его земель в пользу неимущих евреев?!

Нелли Гутина оспаривает это рассуждение, справедливо отме-

чая, что идея "единой арабской нации" сегодня практически провалилась. Это евреи сейчас рассуждают, как будто такая единая нация существует, — но среди арабов идея панарабизма "фукнулась" давно, лет двенадцать назад, во время палестинского погрома в Иордании. Евреи полагали, что панарабизм для арабов — то же, что для них самих — сионизм: ошибка вполне естественная. Н. Гутина вносит поправку в традиционную схему: она утверждает, что в нашем регионе нет единой арабской нации, а идет процесс возникновения новых наций, из которых образовалась пока что только одна — египетская. Трудности практической политики сионизма она объясняет тем, что сионизм упустил из виду эти конкретные обстоятельства местной национальной жизни — в частности, наличие формирующейся палестинской нации.

Гипотеза — любопытная, хотя, на мой взгляд, упрощающая ситуацию. Верно, что арабская нация нестандартна, не такая, как уже сложившиеся европейские (может быть, вообще не такая по типу), похожая скорее на израильскую с ее бесконечными слоями и внутренними конфликтами. Уже ясно, что нет "арабов вообще", но есть конкретные общины со своими интересами, психологическими, культурными и религиозными особенностями. Есть такие особенности и у палестинцев как части арабского мира. Гутина-романтик проявила незаурядное чутье к чужой душе, с ее странностями, с ее нарушенной национальной психикой, с ее "политической шизофренией" ("не случайно палестинские лидеры персонифицируют в себе самые отталкивающие национальные черты", — отмечает она). Самое интересное место в статье — это анализ отношений внутри самой палестинской общины, описания психологических конфликтов между израильскими и иорданскими палестинцами.

Израильтяне хорошо знают, что такое "политическая шизофрения" части населения — на собственном опыте: вспомним хотя бы Ямит. Но израильтянам много легче: у них есть демократические выборы, где вдруг выясняется, что реальное представительство "крайних" невелико и что Кахане не может стать не только депутатом Кнессета, но даже выразителем интересов хоть сколько-нибудь влиятельной группы. У нас есть барометр демократии, показывающий реальное политическое давление, его эволюцию, и этот барометр умиряет страсти. Есть обширная трибуна, где можно открыто обсудить все проблемы. Главное — есть *нормальное* политическое существование, которое не позволяет разрывать

нацию на слои — во имя, как всегда, неких “высших интересов” той же нации. Палестинцы же, как верно заметила Нелли Гутина, не имеют ничего этого и потому находятся в перманентном состоянии “политической шизофрении”. Но именно поэтому политико-общественные предложения Гутиной кажутся неубедительными: кто пробовал договориться с нашими собственными, еврейскими “крайними”, знает, насколько безнадежно взывать к разуму людей, находящихся во власти иррациональных волн эсхатологических эмоций.

Садат сумел преодолеть часть психологических барьеров между арабами и евреями, потому что руководящий слой евреев оказался политически здоровым. Когда Н. Гутина предлагает евреям теперь повторить со своей стороны инициативу Садата (по отношению к палестинцам), она как будто забывает, что Израилю будет противостоять ненормальное представительство общины со сдвинутой психикой. Можно такую общину понять — это делает Нелли Гутина. Можно ей посочувствовать: в конце концов, община “олим-ме-Русия” в значительной своей части тоже производит впечатление “психически сдвинутой”. Но реально договариваться сейчас с общиной палестинцев, пока она в больном состоянии, — невозможно, непрактично. Вот почему Израиль отказывается договариваться о чем-либо с ООП и даже отрицает существование “палестинской нации”.

Я думаю, что — вопреки надеждам и пожеланиям Н. Гутиной — не Израилю должна принадлежать сейчас инициатива в деле продвижения к миру. Арабский мир все еще не прошел свою половину пути. Тамошние крайние заправляют его делами, и арабские дети так же швыряют камни в солдат ЦАХАЛа, как взрослые активисты “движения против отступления из Синая”. Верно, что рано или поздно нам придется что-то уступить из своего — без таких уступок не бывает соглашений, и тут никакая победа в Ливане не поможет без этого обойтись. Но и арабский мир, мир палестинцев тоже должен быть готов уступить “свое” и притом столь же важное для них, как наше — для нас. Пока этого нет — “не будет мира под оливами”.

Сила политического романтизма — не в том, что он лучше всего описывает реальность. Напротив, он ее отвергает. Но вместе с ней он помогает отвергнуть дискредитированные историческим опытом мировоззренческие схемы, помогает нам расчитаться с привычным прошлым и искать выход на новых рубежах.

— В прошлом номере нашего журнала мы познакомили читателей с новой доктриной американских советологов, согласно которой Белому Дому следует делать ставку на русских националистов как вероятных приемников Брежнева. Как вы оцениваете эту доктрину?

— По-моему, она очень неубедительна. Мне кажется, она свидетельствует о непонимании сущности коммунистической власти. Коммунистическая власть держится не на идеологии и не на поддержке тех или иных слоев общества. Она держится на системе, которую изобрел Ленин и которая сегодня имеет очень мало общего с какой бы то ни было идеологией, в том числе марксистской.

Коммунистическая система — это прежде всего механизм: определенный *механизм захвата и удержания власти*. Она базируется на монопольном господстве одной партии и поддерживает себя с помощью наград и поощрений тем, на кого опирается. Все эти идеологические, интеллектуальные движения: национализм, диссидентство — конечно, очень интересны для нас, советологов, но к процессу удержания власти они отношения не имеют. Кто-то из американских советологов — кажется, Пospelовский, мой бывший ученик, которого я знаю и ценю, — сказал, что сталинизм

Профессор  
Леонард Шапиро

### НАСЛЕДНИКИ БРЕЖНЕВА

(интервью для журнала "22")

в 40-е годы стал превращаться в "национал-коммунизм". Но в действительности ничего такого не было. Сталинизм не имел ничего общего с идеологией. Сталин выдвинул великорусские лозунги просто для того, чтобы выиграть войну. Сталин был грузин, аппаратчик, бюрократ, для него любая идеология, в том числе и великорусская, была попросту способом сохранения власти. Вся его политика всегда была подчинена этой единственной цели — удержать свою власть в борьбе против различных конкурентов.

Сегодня в Кремле опять разворачивается борьба за власть, за так называемое "наследие Брежнева". И перед кремлевскими стариками снова стоит задача сохранить свои позиции и оттеснить конкурентов. Те "прагматики-националисты", на движение которых рассчитывают некоторые американские советологи, — это конкуренты нынешних руководителей, и их будут пытаться оттеснить в первую очередь, потому что они представляют опасность. Поэтому я не очень верю в их шансы.

— Вы определили коммунистическую систему как механизм удержания власти. При таком подходе советская история представляется чередой этапов все более откровенной и обнаженной борьбы за власть, не так ли? При Ленине еще сохранялась какая-то видимость, будто эта борьба связана с идеологическими разногласиями, а позже эта видимость совсем исчезает?

— Вот именно. В 20-е годы были еще такие старые большевики, которые верили в идеологические принципы. Вероятно, многие троцкисты тоже верили в идеологию. Но я говорю не о рядовых членах партии, а о верхушке. На верхах всякую идеологию давно отбросили. Там занимались реальными задачами, а реальная задача — это удержание власти и борьба с конкурентами.

Прагматики из числа националистов — очень опасные для власти конкуренты. Их цель — спасение и оздоровление нации с помощью прагматических мер: подъем промышленности, подъем сельского хозяйства. Ради этого они могут даже отказаться от экспансии. Но прагматизм угрожает тем, что партия может потерять свою монопольную власть. Так уже однажды почти случилось, когда Косыгин ввел экономические реформы. Он хотел децентрализовать управление промышленностью, чтобы повысить ее эффективность. Посмотрите, что произошло! Уже через несколько лет, особенно после подавления Чехословакии, от этих реформ ничего не осталось, потому что партия увидела,

что они угрожают ее монопольной власти. И вот она отказалась от реформ и вернулась к прежнему безобразию. То, что происходит сегодня в России, — это ведь подлинное безобразие. Происходит бессмысленное, иррациональное разрушение всей экономики. Но на верхах идут даже на это, потому что таким образом сохраняется система власти.

Мне кажется, что и после Брежнева старики в Политбюро сохраняют прежний курс. Конечно, постепенно к власти придут более молодые деятели, из нынешних секретарей обкомов, но это произойдет не сразу. Эти молодые тоже в свою очередь поймут, что нельзя слишком напирать на реформы, на децентрализацию, потому что это угрожает потере влияния партии.

То же самое справедливо в отношении русских националистов. Конечно, для них имеет большое значение престиж России, ее военная мощь, экономика. Но и для них — для тех, кто находится наверху, — главным является удержание и сохранение системы. Один из американских советологов сделал интересное наблюдение, что националистов почему-то нет в руководстве КГБ (или так, по крайней мере, кажется). Я это хорошо понимаю. КГБ — это организация, которая занимается как раз сохранением существующей системы, и ей не до идеологических игр. Идеология может развиваться в узком кругу писателей, интеллигенции, и если сосредоточить все внимание только на них, то может показаться, что идеологическая борьба идет очень остро. Но на самом деле она не затрагивает проблему власти.

Поэтому я не очень верю, повторяю, в шансы националистов или прагматиков. И уж конечно демократов. Разумеется, если в России произойдет переворот и вся система рухнет — тогда другое дело. Но мы сейчас об этом не говорим. Американские советологи об этом ведь не говорят. Они предвидят мирный переход к националистическому, прагматическому руководству. Такой переход, по-моему, невозможен.

— Ваш вывод опирается на толкование коммунистической системы как механизма самоподдержания собственной власти. Иными словами, вы видите в ней какой-то особый тип государства? Были государства авторитарные, деспотические и так далее, а теперь вот возникло государство коммунистическое?

— Да, механизм удержания власти меньшинством — это главное, что придумал Ленин. Он придумал партию нового типа, щупальца которой проникают во все области жизни. Все управляется

сверху, все централизовано. Такого, по-моему, в истории еще не бывало — были партии, были всякого рода тирании, диктатуры, но такого еще не было.

— Авторханов назвал это “партократией”, властью партии.

— Это не просто власть партии. Это власть аппарата. Аппарат ведь включает далеко не всех членов партии.

— Из вашего толкования следует любопытный вывод. Если коммунистическая система изобретена Лениным и не имеет предшественников в истории или идеологии, то выходит, что она не является ни продолжением “русской традиции”, как утверждает, например, А. Янов, ни “иноземной оккупацией” России, как говорит А. Солженицын?

— Да, конечно. Я не вполне согласен с Солженицыным, будто никакой связи с русской традицией нет. В Ленине, по-моему, очень много от русской революционной традиции, от “Народной воли”, от Ткачева. Но это все тактика. Стратегия его не имеет ничего общего ни с русской традицией, ни с марксизмом. Это совершенно новое явление, которое Ленин изобрел, а Сталин усовершенствовал. И с тех пор оно таким уже осталось, ничего не меняется.

— И потому эта система так успешно работает в любых странах?

— Да, в любых странах, в Китае, во Вьетнаме, в Польше, в Анголе, несмотря на их различия. Когда речь идет о тоталитарной системе, о коммунизме, я вообще не придаю особого значения национальным традициям. Повторяю, *коммунизм — это техника*. Техника захвата и удержания власти. В этом смысле я не придаю значения и его исторической связи с идеологией марксизма. Равно как и с любой другой. У немцев была долгая традиция законопослушания и правопорядка, у итальянцев была не менее длительная традиция национализма, но немцы и итальянцы вполне успешно перенимали у русского коммунизма технику захвата и удержания власти. Они сами признавались, что очень много заимствовали у Сталина. Эта техника пригодна везде.

— В том числе и на демократическом Западе?

— Да, в том числе. Это большая опасность. И Солженицын правильно призывает Запад остерегаться коммунизма.

— И все же — трудно согласиться, что идейная борьба, идейные споры не влияют на судьбу страны...

— Дело в том, что все эти споры идут, так сказать, в рамках существующего порядка. Они не затрагивают механизм власти.

Конечно, все это очень интересно — интересно для понимания настроений определенных узких кругов: писателей, интеллигенции. Но к вопросу о власти они прямого отношения не имеют и иметь не будут. Вопрос о власти решается не идеологией, а техникой, борьбой в верхах, в руководстве. Национальное движение, диссидентство — это движения духовные, которые не имеют прямого отношения к политике. Разве что в дальнем плане. Конечно, постепенно что-то происходит и сказывается, в конце концов, на судьбах страны. Но это дело столетий. А вопросы политики решаются в другом масштабе времени. Так что, несмотря на все эти духовные движения, система держится. И будет держаться.

— Как долго, по-вашему? Столетия?

— Ну, столетия — это много. Кто может сказать что-либо о столетиях? Но долго. Очень долго. Эта система, придуманная Лениным, способна держаться очень долго, в этом ее секрет.

— Тогда вернемся к ее ближайшим перспективам. Каким вам видится сценарий событий в случае смерти Брежнева?

— Знаете, я особенно больших перемен не предвижу. Сейчас много гадают, кто именно из Политбюро придет к власти после Брежнева. По-моему, это несущественно. Кто бы ни пришел к власти, серьезных перемен не произойдет. Не будет перемен во внутренней политике, потому что тут властям больше всего нужна устойчивость системы. Что же касается внешней политики — знаете, по-моему, внешняя политика Советского Союза всегда очень зависит от политики западных стран. На самом деле — все советские достижения в области экспансии или внутреннего строительства обусловлены западной помощью. Технология, зерно, кредиты — ведь это все дает Советскому Союзу Запад. И советская политика, мне кажется, отражает стремление эту помощь сохранить. Советские руководители очень серьезно считаются с возможностью, что Запад может перестать им помогать. Этого они боятся. Почему они так долго ничего не делали в Польше? Ведь с точки зрения коммунистической системы то, что происходило в Польше, эта "Солидарность" — это же просто недопустимо! Но они, видимо, опасались, что вмешательство в польские дела может вызвать прекращение поставок зерна или их громадного контракта с Западной Германией. А это для них очень важно. Поэтому они долго колебались, — пока не придумали свой вариант с Ярузельским, очень интересный вариант. Создать видимость, будто патриотический польский генерал выступил на спа-

шение страны, — они это очень интересно придумали. И ведь на Западе действительно этому более или менее поверили. Я не скажу — совсем, но более или менее. Все-таки до сих пор идут споры, польское это явление или советское. И результат, как видите, очень хороший — для Кремля, конечно: не сорваны поставки зерна, не сорван контракт. Вот хороший пример политики Запада.

На мой взгляд, эта политика до сих пор была крайне неразумной. Западные руководители никак не могут понять, что экономическая мощь их стран превосходит советскую по крайней мере в три с половиною раза. Они заняты подсчетами военной мощи, но забывают об экономических возможностях. Вы совершенно правильно отмечаете в вашем журнале, что все эти поиски Белым Домом “ястребов” и “голубей” в Кремле — просто попытки отсрочить выработку собственной последовательной политики, попытки возложить все надежды на какие-то внутренние силы в СССР. Я с вами совершенно согласен. По-моему, вся эта болтовня насчет “голубей” и “ястребов” исходит главным образом от КГБ. Это началось еще во времена Хрущева — хотели соответствующим образом настроить Запад: вот, мол, надо поддержать Хрущева, иначе к власти придут экстремисты...

— Однако некоторые американские советологи полагают, что СССР ведет собственную политику, не столько считаясь с реакцией Запада, сколько следуя своим далеко продуманным планам. Так говорит, например, эксперт Белого Дома по советским делам Р.Пайпс в своей статье “Советская глобальная стратегия”, опубликованной в нашем журнале.

— Я не верю в наличие у Кремля долговременного плана. Какое-то общее направление — да, может быть, но не план. Это стрелка компаса, которая может колебаться, но в целом указывает в одну сторону. Общее направление советской политики — максимальная экспансия и максимальное использование ресурсов, которые им предоставляет Запад. Но долговременного плана у них нет, есть расчет, и экспансия составляет часть этого приблизительного расчета. Советская система с самого начала строилась как военная система и ориентировалась на экспансию. Экспансия связана с ее идеологией, с лозунгом, что социализм должен победить во всем мире.

— Значит, идеология все-таки играет определенную роль в советской политике?

— В общем, нет, но есть некоторые элементы идеологии, ко-

торые уже вошли в натуру правления. Например, утверждение, что партия должна иметь монополию власти — это ведь идеологическое утверждение. И оно никогда не отменялось. То, что социализм должен победить во всем мире, — тоже идеология, и это тоже никогда не было отменено.

— Вы говорите, что советская политика зависит от поведения Запада, но вот сейчас представляется, что СССР односторонне пошел на прекращение детанта, по собственному почину.

— Я думаю, что и этот процесс — он тоже начался с Запада. Запад во время детанта словно ослеп. Он перестал замечать советскую экспансию. Экспансия продолжалась, а Запад продолжал находиться в плену иллюзий. Детант — это ведь вообще ложь, рассчитанная на одурманивание Запада. Но положение несколько изменилось с приходом к власти Рейгана, наступило какое-то отрезвление. Были протесты против вторжения в Афганистан, против подавления Польши, были резкие выступления в Мадриде, на обсуждении Хельсинских соглашений, так что какое-то отрезвление на Западе началось, и это привело к прекращению детанта. Охлаждение наступило в результате того, что Запад перестал верить болтовне насчет разрядки.

— Однако помощь СССР он не прекратил?

— Да, это очень печально, что словесных протестов много, а фактически помощь продолжается. Помощь выгодна американским фермерам, немецким промышленникам, поэтому она продолжается. Запад протестует, но не предпринимает ничего существенного, и Советский Союз это понял. Почему теперь прекратили выпускать евреев? По-моему, это очень просто. Советские власти поняли, что санкций со стороны Соединенных Штатов бояться не приходится, так зачем же выпускать, если это подает дурной пример остальным советским людям? Раньше приходилось на это идти — иначе, не дай Бог, можно было лишиться зерна, кредитов, технологии, но теперь видно, что этого можно не бояться.

— Не говорит ли это, что СССР, в сущности, навязывает свои условия игры?

— Нет, я бы так не сказал, на мой взгляд, он просто приспособляет свою политику к тем возможностям, которые Запад сам ему дает. Использует любую слабость, лезет в любую открытую дверь — если дверь открыта, он обязательно лезет. Возьмите Афганистан — ведь Советский Союз уже в 68-м году фактически большевизировал Афганистан, но Запад не протестовал, и они

решили пойти дальше. Существует даже такое мнение, что сначала они вообще не хотели вторгаться, они надеялись, что удастся устроить внутренний переворот с помощью КГБ, но это не удалось, поэтому пришлось ввести войска...

— Увы, Запад и сейчас демонстрирует разобщенность перед лицом советской экспансии. Видите ли вы возможность сплочения Запада в этом плане?

— Конечно, если появится прямая угроза советского вторжения, то Европа наверняка объединится. Но пока такой угрозы нет, я не очень надеюсь на такое объединение. Я в него очень мало верю. Европа не поддержала американскую идею санкций и сейчас не поддерживает, и конечно главный аргумент здесь, — что американцы втягивают нас в санкции, а сами продают Советскому Союзу свое зерно. Я считаю эту продажу зерна громадной ошибкой. В конце концов, фермерам можно было дать отступные, а для СССР прекращение поставок зерна было бы большим ударом. Это могло бы заставить его изменить свою политику.

— Но многие говорят, что это обрекло бы советских людей на голод?

— Я не за голод, конечно. Пусть Советский Союз получит это зерно. Весь вопрос — на каких условиях? Если американцы пригрозят Кремлю прекращением поставок зерна, в Кремле готовы будут изменить свою политику. Я не говорю — существенно изменить. Может быть в чем-то малом, но изменить. Это тоже важно. Но это не делается, ни в Европе, ни в Америке. Так что я довольно пессимистично смотрю на возможность западного единства в этом вопросе. Конечно, западные державы отрицательно относятся к коммунизму, но для них на первом месте их интересы. Разумеется, есть НАТО, но это солидарность исключительно в военном плане, на случай советского вторжения.

— Вернемся, с вашего позволения, к внутренним советским делам. Подходит к концу правление Брежнева. Как вы оцениваете Брежнева в целом, особенности его власти?

— По-моему, это очень искусный аппаратчик. Я думаю, что у него есть полная поддержка в Политбюро. Я не верю в разговоры, будто в Политбюро есть группы, которые друг другу противостоят, борются за власть, маневрируют. Брежнев понял главную суть советской системы. Талейран когда-то советовал своим подчиненным: "Без азарта!" Делайте свое дело, но без азарта. Не торопитесь ничего менять. Брежнев тоже считает, что

ничего менять не нужно. Лучше держаться старых порядков. Можно, конечно, выступать против коррупции, но делать особенно ничего не нужно. Можно выступать против пьянства, против недисциплинированности на работе, но не нужно никаких решительных шагов, никаких нововведений. И на этом пути он сумел сохранить поддержку Политбюро и партии. С армией у него тоже превосходные отношения, поскольку он ей много дал, все, что она просила. У него превосходные отношения с аппаратом — это видно из того, что при нем в аппарате установилась стабильность. При Хрущеве ведь шла постоянная чехарда на уровне секретарей обкомов и руководителей отделов ЦК, а это все же очень серьезные люди в советской иерархии.

По-моему, это очень искусный руководитель. Говорят, он создает себе культ личности. Но он его создал в самом несущественном. Ну, он маршал, он великий писатель, великий полководец — это же все второстепенно, это чисто декоративный момент. Там, где нужно считаться с мнениями других, он действительно с ними считается, поэтому у него серьезная поддержка. Были, конечно, оппоненты, вроде Шелепина, Шелеста, Полянского, но он их победил. Он от них медленно — заметьте, очень медленно — избавился.

Почему я думаю, что он имеет серьезную поддержку? Ведь главные посты — КГБ, обкомы — заняты брежневскими людьми. Без поддержки Политбюро он не смог бы их туда продвинуть, тут требуется утверждение Политбюро. Значит, у него есть такая поддержка. Смотрите, как он быстро продвинул Черненко. Это говорит, что в Политбюро нет обычного соревнования фракций. Нет борьбы. Если она начнется, то это будет после смерти Брежнева.

— Кто же будет участвовать в этой борьбе?

— Такие вещи всегда трудно предвидеть. Вероятно, в конце концов на сцену выступит следующее поколение: секретари обкомов, элита аппарата. Но сначала борьба развернется, конечно, в нынешнем составе Политбюро. Может быть на первых порах дадут власть Черненко или Кириленко, а потом начнется борьба за приемлемую для всех кандидатуру. Называют разные фамилии — Долгих, Романов, Гришин, — но мы мало знаем об этих людях, поэтому предвидеть здесь очень трудно...

— Стало быть, вы не беретесь играть в популярную нынче игру: кто станет преемником Брежнева?

— Нет. По-моему, для этого нет возможностей. Я думаю, что преемником его должен стать секретарь ЦК, аппаратчик — это все, что можно сказать. Вспомните карьеру самого Брежнева. Он когда-то ушел из аппарата в Президиум Верховного Совета, а потом, в 63-м, вернулся, и это, по-моему, было началом подготовки к смещению Хрущева. Наверно и сейчас руководитель должен выдвинуться из числа секретарей, которые одновременно входят в Политбюро. Это оставляет не так уж много кандидатов: Черненко, Кириленко, теперь вот Андропов. Есть еще Горбачев, но он слишком молод по советским меркам. Ему ведь нет еще пятидесяти!

В одно я не верю, — что борьба за брежневское наследие будет кровавой или что армия попытается за нее повлиять. Армия, конечно, имеет свои экономические требования, но до тех пор, пока эти требования удовлетворяются, руководство армии стоит за стабильность, за сохранение существующего порядка, когда всем руководит партия. Все силы стоят за сохранение существующего порядка.

— Вы упомянули Хрущева. Была ли разница между Хрущевым и Брежневым разницей существа или только стиля? Иными словами, происходит ли эволюция советской системы?

— Нет, я думаю, что между ними была разница только в стиле. Хрущев был импульсивный человек. Но конечно он сделал большое дело в смысле десталинизации. Он избавил Брежнева от этой задачи.

— Вы считаете, что решить ее было все равно необходимо?

— Я думаю, никто уже не мог управлять сталинскими методами после Сталина, у них не было для этого качеств и возможностей. Коллегиально террором заниматься невозможно. А ведь террор уже был намечен: врачи, евреи. Так что нужно было или продолжать, или перестать.

— Значит, Хрущев оказал услугу режиму — позволил ему стабилизироваться?

— Да, вот именно. И по-моему, Хрущев и Брежнев представляют собой более "нормальный" советский строй, ближе к Ленину — Сталин был в этом смысле исключением, из-за его характера, амбиций, зависти, антисемитизма. Сталинизм — это ненормальный советский строй. Правда, он длился довольно долго, но все равно это было ненормально, это была абберация.

— Значит, эволюция все же имеется. В чем же она состоит?

Что изменилось в характере власти, прежде всего — партийной власти за годы Хрущева и Брежнева?

— По-моему, изменения такие есть, особенно при Брежневе. Прежде всего, упрочилась подлинная коллегиальность, которую Хрущев в последние свои годы нарушал. Во-вторых, Брежнев сумел укрепить положение верхушки партийного аппарата, я имею в виду прежде всего отделы ЦК — например, продвижение Черненко в Общий отдел, закрепление Иностранного отдела за Пономаревым — это все брежневское явление, и это очень интересно. От этого создается такое впечатление, что при нем все застыло, ничего не меняется, и это правда — существо не меняется. Но в методах управления произошли интересные перемены.

— Однако возможность возвращения к прежним методам сохраняется?

— Конечно, она всегда сохраняется. Для этого нужен только сильный индивидуум, вроде Сталина. Но я считаю сохранение коллегиальности сейчас более вероятным. И в этом смысле как раз не очень важно, кто именно станет во главе Политбюро. Кто бы ни стал — он тоже, видимо, скорее всего сохранит все, как есть. Разумеется, страна нуждается в обновлении, в прагматическом подходе. Но приход к власти прагматиков кажется мне маловероятным, повторяю, — именно потому, что он означал бы перемены, а ведущий принцип сейчас: ничего не менять. Поэтому, мне кажется, Россия останется в том же состоянии, с разваливающейся гражданской экономикой — лишь бы военная экономика осталась сильной.

— И вы не надеетесь на какую-то внутреннюю демократизацию системы, вроде венгерского эксперимента?

— О, нет! Венгерский эксперимент возможен в коммунистической системе только в виде исключения, потому что Венгрия держится на советских штыках. А Советский Союз некому защищать, кроме него самого, и в случае провала эксперимента его уже ничто не спасет, поэтому он не может пойти на риск всяких демократических или экономических экспериментов. Наследие Брежнева — это поменьше перемен, и борьба за его наследие будет идти именно вокруг этого. Победит в ней тот, кто понимает, что суть коммунистической системы — не в переменах, а в сохранении власти.

*Вел интервью Р. Нудельман*

Буржуазно-демократическая революция была перечеркнута государственно-капиталистической контрреволюцией, прикрытой социалистической фразой. Идеология "социалистов-реакционеров", как их едко называл Плеханов, способствовала упрочению нового порядка, служила словесной маскировкой системы нового деспотизма. Эта идеология была плодом совместного авторства — тяготеющей массы интеллигентского государства и свободолюбия, неспособного вырваться за пределы искривленного государственной массой идеологического пространства.

Субъективным — на уровне интеллигенции — выражением метаморфозы прежнего деспотического государства в новое, тоталитарное является формула "чиновник-интеллигент-чиновник", которая описывает эволюцию русской революционно-социалистической интеллигенции XIX — первой половины XX веков. Я хочу дать две иллюстрации этой формулы, показывающие превращение чиновника от революции (профессионала-революционера) в чиновника нового государства.

О наркоме просвещения Луначарском писатель К. Чуковский говорил: "В его лице советская власть с первых же дней своего бытия предстала перед нами, интеллигентами дорево-

*Михаил Болховской*

## **СУДЬБА РЕВОЛЮЦИОННО- СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ В РОССИИ**

(окончание; начало см. в № 22)

люционной формации, в самом обаятельном своем воплощении". М. Лифшиц выделил одну очень важную особенность духовного облика обаятельнейшего из наркомов: "Редкое чутье по отношению к тому, что назревает в коллективной жизни общества".

Откроем книгу самого Луначарского "Силуэты": "Вообразите такую вещь. Россия освобождается от помещиков и буржуазии... Страна остается главным образом мелкобуржуазной и находится под постоянным контролем пролетариата, но по отношению к стране он очень малочислен. На всем этом мелкобуржуазном молоке поднимаются новые сливки, новый командный состав. Выдвинулся, получил орден Красного Знамени, назначен на такой-то пост из уезда в губернию, затем в центр. Не получатся ли из них "совбуры" — "советские буржуи" и сановники? Сливки-то эти не скиснут ли? Не случится ли так, что свой человек, который хозяйственно, административно, культурно вырос... превратится в "совбура"? При каких условиях он останется коммунистом и слугой народа?"

Вот так умел Луначарский "спрашивать жизнь". А вот так он отвечал на поставленные вопросы: "Во-первых, при условии, если мы уже сейчас будем вырабатывать у него верное понимание того, что отрыв от масс для него гибель..."

Итак, во-первых, "верное понимание". Что же "во-вторых"? Как ни странно, но "во-вторых" отсутствует в книге. И это не результат лишь стилистической небрежности. Автор "Силуэтов" исчерпал аргументы, назвав первое и последнее условие. Ибо гарантий он указать не мог. Впрочем, он это сознавал и на возможные упреки отвечал в том смысле, что он, мол, не педант и не догматик. Зато, добавлял он, "я целиком разделяю тот титанический оптимизм, которым проникнут марксизм вообще".

"Титанический оптимизм".

Блажен, кто верует.

Было время, когда Луначарский (Воинов) пытался превзойти самого Гапона, сочиняя "Евангелие от Анатолия". А потом бывший "впередовец"-отзовист каялся в богостроительских грехах и красноречием своим затмевал отца Введенского. Тем не менее финал главы "Ленин и молодежь" (из той же книги) может быть признан венцом богостроительства Луначарского — богостроительства, превращавшегося уже тогда из одного среди многих идеологических поветрий в негласную государственную религию.

"Ваш Ленин, — цитирует Луначарский с энтузиазмом какого-то своего французского корреспондента, — по крайней мере, втрое

большой вождь, чем Магомет, ваш СССР в десять раз больше, чем Аравия, ваш Коран — марксизм — будет принят повсюду. Важно только то, чтобы у Магомета оказался хороший наследник — Абу-бекр, который мог бы всех конкурирующих Али и Османов устранить со своего пути. Мир просит у тебя, Россия: дай ему вслед за твоим Магометом твоего Абубекра!"

Прав был Лифшиц: "Редкое чутье..." Предчувствуемый Луначарским Абубекр не заставил себя ждать. Устранив Али слева и Османа справа, Он пришел, вождь всех времен и народов, учитель человечества, отец и гений. И люди, подобные Луначарскому, шли навстречу ему, как кролики в пасть удава.

Такова эволюция бывшего революционно-социалистического интеллигента: от "Евангелия от Анатолия" к Корану сталинизма. Эволюция Горького еще печальней. Горькому довелось участвовать не только в идейной подготовке, но и в самом создании государственной религии.

Рассказывают, что в пору своих скитаний по Руси будущий "великий пролетарский писатель" носил в своей котомке две книги: Новый завет и "Так говорил Заратустра". В его душе причудливо сочетались элементы христианства ("Он был добрый старик", — вспоминал о нем Троцкий) и пафос Сверхчеловека: разве все его афоризмы о "трагически прекрасном Человеке, идущем вперед и выше" — не перевод с ницшевского на нижегородский?

Плеханов считал, что марксизм был усвоен Горьким крайне поверхностно. Бунин в своих воспоминаниях ставит вопрос: "Какого рода этот талант, создавший такую вещь, как "Песня о Соколе"?" Безумно храброму Соколу противопоставлен рассудительный Уж, достойный только презрения.

Вслед за Соколом и Ужом у Горького появляются и другие парные персонажи: Данко-вождь и ведомый им народ, Буревестник и глупый пингвин, наконец — благородный люмпен Челкаш и корыстолюбивый крестьянский сын\*. "Он будто в омут смотрит, — вспоминал Федин, — не может оторваться от русской деревни."

---

\* Во времена первой русской революции такая плакатная однозначность импонировала публике: в Соколе видели революционера, в Уже — обывателя. Но время позаботилось о том, чтобы очистить горьковскую символику от революционно-социалистических ассоциаций и придать ей непреходяще государственный смысл. И не случайно официальные небеса в 30-е годы заполнили "сталинские соколы", а в ежовых рукавицах человека с голубыми кантами ужами заизвивались "враги народа".

Когда мужик увидит, — говорит он с обидой, — что господин иностранец своими товарами шутя затыкает все дыры крестьянского хозяйства, вот тогда, доложу я вам, он возьмет... власть и продаст заморскому купцу всю Россию”.

Так говорил наш Буревестник сразу же после революции. Горький потому неприязненно смотрел на народ, что боялся, как бы дети земли не извели “детей солнца”. Легенда о либеральной оппозиции Горького против “интеллектуалоедства” первых лет советской власти, как всякая легенда, не лишена фактической основы. Но это не все. “Я уж не первый год толкую, — говорил он тому же Федину, — что недалёковидные люди раскаются в травле интеллигенции. Придется пойти на поклон к академикам и профессорам, которые посажены совсем не туда, где им полагается сидеть”.

Горькому хотелось впрямь в одну телегу РКП (б) и интеллигенцию, потому что только в этом союзе видел он спасение России от... крестьянства.

Федин вежливо писал Горькому на Капри: “Мне кажется, что будущая культура обопрется именно на крестьянина, а не на его понукальщиков. Понукание наше — непонимание основ культуры, окостеневшей вследствие постоянного противодействия понукальщикам. Дать возможность и время свободно развиваться этой культуре — значит сделать все, что требуется разумом”.

Разумная точка зрения Фебина не была тогда еще инакомыслием: так же думали и предсовнаркома Рыков, и редактор ЦО Бухарин, даже сам Сталин тогда еще не обнаруживал своих намерений. Но слышавший либералом, Горький уже тогда “смотрел вперед”.

“Нет ли здесь ошибки у вас? — возражал он Федину. — Ведь “понукающие” несут в жизнь именно живую, новую истину, и поэтому они являются творцами культуры. Именно они. “Постоянное противодействие” истекает у людей из желания покоя. Все мои симпатии на стороне “понукающих”, мне органически враждебно постоянное противодействие мужика неотразимым требованиям истории”.

По сути дела, это старая песня о Соколе, переложённая на язык философической прозы. И когда Федин, продолжая спор, сошлется на традицию русской классической литературы, которая больше сочувствовала и сострадала “понукаемым”, чем содействовала “понукающим”, каприйский мужикоборец обрушится на “застарелую болезнь русской литературы, о которой можно сказать, что она обучала людей прежде всего искусству быть несчастными.

Страдание необходимо ненавидеть, лишь этим уничтожить его. Гуманизм в той версии, в которой он усвоен нами от евангелия художников наших о русском народе, о жизни, этот гуманизм — плохая вещь”.

Такой последовательно ницшеанской критике русская культура не подвергалась никогда. Россию следует спасти от мужика, интеллигенцию от сострадания, будущее за “понукальщиками” — дальше уже идти некуда. Осталось только переместиться с Капри на мавзолей, рядом со Сталиным, если со стороны последнего последует приглашение.

Приглашение последовало.

“Существует страна, — делает открытие вернувшийся Горький, — где пролетариат, следуя учению Маркса—Ленина и руководимый Иосифом Сталиным, освободил крестьянство от идиотической “власти земли”, от уродующего влияния собственности, сделал собственника коллективистом”.

Д. Шуб высказывает гипотезу о фальсификации того, что говорил и писал Горький, оказавшись в силовом поле сталинизма. Возможно. Но если даже многие площадные лозунги ему приписаны, то общая направленность мышления нашего “властителя дум” не нуждалась в корректировке. Тот, кто так сочувствовал “понукальщикам”, кто так ратовал за дегуманизацию культуры, вполне мог приветствовать “год великого перелома” и насильственную экспроприацию крестьянства.

Благословив 1929-й, Горький не успел благословить 1937-й, но, вероятно, сделал бы и это, в полном согласии со своей “совестью”. Певец “безумства храбрых”, и на старости лет он проповедовал “героический иррационализм”. “Я стою за опрощение разума, — писал он. — Чем проще мысль, тем она ближе к делу правды, а смысл этого дела прост и легко укладывается в три слова: капитализм необходимо уничтожить”.

Там, где Марксу не хватило трех томов, Горькому достаточно трех слов. Кстати, о самом Марксе Горький писал: “Ленин — проще Маркса, а как учитель не менее мудр”. Тринадцать сталинских томиков — проще ленинского наследия. А красные цитатники Мао — и того проще. Так прослеживается связь между “великим пролетарским писателем” и “великой пролетарской культурной революцией”.

Я не знаю, сам ли Горький наговорил все то, что приписывается ему в официальных изданиях; кто желает не по отдельным

высказываниям, а целостно воспринять отношение зрелого Горького к интеллигенции и к неумолимому условию ее существования — свободе мысли, тому следует прочесть его эссе “Разрушение личности” и роман “Жизнь Клима Самгина”.

“Разрушение личности” содержит теоретическое обоснование отрицательного отношения Горького ко всем проявлениям “уродующего влияния собственности”. При этом Горький ссылается на Маркса. Но их точки зрения на историю противоположны.

В то время как “сложный” Маркс видел в возникновении и эволюции частной собственности экономический базис противоречивого, но тем не менее несомненного исторического прогресса и, следовательно, фактор, формирующий личность, Горький оценивает разрыв первоначальных естественнопатриархальных уз как грехопадение человечества и причину деградации личности от Прометея до хулигана. Всеми средствами, прежде всего — с помощью силы, следует, считает он, вернуть утраченный рай коллективизма, восстановить соборную личность, которая наслаждалась бы не “Фаустом” индивидуалиста Гете, а народной легендой о Фаусте, а еще лучше — Петрушкой, этим величайшим творением народного сознания, еще не расчлененного и не опошленного индивидуализмом.

Теоретическая концепция Горького раскрывает его как не очень оригинального, зато типичного “социалиста-реакционера”. Как и всякий социалист, он критикует отчуждение человека, характерное для развивающегося человека; как и всякий реакционер, он не видит оборотной стороны отчуждения — обретения свободы — и мечтает о реставрации докапиталистических отношений, подернутых флером романтизма.

Для сравнения приведу цитату: “Открытие труда как элемента полноты и свободы еще предстоит... Это открытие более потрясающее и богатое по своим последствиям, чем открытие Америки”.

Это не из Горького. Ленин как-то писал о “двух половинках социализма”, развивающихся под одной империалистической скорлупой. Так вот, в той, иной “половинке” в 1932 году вышла в свет книга Эрнста Юнгера “Рабочий. Господство и образ” — произведение, конгениальное горьковской публицистике. Как и молодой Горький, Юнгер исходил из ницшеанского противопоставления Человека с большой буквы мещанству (бюргерству); как и зрелый Горький, он воплотил этого сверхчеловека в “фигуре

рабочего". Как и наш "властитель дум", немецкий предшественник национал-социализма был первооткрывателем и певцом архипелагов Освобождающего Труда. Как и Горький, Юнгер был не против интеллигенции, если и поскольку она принимала "диктатуру труда", и признавал необходимость репрессий против нее, если и поскольку интеллигенция цепляется за "либеральную демократию", "абстрактный гуманизм", если и поскольку она остается сообществом "образованных обывателей" (Юнгер), "механических граждан" (Горький).

Какова же мораль притчи о Горьком и Луначарском?

В начале статьи я писал о неосознанной зависимости бунтарской мысли от "тяготеющей массы государства". Здесь речь идет несколько об ином — о приспособлении и сознательном приспособленчестве отдельных "носителей мысли" к аппарату насилия. Когда-то пленная мысль рвалась из оков, калеча себя; теперь интеллект идет в услужение. Когда-то государственный служащий, превращенный в государственного преступника, становился интеллигентом; теперь интеллигент становится чиновником.

Формула "чиновник-интеллигент-чиновник", на которой зациклился наш "процесс гражданского развития", потому и может быть названа формулой, что, обобщая минувший опыт, предсказывает вероятность подобных же метаморфоз в будущем. "И возвращается ветер..."

Чтобы новые лица в новых идеологических костюмах не разыграли вновь старую трагикомедию русской интеллигенции, мало благого намерения не идти "дорогой отцов". Нужно выработать иммунитет против "государственного образа мыслей". Какой бы социальный план мы ни вынашивали, какое бы мировоззрение ни воодушевляло нас, какой бы идеал ни лежал в основе нашего поведения, максима: "Каждый человек может и должен иметь собственное мнение" — должна присутствовать в системе наших взглядов. Только право других на собственное мнение гарантирует самостоятельность нашей собственной мысли. Непрерывность исторической эмоции плюс непрерывность исторической мысли плюс гражданское мужество — вот непростая формула выхода из замкнутого круга судьбы. Судьба одолевается совестью, которую Лев Толстой назвал "памятью общества, усвояемой индивидуально".

Изложив свои взгляды, я просто обязан в конце высказать какой-нибудь оптимистический прогноз. Разве может человек с подобными взглядами не верить в План Эволюции и в Схему Прогресса?

Маркс был "прогрессистом" в той же мере, как Дарвин — "эволюционистом". Как и великий английский биолог, он внес в социологию стихию вероятностей. Конечно, ход дел в XIX веке настраивал на оптимизм. Но видеть в марксизме, подобно Луначарскому, прежде всего "титанический оптимизм" значит не замечать главного. "Пророчества Маркса не осуществились!" — радостно сообщают мне противники "жидомарксизма". Никакая схема, в том числе и марксистская, не могла и не может гарантировать человечеству счастливый конец социального "эксперимента". Люди сами творят свою историю и сами несут за нее ответственность. Если даже мы оставим в наследство XXI веку разъединенные нации и попранные права человека, это совсем не значит, что создание ООН было ложной идеей, а Эмнести Интернейшнл — "плохим пророком". Поэтому и я попытаюсь рассмотреть возможности трансформации существующей в нашей стране социальной структуры как внушающие надежду.

Что представляет собой государственный капитализм в чистом виде? Это отношение между Совокупным Капиталистом и Совокупным Пролетарием. Каждый человек в такой системе является, с одной стороны, винтиком Совокупного Капиталиста, а с другой — клеточкой Совокупного Пролетария.

Но государственный капитализм в чистом виде не существовал нигде, даже в национал-социалистской Германии. У нас, при нэпе, государственному капитализму в промышленности пришлось сосуществовать с мелкотоварным производством в сельском хозяйстве, а после "великого перелома" и образования архипелага ГУЛАГ — с фактическим рабским трудом. Лишь много позднее началось медленное превращение крепостных крестьян в вольнонаемных батраков различных государственных экономий, а труд заключенных утратил свой прежний вес в балансе производительных сил страны. Тем самым госкапитализм очистился от наиболее бросающихся в глаза "пережитков" азиатского способа производства. Но и в таком виде он далек от собственного идеала.

Модель госкапитализма работала бы идеально, если бы государ-

ственная форма могла срастись с кожей, образовав хитиновый покров, а внутренний мир человека уступил бы место муравьиным инстинктам. Много было сделано и делается для воспитания такого человека-муравья. Но, к счастью, "благоприобретенные признаки" не передаются по наследству.

Госкапитализм приближается к своему идеалу в условиях войны, голода и стихийных бедствий. Напротив, вынужденный детант разлагающе действует на этот монолит, способствуя образованию социальных структур, не предусмотренных моделью. В чистом виде госкапитализм знает лишь "бесклассовое", а точнее — деклассированное общество, совокупность абстрактных рабочих сил, которые лишь благодаря иерархической структуре самого государственного аппарата выстраиваются по ранжиру, выполняют различного значения функции и получают соответствующую мзду. В действительности, общество и при госкапитализме принимает классически вертикальное строение с крепнущими связями по горизонтали, с разрывами между слоями по жизненному уровню, образу жизни, психологии. Социальная верхушка обуржуазивается. Начинается своеобразная борьба "за права", за постоянство привилегий. Ведется она исподволь, с переменным успехом, и все же ни Сталин с его чистками, ни Мао с его культурной революцией, ни Хрущев с его попыткой ввести сменяемость не осилили "новый класс".

Как относиться к этому? С моей точки зрения, обуржуазивание — прогресс. Оно ослабляет мертвую хватку репрессивного аппарата, дает меньше шансов на успех фанатическим группировкам, способствует деловым контактам верхушки с западной буржуазией, появлению — наряду с бюрократическими и милитаристскими тенденциями — тенденции технократической. Это прогресс, как бы он ни возмущал эгалитарные чувства нижестоящих слоев и именно потому, что он возмущает эти чувства.

Госкапитализм обретает — нет, не человеческий, а — человекообразный облик. Чем дальше, тем определенной правящая элита отличает себя и отличается от управляемого ею народа. Конституция "общенародного государства" недвусмысленно и "на века" закрепила господство социальной верхушки и столь же недвусмысленно поставила "на место" вольнонаемных работников умственного труда.

Чем объясняется отнесение невластвующей интеллигенции к категории граждан третьего сорта? Быть может, "гегемонией"

рабочего класса, тем, что он, через "свою" партию, добивается улучшения своего материального положения, забывая о "меньшом брате" — интеллигенте? Это миф, и миф, выгодный прежде всего самим агентам госкапитала — во-первых, потому, что он снимает с правящей элиты ответственность за незавидное положение работников умственного труда, во-вторых, потому, что сеет рознь между составными частями совокупного пролетария. "Разделяй и властвуй!" — лозунг, старый как мир...

— Послушайте, да о чем вы? — слышу я возражение. — Ставки, оклады... Не хлебом единым сыт человек! Нам не деньги нужны, нам важно мысль разрешить!

Мне возражает русский мальчик, которого, оказывается, не извели ни лихие годы, ни человекообразный госкапитализм.

Судьбой этого мальчика я обеспокоен, как собственной судьбой. "И возвращается ветер..." Для того я и совершал свои экскурсии в прошлое и рассматривал модель сложившегося порядка вещей, чтобы помочь, чтобы предостеречь. Помочь наследнику русской революционно-социалистической интеллигенции принять наследство, предостеречь его от повторения роковых ошибок предшественников.

Смерть диктатора и последовавшая за ней "оттепель" позволили нам, как сегодня китайцам, увидеть возможность и необходимость перемен. И естественно, первым, точно как и столетие назад, заволновалось студенчество. Власти квалифицировали это волнение как ревизионизм. И это было справедливо в том смысле, что интеллигентная молодежь занята была переоценкой ценностей, сопоставлением идей и действительности, поиском истины в книгах и в жизни. Сталинскому догматизму и волюнтаризму Хрущева она пыталась противопоставить правильное прочтение Маркса и что-то вроде "социализма с человеческим лицом".

Сегодняшние мальчики обязаны своим появлением на свет этому первому шагу к самостоятельности мышления. Ревизионизм 50-х годов родил инакомыслие 70-х.

Движение диссидентов, справедливо называемое также правозащитным движением, и по возрасту его участников, и по зрелости мысли, и благодаря освещению его средствами массовой информации на Западе уже отличалось от ревизионизма. Это был не только идеологический протест против несправедливости, но и попытка отстаивать справедливость, опираясь на знание юридических норм как советского, так и международного права. Зрелость диссидент-

ской мысли проявилась, на мой взгляд, во-первых, в защите прав человека независимо от того, какие у него взгляды, а во-вторых — в том, что она не дала себя втянуть в выгодную для репрессивного аппарата игру “сыщики-разбойники”.

Но отличие инакомыслия от ревизионизма не исключает их прямого родства. Как бы ни открещивались (в буквальном смысле этого слова) некоторые диссиденты от своего “неомарксистского прошлого”, тенденции, проявляющие себя в диссидентском движении — и позитивные, и негативные, — в зародыше содержались уже в ревизионизме 50-х годов. Этот ревизионизм был первым шагом “процесса гражданского развития” у нас. Инакомыслие 70-х годов — вторым. Каким будет третий шаг, и будет ли он?

“Освобождение трудящихся — дело рук самих трудящихся”. И если мы на самом деле хотим их освобождения, мы должны помогать эволюции их взглядов, развитию правосознания. В свое время К. Леонтьев писал, что наш народ предпочитает хорошего начальника хорошему закону. Это свойство, мне кажется, характерно не только для россиян, но и для всех наций, не переживших внутренний “процесс гражданского развития”. Правозащитное движение — начало этого процесса, дело за тем, чтобы он шел дальше, расширяясь, а не сужаясь, охватывая все большее количество людей. В противном случае “народная революция” не даст ничего, кроме смены лиц в “коридорах власти” и замены одной тоталитарной диктатуры другой, не менее тоталитарной.

Но если нас не устраивает монополия на власть одной социальной группы, каким бы идеологическим, политическим или религиозным знаменем ни осеняла она себя, нам придется переменить фронт.

Да — религиозному возрождению, но нет — теократии.

Да — национальному самоопределению, но нет — имперскому национализму.

Я думаю, что и марксизм с его духом критицизма, скептицизма, с его стремлением к системному анализу общественных отношений, включающему не только уже сложившиеся и юридически закрепленные нормы, но и их политико-экономическую почву, мог бы занять подобающее место и сыграть положительную роль в системе российской плюралистической демократии. Разумеется, если нам суждено движение вперед, а не возвращение “на круги своя”.

“О море в Ницце, та-ра-ра-ри-ра-рам!

О небо в Ницце, та-ра-ра-ри-ра-рам!”

Верила ли я в детстве, напевая это танго, что Ницца вообще существует?

Вряд ли.

Удостовериться в реальности этого призрачного неба над призрачным морем в призрачной Ницце я так и не смогла: сразу по приезде надо было спешить в Канны, самолет прилетел почти в полночь. Я заметила только, что пространство Французской Ривьеры сплошь заставлено человеческим жильем, как старинная бабушкина квартира добротной резной мебелью. Я имею в виду абстрактную, а не мою родную бабушку: у той убогая обстановка представляла собой сборную солянку, остро приправленную нищетой. Но вот в доме бабушкиной кузины, тети Бети, куда я любила ходить в гости, потому что там вкусно кормили, вещи теснились, как дома на узких улицах Канн. Огромный абрикосовый абажур колыхался над круглым столом, крытым плюшевой скатертью с бахромой, на скатерти симметрично поблескивали тонкие стаканы в серебряных подстаканниках, над распростертой на цветастом блюде медовой коврижкой курился тонкий аромат свежесваренного чая, и плавно

*Нина Воронель*

**“БИТВА ПРИ КАННАХ”  
ИЛИ  
ЗОЛУШКА В СТРАНЕ ЧУДЕС**

крутилось сиденье винтового стульчика перед распахнутым ро-  
ялем.

Таким представлялось мне недостижимое сладкое благополучие  
в годы голодного военного детства, таким предстало оно мне сей-  
час в другом мире, под другим небом, над другим морем. Ноздри  
мои жадно ловили пряный запах молотого кофе и истомившихся  
в духовке круассанов. Над плавной дугой побережья уютно пока-  
чивался абажур медового солнца, обстоятельные каменные дома  
строим стояли вдоль узких тротуаров, как обтянутые чехлами  
кресла в гостиной у тети Бети.

Хотелось вернуться в детство.

Ведь вся эта затея, для простоты названная мною "битвой при  
Каннах", была по сути моей запоздалой игрой в Золушку, этаким  
неразумным надеждой, что башмачок окажется волшебным. Я вез-  
ла с собой фильм, сделанный по моему сценарию режиссером Сла-  
вой Чаплиным с превеликим трудом и при участии множества не-  
объяснимых чудесных совпадений. И потому верилось, что и пос-  
леднее чудо — коммерческий успех — тоже возможно. Название  
фильма — "Абортная палата", так же как и его тема находились в  
прямом противоречии с идиллическим хэппи-эндом сказки о Зо-  
лушке, но это меня не смущало: весь настрой фестиваля был под-  
чинен теме Золушки, теме неожиданного, неслыханного, голово-  
кружительного успеха.

"...Воскресный вечер на набережной Круазетт был за-  
полнен черными галстуками-бабочками: англичане давали  
грандиозный банкет в честь просмотра своего конкурсного  
фильма "Возвращение солдата". Сначала банкет протекал  
довольно вяло, но к десерту все развеселились: пунш пылал  
во всех бокалах, а за окнами огромного обеденного зала  
отеля "Мартинез" в небе полыхал фейерверк".

"...Вечно юный Фредди Филдс до рассвета танцевал на  
банжете, который он давал в честь английского режиссера  
Аллена Паркера. В роскошной вилле Мегги Руф в Верхних  
Каннах, ныне принадлежащей князю и княгине Рено  
д'Арнкур лучшие люди Фестиваля наслаждались омарами и  
шампанским во льду, а вдали переливались огни Карлтон-  
Отеля и высоко в небе мерцали звезды. Воистину, магия  
в Голливудском стиле! Единственная претензия — слишком  
много жратвы!"

"...Сегодня на вилле Кризалис у Берил Вертью и Терри  
Эллиса в Антибах дверь открыта для всех. Не забудьте за-  
хватить купальные костюмы!"

“.. Сегодня утром на террасе Карлтон-Отеля было зарегистрировано семь карманных краж. В этом году в Каннах карманников больше, чем журналистов! Будьте осторожны! Не носите с собой деньги!”

Десятки обнаженных девушек всех цветов и рас целыми днями сидели на продуваемом ветром пляже перед Пале Фестиваля в надежде, что волшебная палочка Феи коснется их худеньких плеч. Они не обращали внимания ни на липкие взгляды зевак, облепивших паркет пляжа, ни на поспешные весенние ливни, покрывавшие их спины брызгами и пупырышками гусиной кожи — они знали точно, чего хотят: чтобы от толпы любопытных отделился знаменитый режиссер, очарованный открывшимися прелестями одной из них (*Меня! Меня заметь! На меня посмотри!*) и повел за собой. Повел бы неважно куда: к себе в номер, на банкет в отель “Мартинез” или сразу на съемочную площадку, — главное, чтобы заметил и позвал. А там по сказочным законам удачи все пойдет само собой: защелкают фотоаппараты, зажужжат кинокамеры, замельтешит реклама и чудо свершится.



“Хильда Арков истратила только на цветы миллион франков (плюс-минус пару тысяч) при подготовке знаменитого обеда для избранных, который ежегодно дает ее муж Сэм Арков журналистам в ресторане Отеля Дю-Кап”.

“Весь пляж так и замер, когда знаменитый киноактер Роберт Джинти выскочил на берег из вертолета в сопровождении четырех красавиц в майках, направленных в армейские бриджи, и с автоматами в руках...”

Первая осуществленная Золушка предстала передо мной в виде несколько экстравагантном, я бы сказала, даже непотребном: она перевоплотилась в толстого израильского воротилу по имени Менахем Голан. Крупнейший израильский кинопродюсер, создатель серии "Эскиммо-лимон" и наиболее аутентичного фильма об операции Энтеббе, по праву мог бы считаться грубияном среди одесских биндюжников. Может, именно эта его особая (так и тянет по-анти-семитски сказать "жидовская"), до высшего вдохновения доведенная наглая дерзость зашвырнула его так далеко вверх по головокружительной лестнице кинокарьеры, ведущей в пустоту небес?

"Фэй Доновей, сопровождаемая неотразимым Майклом Виннером, была воистину королевой роскошного полуночного банкета, который Менахем Голан и Йорам Глобус из "Кеннон филмз" давали этой ночью в казино "Палм Бич" для 500 своих самых близких друзей. Там были *все* — от Пиа Задоры до Дитера Менца..."

Все (не все, а *все*) были на банкете Менахема Голана и Йорама Глобса из "Кеннон филмз"! А кто знал Голана и Глобуса три года



MENACHEM GOLAN & YORAM GLOBUS  
personally welcome  
FAYE DUNAWAY  
arriving today in Cannes.

назад? Кто из "пятисот самых близких" потащился бы в полночь в самую дальнюю точку набережной Круазетт, где за Спорт-Клубом, за Мариной, прячется среди пальм казино "Палм Бич"? А сегодня фронтон Карлтон-Отеля в межоконных просветах сплошь увешан огромными, в два этажа, черно-белыми портретами знаменитых киноактеров, и над знакомыми по множеству фильмов лицами зазывно нависает крикливая рекламная шапка, оповещающая прохожих, что Голан и Глобус из "Кеннон филмз" приветствуют своих "звезд". Простенько, но мило: приветствуют, ручкой машут. И только посвященные могут себе представить астрономические суммы, которые нужны, чтобы покрыть площадь фасада Карлтон-Отеля, отведенную под это приветствие в дни фестиваля.

Но я думаю, даже специалисты затруднятся подсчитать, сколько стоит Голану и Глобусу ежедневная многословная реклама в журнале "Международный экран". Заинтересованность журнала в этих новоявленных завоевателях кинорынка можно понять по нежно-игривому обращению "Менни-детка", которое употребляет прославленный автор колонки светских сплетен Питер Нобл, заигрывая с Менахемом Голаном.

Конечно, голановская вариация на тему Золушки выглядит модернизированной почти до неузнаваемости, и нет в ней волшебного касания палочки Феи, нет того трепета ожидания чуда перед балом, которым полны сердца продрогших на ветру голых девушек на прибрежном песке. Вариация эта пахнет мужицким потом тяжких усилий, и тяжесть эта вряд ли может быть сбалансирована радужными мыльными пузырями сомнительной саморекламы.

Но сказку нельзя убить — сказка всегда найдет способ прорасти сквозь путаницу житейских неурядиц. Для поддержания духа всех тех, кто, надрываясь, карабкается по неприветливым кинотропам над бездной банкротств и непризнания, она разыгрывает традиционную историю Золушки, выполненную согласно добрым старинным канонам.

Молоденькая девушка в клетчатой мини-юбке и в огромных солнечных очках, обрамленных оправой в клетку, бродит по дискотекам ночного Нью-Йорка в поисках счастья и наклеивает на все стены собственный портрет. Ее зовут Рэн, ее зовут Золушка, ее зовут Сьюзен Берман — это уже в жизни, а не в кино. Сьюзен Берман исполняет главную роль в фильме "Осколки" другой молодой нью-йоркской девушки по имени Сьюзен Сейделман. И все так перепутано: где жизнь, где вымысел, где какая Сьюзен и кто из них

Золушка? Весь фильм Сьюзен Сейделман настолько дышит жизнью, так не отличим от нее, так завораживающе жизнеподобен, так точно сфокусирован, что порой трудно поверить в его принадлежность к категории кино художественного, а не документального. Актеры играют естественно, как дышат (они за время съемок не получили ни копейки), камера скользит по нью-йоркским трущобам с той легкостью, какая дается только большим трудом и бескорыстным вдохновением — оператор тоже не получил за время съемок ни копейки. История блужданий Рэн почти бессюжетна, это кусок ее неустроенной, нелепой биографии, вырванный по воле режиссера из общего потока существования.

За непритязательностью сюжета просматривается точно очерченное лицо “человека толпы” — Рэн ничего не умеет, ничего не делает, никого не уважает, но знает точно, чего хочет: славы, денег, сладкой жизни. Она жаждет встретить Фею, которая превратит ее — не кого-нибудь другого, а именно *ее* — в счастливую обладательницу всех благ, которые, — она в этом уверена абсолютно, — должны принадлежать ей по праву. На чем основано это право, ей неважно и неинтересно, — это право не связано в ее представлении ни с какими обязанностями, но она ни на секунду не позволяет себе в нем усомниться. Бездомная, голодная, давно не принимавшая душа, в рваных сетчатых чулках и серебряных пластиковых туфлях, сидит Рэн на пустыре и пишет красным спреем на обломках стены: “Рэн”. Эту надпись она обводит жирной красной чертой и направляет на нее со всех сторон красные стрелы: вот он центр мира, центр вселенной! Она мечтает вслух: “Я б хотела лежать в шезлонге на берегу плавательного бассейна в “Хилтон-Отеле” в Беверли Хиллз (самый роскошный район Лос-Анжелеса, где живет большинство кинозвезд) и раздавать автографы поклонникам”. Рэн не поет, не танцует, не рисует, она не стремится стать актрисой, — она не хочет выразить себя, она хочет только *получить*.

И все это снято в условиях почти фантастических: сегодня, когда бюджеты фильмов вздуты до десятков миллионов долларов (так фильм У. Битти “Красные” стоил 34 миллиона), ей удалось уложиться в смехотворную сумму — менее ста тысяч. Съемки производились в ночном метро по секрету от городских властей, так как нечем было заплатить за разрешение. Когда кто-то из организаторов фестиваля предложил Сьюзен представить фильм на внеконкурсный “выбор режиссеров”, она не могла дать согла-

сия: у нее не было денег ни на билет в Канны, ни на перевод фильма с узкой пленки на широкую.

Это было уже неважно; с этого момента вступила в действие всесильная машина сказки. Пока Сьюзен объясняла озадаченному представителю конкурса режиссеров свое бедственное денежное положение, — в манхеттенском ресторане, где он платил за ее обед, — за соседним столиком угощала своих клиентов известная специалистка по продаже фильмов Джой Перес. Ей-то и выпала роль доброй Феи: случайно подслушав слова Сьюзен, она вмешалась в разговор и выразила желание посмотреть фильм. Дальше все покатилось легко и весело по накатанной многовековой сказочной практикой колее головокружительной удачи: очарованная фильмом Д. Перес дала денег на перевод его на широкую пленку, конкурсная комиссия приняла его к официальному просмотру, жадные распространители бросились на новинку, как мухи на торт.

И, конечно, вездесущий "Международный экран" с веселым подвыванием ринулся в общий поток славословий: "Наиболее знаменательным явлением конкурса этого года можно смело назвать не последние ленты В. Герцога или А. Паркера, а свежий — с пылу, с жару — фильм никому до сего дня неведомой Сьюзен Сейделман "Осколки".

Так в одночасье поворачивается колесо Фортуны, меняя судьбы всех действующих лиц — и в надежде на нечто подобное суетятся вокруг заманчивого кинопирога тысячи неудачников, ждущих своего часа. Всех их, начинающих и отчаявшихся, опекает "Международный Экран".

И я тоже начинаю каждое утро с журнала "Международный экран": лихорадочно листаю страницы, составляя программу дня. Ведь каждые полчаса начинается просмотр по крайней мере пяти-шести фильмов в разных залах. Как же выбрать? Как не пропустить чего-нибудь важного? Врываюсь в Пале Фестиваля, хватаю все возможные билеты на конкурсные фильмы, пересматриваю снова программу и начинаю марш-бросок по залам внеконкурсных просмотров.

Первый зал — там совершенно пусто, никого кроме меня: идет советский фильм. Пытаюсь перетерпеть несколько минут: приятно все же, когда на экране звучит русская речь. Но какая игра! — Боже, неужели я когда-то разделяла общепринятое мнение о преимуществах советской актерской школы? Ведь слова в простоте не скажут, каждую фразу выдавливают изо рта, словно зубную пасту из тюбика: "Г-спада, помилуйте, г-спада, да что же

это?" — и глаза горе с драматическим придыханием. Дамы и господа из страны победившего хамства старательно разыгрывают предреволюционных дам и господ в фильме "Скачки"...

Не выдерживаю, да и времени драгоценного жаль, выскакиваю из мерцающей пустоты зала, и скорей — в соседний. Там сегодня венгры. Там тесно сидят бородатые люди в очках. Нахожу место во втором ряду, протискиваюсь, оттаптывая ноги сидящим, — никто не реагирует, венгров здесь воспринимают с почти молитвенным восторгом. На экране много голого тела, в основном женского, все „топлесс“, заглядываю в программу: Миклос Джанчо "Сердце тирана", судя по костюмам (тому, что от них осталось на героях) — костюмированная драма из прошлого. что дает венграм повод выразить свой протест против ханжества социалистического реализма средствами интеллектуальной порнографии.

Фильм не конкурсный и даже не внеконкурсный — ни "выбор критиков", ни "выбор режиссеров", просто рыночный фильм — нарочито стилизованный, я бы даже сказала — раздражающе-стилизованный и очень "венгерский".

Я пытаюсь сформулировать для себя, что я имею в виду, вводя этот термин, и упираюсь в проблему определения возраста национального киноискусства. Наличие собственного стиля — это первый признак зрелости, потому что, как ни странно, каждая нация проходит по дорогам кино свой путь развития от младенчества к старости, учась только на собственных ошибках, словно никаких Феллини, Антониони и Алленов Рене она и знать не знала. И возраст этот не определяется ни политическим режимом, ни экономикой, ни уровнем благополучия цивилизации: так, богатая культурная Бельгия никак не выберется из пеленок неуклюжего младенчества, а сомнительно-цивилизованный Алжир вдруг выдает подлинно-зрелый кинопродукт, конкурсный фильм "Песчаная буря".

К чести Венгрии приходится признать, что там кино давно достигло предпенсионной зрелости: все так определено, так четко очерчено, — методика, стилистика, выбор темы и ее решения, — как бывает только вдали от увлечений и порывов юности. Та линия интеллектуальной порнографии, к которой и относится фильм М. Джанчо, богата и шедеврами, и неудачами, — для нее характерна преувеличенная театральность изображения и сюрреалистическая изысканность сюжета. Следы этой манеры отчетливо проступают как во многих сценах оscarоносного "Мефисто", так и в погра-

нично-сходных картинах некоторых молодых немецких режиссеров, вроде Вернера Шретера. Интересно, кто на кого здесь влияет?

Охватив смысл происходящего на экране за десять минут, я спешу прочь, вновь оттаптывая ноги слегка поредевшим отрядам бородатых в очках.

В следующем зале опять почти пусто, — идет фильм норвежской режиссерки Вибекке Локеберг “Предательство”. Похоже, не только я, но и все остальное человечество оценило возраст норвежского кино не выше младшей группы детского сада, сохраняемый уже пару десятков лет, так что я мысленно отвожу на этот фильм не более десяти минут. Но кинолента слишком медленно ползет от одного сентиментального эпизода к другому, и я начинаю подумывать о сокращении десяти минут до семи, тем более, что героиня фильма — семилетняя девочка, а этот вариант уже обсосан многократно и всесторонне. Преждевременному моему бегству препятствует появление очередной группы бородатых в очках: перешептываясь и шурша программками, они усаживаются между мной и выходом. Пока я переживаю их вторжение, экран заполняют крысы: огромные, жадные, темносерые с розовыми глазками, пожирают они объедки на свалке. Вдруг — камень, с размаху разбивающий в кровавое месиво крысиное тельце, за ним другой, третий, целая лавина камней. И глаза девочки, следящие из окна за лихой атакой уличных мальчишек на крысиную армию. Сердце мое вдруг окатывает горячая волна узнавания — я случайно, без предупреждения наткнулась на клочок настоящего искусства, на удивительное создание человеческого духа — без притворства, без прикрас, без синтетических прослоек. И обсосанная со всех сторон тема жестокого мира взрослых, воспринятого глазами ребенка, поворачивается неожиданно и смело, открывая новые грани, рассказывая горькую обыденную историю семьи, состоящую из филигранной цепочки мелких ежедневных предательств. Самое удивительное, что горечь эта не оскорбляет и не подавляет, а с какой-то угловатой грацией убеждает нас продолжать жить и наслаждаться жизнью, пускай жестокой, пускай коварной, но от этого не менее захватывающей.

Этот фильм я досмотрела до конца — и все бородатые в очках, которые успели забежать в полупустой поначалу зал, тоже так и прикипели к своим креслам до последних скромных (сразу видно — фильм низкобюджетный, небось вся сумма набралась из одних государственных подачек, а на это даже в богатой Норвегии

не разгуляешься) черно-белых титров, чтобы прочесть еще раз имя режиссера — Вибекке Локеберг — и лишний раз подивиться наступлению женщин на всех фронтах искусства.

Согретая феминистским чувством, выбегаю на набережную Круазетт, мучительно раздваиваясь между острым чувством голода и столь же острым желанием успеть на японский фильм “Суть татуировки” — “выбор режиссеров”. Пройти по набережной трудно, проехать невозможно — огромная толпа уже поджидает начала торжественного шествия “избранных” на вечерний сеанс в Пале Фестиваля. Наверно, интересно увидеть на расстоянии вытянутой руки Альберто Сорди или Бриджитт Бардо, которая после десяти лет забвения вновь вынырнула на поверхность. Наверно, увлекательно на живых людях почти вплотную разглядывать фантастические туалеты с Рю д’Антиб. Но парад приглашенных на вечерний конкурсный просмотр в Пале — это еще и парад удачи, и тем, кто его замороженно созерцает, хочется верить, что удача так же заразительна, как и несчастье: стоит лишь коснуться баловня судьбы, вдохнуть воздух, который он только что выдохнул, и ты, бедный и невезучий, тоже вознесешься туда, где *только на цветы* можно в один вечер истратить миллион франков!

Но мне стоять и глазеть некогда, а то не будет места в зале “Мирамар”, где демонстрируется японский фильм. Место однако находится — между двумя бородатыми в очках. (Кстати, ни одного бородатого в очках в толпе зевак на набережной я не заметила: те, что теснились перед входом в Пале, были, похоже, какой-то другой породы.)

Говорят, что японец должен улыбаться, рассказывая посторонним о смерти матери или любимой жены, чтобы посторонние не подумали, будто он навязывает им свое горе. Говорят, что уважающий себя японец при малейшей обиде вспарывает себе живот особым ножом так, что все кишки вываливаются наружу, и испытывает при этом специфически японское удовольствие. И каждый японский фильм, который я вижу, снова и снова подтверждает этот поразительный миф о странностях японского национального характера, добавляя очередную каплю информации в непостижимое море этой странности. Главной пружиной японского киноискусства я назвала бы уродливо-прекрасный симбиоз эротики и садизма, неразрывно связывающий наслаждение со страданием. Если знаменитый фильм “Империя чувств” потряс западного зрителя убедительным рассказом о силе женской любви, побудившей героиню отрезать

гениталии своего возлюбленного в момент кульминации страсти, то фильм "Суть татуировки" обращается к проблеме искусства — но тоже через секс и страдание. Героиня фильма в доказательство своей любви желает покрыть собственную спину сложной многоцветной татуировкой, секретом которой обладает один-единственный мастер. Секрет этот заключается в том, что пока старик-мастер рассекает кожу клиентки и наполняет порезы едкой краской, она лежит в объятиях юного ученика, который непрерывно ласкает ее, чтобы отвлечь и возбудить сексуально. Старый мастер убежден, что только в момент высокого сексуального возбуждения татуировка получается воистину прекрасной. Ради этого убеждения, вернее ради искусства, из него рожденного, пожертвовал он своей любимой женой и единственным сыном, — ибо чем больше страдания, тем выше искусство. Все это было для меня чудовищным и завораживающим, — и медленное, почти статичное повествование, и нерукотворной красоты кинокадры, и птичья японская речь, обрамляющая музыкально эту красоту, и научно-фантастический ультрасовременный пейзаж сегодняшнего японского социального быта, поразительно контрастирующий с традиционной консервативностью быта индивидуального.

Так что войти в совершенно иную реальность следующего фильма, который я побежала смотреть, давясь на ходу черствым бубликом, купленным с лотка, мне сначала было вовсе непросто. Фильм был очень юношеский, почти любительский, искренний и неумелый, назывался он "Маленькие войны", и никакое пророческое чувство не подсказало мне, как мучительно я стану вспоминать его в ближайшие недели. Не было сладкого толчка в сердце: смотри, впитывай в себя эти лица, эти улицы, всматривайся в судьбы и тревоги героев фильма, — завтра твоя судьба насмерть пересечется с их, на этих самых улицах, среди этих развалин. Потому что это был ливанский фильм о жизни сегодняшнего, — нет, вру: сегодня уже вчерашнего — Бейрута, об отчаянии людей, затянутых в сеть нескончаемой гражданской войны. Мне хочется рассказать об этом фильме словами его режиссера, Маруна Багдади:

"В этом фильме я не пытаюсь ни воспроизвести войну в Ливане, ни объяснить ее. За те семь лет, что эта война идет, о ней слишком много говорили и писали, и слишком многие использовали наши страдания в своих интересах. Это фильм о "потерянном поколении" ливанцев, выросшем за время гражданской войны. Об изу-

родованных душах, об отчаявшихся, о потерявших себя. Фильм повествует о распаде социального согласия, о крушении либеральных иллюзий, о возвращении к племени, к клану, к роду. О превращении ливанского рая в ливанский ад”.

Каюсь, — я не досмотрела до конца этот фильм: слишком бесвязным был сюжет, слишком хаотичными сцены, слишком беспомощными попытки выразить некую неясную точку зрения. Но общее ощущение горькой искренности режиссера и актеров, пытающихся докричаться в пустоте до кого-нибудь, достучаться в чью-нибудь дверь, оставили след в моей душе. И след этот болит сегодня, он не затягивается корочкой, не заживает, — я каждый день вижу вновь и вновь на экране телевизора многократно простреленные улицы Бейрута, где ту же драму разыгрывают уже не актеры, а истинные участники событий.

Но это сегодня, пост-фактум, так сказать, а тогда, ничего этого не предвидя и не предчувствуя, я удрала за полчаса до конца ”Маленьких войн”, чтобы все же перекусить до начала полночного фильма, который был у меня намечен по программе. На набережную Круазетт я даже не свернула: я уже знала, что самый скромный бутерброд мне там не по карману, — вероятно, в цену включалось и зрелищное наслаждение, происходящее от созерцания нескончаемого парада осуществленных Золушек обоего пола.

Каннский фестиваль — одно из немногих мест в мире, где одинокая женщина может спокойно поужинать в самой захудалой забегаловке, не опасаясь ни хулиганов, ни назойливых приставаний. За хулиганами здесь зорко следит многочисленная полиция (третье место по численности, — после карманников и журналистов): ведь ей надо как-то оправдаться за нерасторопность в борьбе с ворами. А бородатые в очках, составляющие основную массу фестивальной публики, абсолютно замкнуты на себя через киноэкран. Жизнь на экране полностью заменяет для них жизнь реальную; каждый бородатый автоматически, не разбирая вкуса, подносил к мохнатому рту вилку с кусками аппетитного французского мяса, не отрывая глаз от разложенных веером программ, — каждый за своим отдельным столиком, каждый в своем мирке, прочно отгороженном программкой от всего остального мира. Время от времени один из них вскакивал из-за стола и, глядя в пространство невидящими глазами, устремлялся на четвертый этаж Пале: там рядами стояли пишущие машинки с буквами всех возможных алфавитов и оттуда денно и ночью раздава-

лось пулеметное стрекотание нарождающегося на глазах общественного мнения.

Мне тоже было не до еды, я наскоро заглотнула салат по-никозийски — самое дешевое из съедобных блюд, ибо Золушке в фазе ожидания Феи не положено ни командировочных, ни прогонных, — и рысцой побежала к намеченному кинотеатру: приближалась полночь. Не волнуйтесь, ничего не должно было стрястись: бой полных часов не обращал моих коней обратно в мышей. Это была не та полночь — это было всего лишь начало полночного сеанса: показ конкурсного венгерского фильма “Не такая, как все”, режиссера Каролли Макка. Фильм в каком-то смысле замечательный, хоть и страшно скованный, в чем-то несвободный — похоже, что скованность метит все создания стран соцлагеря, как бы ни вольничали режиссеры, метит независимо от качества, независимо от темы. А тема фильма “Не такая, как все” показалась мне достопримечательной даже на фоне всей одиозной фестивальной многоголосицы, она подтверждала высказанное мною раньше предположение о специфически-венгерском способе политического протеста — средствами интеллектуальной порнографии. Тему эту я могла бы кратко сформулировать, как “страдания молодого Вертера полесбиански”: героиня Макка “не такая, как все”, она не интересуется мужчинами, и драма ее — драма романтической неразделенной любви к другой женщине, соблазнение этой женщины, борьба за взаимность — завершается самоубийством. Правда, есть в фильме и слабая попытка связать необычность чувств женолюбивой героини с политическим свободолобием, но линия эта особенно страдает той скованностью, о которой я уже упоминала. Весь пафос этого политического протеста сводится к тому, что вопреки требованиям начальства, героиня, по профессии журналистка, пишет для своей газеты правдивую корреспонденцию, а затем, не дождавшись последствий этого своеволия, увольняется по собственному желанию. Этого слабого бунта достаточно “Международному экрану”, чтобы заявить, что фильм Каролли Макка “посвящен основным современным проблемам, как политическим, так философским, вдобавок к тому, что это воистину драматическая история любви”.

Всю ночь меня преследовали кошмары: давясь на бегу черствым бубликом, я вместе со стадом бородатых в очках металась по огромному сумрачному залу, где сотни пишущих машинок с алфавитами всех языков предавались лесбийской любви. Потому наутро, запивая головную боль кофе с круассаном, я приняла героическое

решение не суетиться между осколками внеконкурсных просмотров, а сосредоточить все силы на добыче билетов в Большой Зал (*Гран Саль!*) Пале, где размеренно прокатывали конкурсные фильмы, — торжественно, без спешки, с обширными перерывами для ланча, коктейля, ужина.

Повесив на себя все свои затянутые в целлофан пропуска, я отправилась за билетами. Пропусков этих у меня было всего два, оба с фотографиями, сделанными в разных мгновенных фотомашинах — на одной я выглядела восторженной романтической дурой, на другой прокишшей брюзгой неопределенного возраста. Фотографии распределили по пропускам без тени психологического подхода: романтической дурой украсили продолговатую карточку с черной надписью *"Рынок"*, брюзгу наклеили на квадратик, удостоверяющий мою принадлежность к суетливому братству бумагомарателей рыжим раскосым словом *"Автор"*. Увы, по неопытности и недалёковидности я не обеспечила себе самую лучшую, сизую бирку с диагональной надписью красным *"Пресса"* — именно это был *"сезам"*, отворяющий любые двери!

Но и сочетание моей скромной пары *"Автор—Рынок"* оказалось вполне пробойным: к началу первого сеанса я держала в руках билеты на три конкурсных фильма этого дня. Фильмы были декорированы громкими именами, — это был товар без дураков, не какие-то жалкие Золушки с нью-йоркской свалки: каждое имя стоило добрый десяток миллионов, а то и больше. Микеланджело Антониони, Вернер Герцог, Жан-Люк Годар.

Я вышла на Круазетт, чтобы удостовериться, что это не сон: вокруг меня бурлили Канны, со стен Карлтон-Отеля дюжиной улыбок сверкали звезды Менахема Голана и Иорама Глобуса, голые девушки на пляже покрывались гусиной кожей на морском ветру, толпы любопытных глазели на счастливичков, поднимающихся по лестнице Пале. А я шла среди этих счастливичков, сжимая в руке драгоценные билеты и потряхивая своими удостоверительными волшебными бирками, — продолговатую я приколола к вырезу блузки, квадратную — на пояс. В дверях меня охватил страх: сейчас не пустят! Ведь я-то знала, что все это сказка, что она каждую минуту может кончиться. Но никто ничего не заподозрил: служитель в отутюженном смокинге бегло глянул на мой билет, скользнул глазом по моим заветным биркам и вяло кивнул — и вот я уже внутри. Я опасливо оглянулась, — никто не гнался за мной, не требовал, чтобы я немедленно убиралась прочь с этого

пира избранных. Я опустилась в уютное тепло кресла, свет погас, замелькали титры: Жан-Люк Годар, "Страсть".

Я была так возбуждена, так упоена уникальностью этого переживания, что поначалу не заметила, как скучно развивалось действие на экране. В который уже раз смысл фильма сводился к тому, что режиссер на экране снимал кино. Для разнообразия на этот раз режиссер был поляк, а кино было по поводу искусства: оживление картин старых мастеров. Но эти уловки не спасали экранное действо — все было мертво и холодно, все было технично и равнодушно, и публика равнодушно зевала, не возбуждалась, но впрочем и не раздражалась. Некоторые бородатые в очках начали потихоньку выскальзывать из зала, сперва по одному, потом по двое, по трое, а ко второму часу потекли за дверь тоненькой равномерной струйкой. Действие на экране не стояло на месте, но и не шло ни в каком направлении, оно как-то бессмысленно топталось вокруг одних и тех же трех сосен: режиссер (в фильме) ожидал, пока установят свет, в процессе ожидания он заводил мелкие интрижки со всеми окружающими особями женского пола (слава богу, он не был склонен к однополю любви — этот трюк был припасен для следующего фильма), и какие-то девушки на соседней фабрике лениво бастовали, не выходя из цеха. Мне все не верилось, что так оно и будет: я продолжала ждать минуты озарения, но напрасно — на экране так ничего и не произошло. Когда, наконец, зажегся свет, в зале кроме меня почти никого не осталось.

Я вспомнила, как один молодой советский сценарист утверждал, что о скучных событиях надо писать скучно, — я понимала его логику, но никак не могла выяснить, чем может привлечь "скучное о скучном". Вероятно жюри Каннского фестиваля поняло этот принцип лучше, чем я: многие конкурсные фильмы оказались, на мой взгляд, вполне совершенным его воплощением, — они были восхитительно скучны! Так, второй в этот день фильм немецкого режиссера Вернера Герцога "Фитцкарральдо", протяженностью в два часа шестнадцать минут, может быть назван образцом напыщенной скуки. Но в отличие от скуки французской, основанной на жизнеподобии происходящего на экране, немецкая скука, как правило, склонна к театрализации самого дурного вкуса. Все так возвышенно, так напыщенно, так похоже на чеховского Паву с его "Умри, несчастная!" И сам замысел фильма поражает своей странной отрешенностью — не только от проблематики се-

годняшнего дня, но и от любой общечеловеческой проблематики вообще. В. Герцог выбрал такой крайний случай одержимости, который выбрасывает его за рамки нормального интереса.

Фитцкарральдо — нищий мечтатель, помешанный на любви к опере, — решил построить в джунглях Южной Америки оперный театр, где будет петь Карузо. Чтобы добыть денег на исполнение этого сколь грандиозного, столь же и абсурдного замысла, он осуществляет замысел не менее абсурдный, — нанимает пять тысяч индейцев, чтобы протащить через непроходимые джунгли большой (320 тонн) корабль, на котором он затем доплывет по реке до недоступных доселе каучуковых плантаций где-то в сердце Перу. В фильме "Фитцкарральдо" на протяжении двух часов шестнадцати минут пять тысяч индейцев тащат через настоящие непроходимые джунгли этот злополучный корабль — во всяком случае, так говорят те, у кого достало терпения эти два часа шестнадцать минут высидеть в зале. Каюсь, — я не вытерпела: по мере старательного высокотехнического накручивания скучного на скучное у меня начался знакомый по прошлому дню нервный зуд, и я постепенно стала вспоминать обо всех других соблазнах, которые предлагал мне в этот день Каннский фестиваль. Под ложечкой у меня сосало, на зубах оседала терпкая оскомина от напыщенной театральности К. Кинского, изображавшего Фитцкарральдо, и вдобавок ко всему я вспомнила, что через час кончается прием с коктейлями, даваемый в Яхт-Клубе израильским культурным представительством.

Стесняясь самой себя, я выскользнула из полупустого зала, твердо выдержала взгляд билетера в смокинге и вернулась к действительности, которая была по-прежнему празднично-многолюдна. Все столики дорогих кафе на набережной были заняты, веселые девушки в мини-юбочках торговали майками с разноцветным клеймом фестиваля, крикливые мальчики торговали засахаренными орешками по цене на вес золота, кавалькада автомобилей ползла черепашим ходом вдоль прибрежных пальм, и на этом фоне декламация героев Вернера Герцога казалась еще более неуместной. Я окончательно выбросила ее из головы, как только перешагнула порог внутреннего дворика роскошного Яхт-Клуба, где гортанно переливалась ивритская речь.

Все было, как в кино: журчали фонтаны, качались цветы на газонах, искрилось вино в бокалах, заходящее солнце окрашивало пурпуром пустые блюда из-под бутербродов с икрой и пирожных —

мои прожорливые соотечественники съели все до крошки, так и не допив вино. Они стояли живописными группками среди плетеных диванчиков и цветочных клумб, держа в занемевших пальцах почти нетронутые бокалы. Мужчины были в джинсах и пестрых рубашках без галстуков, как и положено израильтянам, но дамы! Честно признаюсь: там было на что посмотреть. Я насчитала полдюжины модниц в кружевных шортах самых поразительных цветов, еще полдюжины — в развевающихся балахонах с золотыми прошивками, туалеты остальных были подстать — кружевным шортам, цветочным клумбам, журчащим фонтанам и пестроте солнечных бликов.

Я не стала бы вспоминать об этом маленьком празднике красок, если б не случайная встреча, задевшая меня больше, чем можно было ожидать. Из Яхт-Клуба я опять поспешила в Пале, чтобы не опоздать на просмотр картины Антониони. До начала оставалось пятнадцать минут, времени прилично поужинать уже не было, а бокал вина, выпитый в Яхт-Клубе, только распалил чувство голода. Я решила подняться в кафе прессы на четвертом этаже Пале в надежде схватить там хоть какой завалявшийся сэндвич. В спешке я сбилась с дороги и поднялась вверх первым подвернувшимся лифтом, который неожиданно привез меня на самую крышу Пале, где я до сих пор ни разу не бывала. Сверху открывалась головокружительная благодать Каннской бухты, замыкающейся вилами Антибского Мыса, от солнца остался в небе лишь сиреневый полукруг облаков, и в их переливчатом отблеске в двух шагах от меня, чуть в стороне от входа, толпилась небольшая группа людей, странно непохожая на все, к чему уже привык мой глаз. Все были серые: светло-серые, темно-серые, черно-серые, ни одного цветного пятна. Все мужчины были в галстуках, все женщины в строгих воротничках и одинаково удлинненных, чуть ниже колен, мешковатых юбках. И все говорили по-русски!

Никто не улыбался, все стояли чинно и переговаривались приглушенно, словно сообщали друг другу государственные тайны; на длинном пластиковом столе выстроились опустошенные бутылки, за ними — пара ящиков еще непечатых, закуски не было никакой. Я тоже взяла в руку бокал, чтоб не выделяться, и стала бродить среди этой унылой толпы — кого они мне напоминали? Ага, поймала: кадр из фильма “Ленин в Париже”, из той его части, которая не в Париже, — самый скучный из всех фильмов фестиваля. Я, правда, смотреть его не стала, но никто другой тоже не пы-

тался, — я специально заглянула в зал, чтобы проверить: там было абсолютно, восхитительно, стопроцентно пусто.

Я вспомнила разнообразие невыпитых бутылок на израильском приеме, чего только там не подавали: коньяк, джин, вермут, виски, разные соки, колу! А здесь был всего один сорт, кисловатое белое вино, боюсь, грузинское или молдавское — привезли, небось, с собой для экономии из страны победившего социализма. Что с них взять — великая ядерная держава, у нее другие расходы!

Одна дама цветным пятном выделялась на общем фоне, плечи ее покрывала золотистая ажурная накидка из другого мира (позже оказалось, что она гостя из братской Народной Демократии — вот и весь секрет), и потому я осмелилась ее о чем-то спросить. Она так и вскинулась в изумлении: “Вы говорите по-русски!” Мне-то казалось, что я как все, раз я все по-ихнему понимаю, но тут я взглянула на себя со стороны и стало мне смешно. Я уж не говорю о том, что форма моего носа и глаз сразу начисто исключала возможность моей принадлежности к советской делегации в любом качестве, но глаза эти и нос были к тому же украшены очками в золотой причудливой оправе вразлет от Кристиана Диора. Мой многолетний средиземноморский загар ничуть не скрывался экстравагантным — по меркам приема на крыше, хоть и сверхскромным с точки зрения приема в Яхт-Клубе, — ансамблем из разнотонных лоскутков зеленой ткани, оттороченных кружевами трех оттенков зеленого, который держался на голых плечах при помощи узеньких — не шире ботиночных, — шелковых шнурков. А я-то воображала, что могла бы сойти за свою, пока кружила среди их скудного застолья экзотической зеленой бабочкой! Я вдруг в ином свете увидела их постные лица без улыбок и неожиданно для себя пожалела их всех оптом — стукачей и отступников, тех, кто продает душу дьяволу, и тех, кто служит посредником при сделке, — пожалела, хоть знала, что они в своем кругу счастливики, баловни судьбы. Потому что среди них я была удачница, Золушка на балу, с той только разницей, что мне не следовало бояться полночного боя часов.

Но посмотреть на часы было очень даже кстати — и я обнаружила, что до начала фильма Антониони “Поиски женщины” осталась одна минута. Так как я уже не доверяла предательскому лифту, который привозит нивесьть куда, я в течение этой минуты успела скатиться вниз по лестнице, проскочить мимо билетера в смокинге и найти пустое место в переполненном зале.

Свет погас, и человек с чемоданом пошел по лестнице вверх.

Он шел очень долго, — так долго, как может идти на шестой этаж не слишком юный человек с тяжелым чемоданом. Когда он останавливался, чтобы передохнуть, камера тоже останавливалась и любезно показывала нам все лепные завитушки лестничного пролета. Наконец он дошел до своей двери и долго рылся в карманах в поисках ключа. Пока он рылся, камера совершила назидательную экскурсию по крышам соседних домов и по завитушкам над старинным окном. Когда он открыл дверь, мы вместе с камерой долго изучали детали обстановки его квартиры, и в сердце мое начало закрадываться опасение, что и фильм Антониони окажется скучным.

А он был скучный. Правда, не такой пустопорожний, как “Страсть” Годара, и не такой безвкусно-напыщенный, как “Фитцкарральдо”, но вся его проблематика была высосана из пальца и выдавала растерянность его создателя. Критика утверждала, что в последнем своем фильме знаменитый мастер отказался от обычных для него поисков высшей красоты, но он не предложил нам ничего взамен. Возникало ощущение, будто Антониони потерял связь с реальностью и наощупь бродит по лабиринтам страшного чудища по имени Современность без всякой надежды на ариаднину нить.

Вы будете смеяться, но героем фильма был очередной режиссер, который собирался снимать очередной фильм. Хотелось крикнуть: милые мои, вы что — помешались? Или в жизни нет других забот, кроме творческих мук режиссеров, снимающих кино? Казалось, будто европейское киноискусство замкнулось само на себя: режиссер снимал кино о том, что режиссер снимал кино о том, что режиссер снимал кино..., и так до посинения, до отмирания всех чувств. Если говорить о возрасте киноискусства, то этот факт можно включить в синдром старческого маразма.

Мне даже неохота пересказывать сюжет фильма “Поиски женщины”, так он несущественен и зыбок: все в нем хочется подвергнуть сомнению, — драматические коллизии, мотивацию поступков героев и даже сам факт совершения этих поступков.

Конечно, я не ушла с фильма Антониони — это было бы слишком, ведь в прошлой моей московской жизни я пожертвовала бы многим за возможность попасть на фестивальныи просмотр. Но выйдя из зала в толпе бородатых в очках, я мысленно взмолилась словами любовника мадам Коти, жены производителя лучших в мире духов, проведшего ночь в шкафу с образцами продукции

ее мужа. Вывалившись оттуда в полуобмороке, он прошептал посиневшими губами: "Мадам, умоляю, — кусочек дерьма!"

Обескровленная обрушившимся на меня за один день водопадом скуки, душа моя жаждала дерьма. Что ж, на фестивале с дерьмом все было в порядке: здесь его было сколько угодно, на любой вкус. Можно было посмотреть фильм ужаса, фильм про вампиров, сосущих кровь, как говорится, из горла, можно было забежать на садо-мазохистское или гомосексуальное порно, можно было насладиться развесистой клюквой про КГБ.

Обдумав все предложенные на полночный сеанс варианты, я выбрала комедию, успевшую уже приобрести скандальную известность в кругах бородатых в очках. Чтобы объяснить причину этой скандальности, я процитирую всеведущий "Международный экран":

"Вообще-то это вовсе не про людоедство", — так режиссер Поль Бартель пытается защитить свой фильм "Поедая Рауля" и добавляет смущенно: "Впрочем, там в конце, и про это есть немножко".

Действительно, прямо про людоедство в комедии не так уж много: в финале мы смеемся, когда герои фильма угощают делового гостя отличным жарким, приготовленным из их бывшего компаньона Рауля, а где-то в середине смеемся, когда малолетняя дочь одного из второстепенных персонажей с аппетитом ест поджаренную собачью пищу: мы-то знаем, что предприимчивый Рауль продает фабрике, производящей эту пищу, тела всех убитых его милыми компаньонами клиентов. Во всех остальных случаях мы смеемся просто по поводу убийства, причем веселье прямо пропорционально количеству убитых враз: особенно было смешно, когда герой бросил электрический фонарь в бассейн, полный голых сексуальных маньяков обоего пола, и их всех вмиг убило током. Вот была потеха!

Вкус этого жаркого из Рауля, политого пикантным соусом, все еще стоял у меня в горле, когда я в последнее свое Каннское утро осознала, что время мое здесь истекло, а Французской Ривьеры я так и не повидала. Я не съездила на поезде в Сан-Тропе, не поглядела из окна автобуса на Биарриц, не смоталась на катере в Жуан-Ле-Пэн. Я прокружилась неделю по залам фестиваля, полностью забыв о жизни реальной ради призрачного мелькания теней на экране. Но и тут я достигла немногого: почти всю дорогу в аэропорт я, загибая пальцы, считала фильмы, которые должна была посмот-

реть, но не успела. Пальцев на руках явно не хватало, но я могла свободно использовать пальцы одной ноги, так как предусмотрительно оставила туфельку на пороге своего скромного отеля на улице Команар Андре. Я все еще надеялась, что Принц пустится в путь вслед за мной. Для этой надежды у меня была маленькая зацепка: Фея, приняв облик солидного бородатого мужчины в очках, никому не представившись, явилась на просмотр моего со Славой Чаплиным фильма. Назавтра она в том же облике предстала перед моим продюсером и назвалась директором Международного фестиваля в Монреале Сержем Лазиком. Помахивая перед нашими очарованными глазами невидимой волшебной палочкой она (он) пригласила нас принять участие в фестивале, уже не на



птичьих правах, а в официальных рамках. (Я была бы счастлива, если бы кто-нибудь объяснил мне, что это значит.) В тот же день я нашла в "Международном Экране" статью о Серже Лазике: не открывая широкой публике секрета его потусторонней сущности, журнал просто рассказывал читателю, что Лазик сделал себе имя в кинемире, отыскивая никому до него неведомые шедевры. Дальше шел перечень открытых Лазиком фильмов, которые впоследствии прославили себя, его и его фестиваль. Оставалось только проверить, не ошибся ли он в нашем случае. Что ж, я надела фартук, надвинула на сбившуюся прическу чепчик, вымазала щеки и кончик носа золой и приготовилась ждать августа, покормив на всякий случай мышей: а вдруг им придется тащить в Монреаль мой ящик с грязным бельем, наспех превращенный в карету...

А пока что меня ждал перелет в Тель-Авив, вполне прозаический перелет над Средиземным морем без участия потусторонних сил. В зале ожидания я оказалась рядом с немолодой американской четой. Судя по всему, они владели небольшой кондитерской или фотографией в Бруклине или Квинзе. Растянув в улыбке отлично выстиранные в стиральной машине, но не отутюженные щеки, моя соседка спросила, как я провела свой отпуск на Ривьере. Я ответила, что была не в отпуске, а в Каннах на фестивале. Щеки мои при этом вспыхнули, сердце зашпешило и я уже мысленно приготовила ответ на ее предполагаемый вопрос: так, скромно, без нажима — привозила фильм, ничего, спасибо, неплохо, приглашены на Фестиваль в Монреаль. И тут она воскликнула: ах, как интересно!

Но ее вопрос прозвучал совершенно неожиданно:

— В Каннах? А что там за фестиваль?

Я опешила:

— Кинофестиваль... Знаменитый... Уже тридцать пять лет...

Американка затрясла уложенными в парикмахерской волосами:

— Каннский кинофестиваль? Никогда не слышала! — и обратилась к мужу:

— Исаак, ты слышишь, говорят — в Каннах был какой-то кинофестиваль!..

Только совершенно невинным людям не бывает страшно. Едва подписав контракт о выпуске песен Булата Окуджавы, я уже была насмерть перепугана надвигающейся расплатой — встречей с ним самим. Так сказать — лично. Я заранее чувствовала: пластинку напою — и мы увидимся. Это случилось в мае этого года. Окуджава приехал в Париж. Друзья из “Континента” организовали концерт. Он — в зале, я — на сцене. Я пою, он слушает, а могли бы и наоборот... жизнь заставила. До концерта мы провели вместе минут пятнадцать — шли пешком к концертному залу. Всю дорогу я сбивчиво извинялась: мол, если что не так... поймите мое состояние... Страх перед его судом тошнотным комом стоял в горле, и я все калялась и объяснялась, пока он не сказал добродушно, что все обойдется, вы спойте то-то и то-то, мне это больше всего нравится, а начните так, мол, и так. Я затихла и открыла рот уже на сцене. Он оказался абсолютно прав — все обошлось. После концерта Окуджава подписывал мои пластинки, утомился, и мы это дело отметили в небольшой компании. Я улучила момент и взяла интервью для нашего журнала. Но о политике, чур, ни слова. А и не надо... Вместо нее — два новых стихотворения, нигде еще не опубликованных.

*Лариса Герштейн*

**РАЗГОВОР  
С БУЛАТОМ ОКУДЖАВОЙ**

Окуджава: Так, понеслись, да?

**Я: Мне задавать вопросы или вы сами будете говорить?**

— Вопросы, я очень люблю вопросы...

**— Вы снисходительны к тем, кто поет ваши песни?**

— Нет, не всегда. Мне это приятно, но когда поют по-русски, я улавливаю несовершенства исполнения. А когда на иностранном языке поют, тут я полностью отчуждаюсь... Вот вы пели мои песни на иврите, да? Это было замечательно, я не имею тут никаких претензий. А про русский вариант я всегда могу сказать: вот в этом месте меньшая театральность нужна, а в этом месте лучше было бы проще или примитивней, понимаете?

**— Но ведь честный исполнитель — вы знаете, что делает, скажу вам откровенно? Ведь он их присваивает, ваши песни.**

— То есть?

**— Ну, вроде она уже не ваша, а как бы моя. Я, например, чуть не год обживаюсь в каждой песне, прежде чем спеть ее в концерте.**

— Потому у вас и получается...

**— А потом вы говорите: "У меня претензии".**

— Если говорить честно, то единственно к кому у меня были серьезные претензии, так это к Жанне Бичевской. Когда-то она пела мои песни, и я ей совершенно серьезно сказал, что мне не нравится. Это был единственный случай. Почему? Она талантливая, у нее неплохой голос, она музыкальная — ну, все это. Но она пела мои песни в стиле "кантри". Ну какое отношение мои песни имеют к этому стилю? Так же как сейчас она русские народные песни поет под Джоан Бааз. Понимаете?

**— Я слышала Бичевскую. Она привычно пытается спеть иначе, это интересно, но не натурально. И потом она замечательно играет на гитаре — редко кто так играет, — ну, и увлекается: показать технические возможности...**

— Может быть, да мне-то что? Ну, играет. Я с ней говорил, она спорила со мной. Нет, говорила, я мастер, я знаю... Но в результате она перестала петь мои песни, потому что я уже публично, когда меня спрашивали, как я отношусь к Жанне Бичевской, говорил, что она человек талантливый, но вот такая вот... Ну, до нее это дошло, и она была очень даже раздражена...

**— Практически любую вашу песню на музыку, написанную не вами, можно сразу отличить, вы знаете? Каково ваше отношение к этим песням?**

— Многие пытались писать на мои стихи и не получалось. То есть, музыка-то была замечательная, но...

— **Не происходило совпадения?**

— Не происходило. Вот с Блантером был замечательный случай. Блантер мне позвонил и говорит (знакомы мы не были): вот, я хочу с вами познакомиться, мне надоело писать всякие казачьи песни, я читаю ваши стихи, мне хочется написать на ваши стихи музыку. Я говорю — сделайте одолжение, я буду счастлив. А что вы выбрали? Он говорит — я выбрал вот пять стихотворений — и назвал. И все оказались старыми песнями. Я говорю: вы знаете, к сожалению, ведь давно уже и музыка есть, говорю, и поются. Это неважно, — говорит Блантер, я — профессиональный музыкант. Ну, пожалуйста. Через два дня он позвонил, счастливый очень, сказал: я написал гениальную музыку, приезжайте слушать. Хорошо... Мы с Олей поехали... Приехали, он был страшно счастлив, сел за рояль, начал играть и петь... очень вдохновенно. Действительно, музыка очень интересная, не блантеровская, такая сложная... интересная такая музыка, никакого отношения к словам не имела, ни-ка-ко-го, он совершенно ничего не понял, абсолютно. Ну, вот... Мне его жалко было, я ему сказал, что да, по-моему, это хорошо. Ну, он так был счастлив, — я не мог ему сказать правду... Тогда Блантер со страшной энергией выпустил пластинку этих своих песен на мои стихи, взял Хиля... Знаете?

— **Ну как же, помним-с.**



— Ну вот, Хиль, знаете ли... Вот, к примеру, "Последний троллейбус" — все-таки печальная песня, да? Он пел со счастливой комсомольской жизнерадостностью, понимаете? Потом Блантер еще устроил в Доме Литераторов вечер, меня пригласили тоже, как автора стихов... Я пришел. Публика собралась писательская, которая давно уже меня знает, как облупленного, уже слышала тысячи раз мои песни, а тут услышала его музыку... Его приняли очень холодно, не было почти никаких аплодисментов. Он жутко на меня разозлился после этого почему-то...

— Почему на вас?

— Да вот так... и мы прервали отношения после этого. Да... Так что многие писали и всякое — но есть только Изя Шварц, вот он иногда на некоторые слова мои пишет, причем никогда на то, что у меня уже есть с музыкой, и многие говорят, что он как бы от меня идет. Единственный, кто может...

— Вы отказываете композиторам, когда у вас просят стихи для песен?

— Так ведь не спрашивают. Берут и делают, а я — что я могу? Но вообще мне нравится, когда есть музыкальное оформление.

— Это из-за того, что вы на гитаре очень просто играете — вот вам все кажется гораздо проще, если все наполнено аккомпаниментом...

— Это правильно, откуда вы догадались?

— Уж и догадалась! Просто после записи с хорошим гитаристом, я сама некоторое время с трудом выступала одна, все было не так...

— Скажите, а у вас будет какая-нибудь возможность переслать мне песни, где вы поете меня на иврите? У меня хорошая аппаратура... Я включу и буду слушать... Как они переводятся на иврит?

— Почти дословно. Но это полдела — они и интонационно очень совпадают.

— Но звучат хорошо!

— Очень!

— Вот! Самое главное!

— А сейчас вы больше не пишете песен?

— Я восемь лет не писал. Совершенно. Стихи то есть. Совершенно не писал. И вот сейчас, в декабре, я вдруг впервые стал писать стихи снова. Что получится, я не знаю. Буду ли дальше писать сти-

хи, получатся ли песни — не знаю. Вообще-то мне хочется, но у меня просто не получается.

— Булат Шалвович, может, вы прочтете какое-нибудь стихотворение?

— Прочту. Ну, вот такое, из новых, я написал такие стихи, они называются "Прогулки фраеров". Это по аналогии с романом моим последним, "Путешествие дилетантов", кто-то, кажется, сострил, что если бы это было на современную тему, то нужно было бы назвать "Прогулки фраеров", а не "Путешествие дилетантов", в том смысле, что "фраер" — это интеллигент в представлении уголовного, да? Ну, вот:

По прихоти судьбы, разнощицы даров,  
В прекрасный день мне откровенья были.  
Я написал роман "Прогулки фраеров",  
И фраера меня благодарили...  
Они сидят в кружок, как над огнем святым,  
Забывшее людьми и Богом племя,  
Каких-то горьких дум их овеивает дым,  
И приговор нашептывает время.  
Они сидят в кружок под низким потолком,  
Освиистаны их речи и манеры,  
Но вечные стихи затвержены тайком,  
И сундучок сколочен из фанеры.  
Наверно, есть резон в исписанных листах,  
Затверженных местах и в горстке пепла.  
О, как сидят они с улыбкой на устах,  
Прислушиваясь к выкрикам из пекла.  
Пока не замело следы на их крыльце  
И ложь не посмеялась над судьбою,  
Я написал роман о них, но в их лице  
О нас, ведь все, мой друг, о нас с тобою.  
Когда в прекрасный день разнощица даров  
Пришла в мой тесный двор, пройдя дворами,  
Я мог бы написать, себя переборов,  
"Прогулки маляров", "Прогулки поваров",  
Но по пути мне вышло с фраерами...

— Спасибо. Вы все же пишете. Люди старые песни любят, но ждуют...

— Мне и самому хочется. Я сейчас выступаю в Москве раз в год, публика сбегается со страшной силой, как будто в первый раз, хотя знают все, что будет то же самое... но абсолютно никаких претензий, ничего, и слушают то же самое, приевшееся...

— Значит, не приевшееся...

— Мне самому ужасно хочется вдруг взять и исполнить пять новых песен Окуджавы... Скажите, а почему вы взяли именно за меня?

— Импрессарио настоял. Он из русских песен знает только "Калинка", "Катюша" и "Окуджава". Так он мне сказал: сначала русские песни будем делать, "Окуджава". Я говорю, не могу, русский рынок завален: и сам поет, и другие поют. А он говорит: тогда контракт не подписываем. Подумайте — маленький, кучерявенький, выходец из Марокко, деловой человек, рынок знает: "Окуджава"!..

— Но вот когда-то давно, я слышал по "Голосу Израиля" свою песню на иврите...

— Десять лет назад у нас был ансамбль из четырех человек, они пели песни русских бардов, но потом кончились, исчезли. Теперь монополия моя.

— Да, многие песни в ансамбле звучат сильнее, я уже проверял. Поляки, например, пели — ух, как это было! Вы это тоже очень хорошо поете — "Когда внезапно возникает..." Они в нее и свое что-то внесли, они ее ликуя поют... Нет, там не все удачно, не все, но там один старый артист, Людкевич, поет "Молитву Франсуа Вийона" — это просто... ну, не передать... И ведь он не умеет петь, он драматический актер, а вот...

— Я тоже знаю одного человека, который вашу песню "Батальное полотно" поет совершенно восхитительно — это моя восьмилетняя дочь Гуля. Она так отрывисто странно поет, и точно выходит: "Где-то под ногами да над головами лишь земля и небо..." Кстати, эта самая песня как раз и на конверте моей пластинки. Я дама еврейская, простого происхождения, многотысячелетнего... Ну кто ж я там в песне? Флигель-адъютант?.. Генерал?.. Поэт? Красавица? Дуэлянт? Все не то. Нет, я — белая лошадь. Ведь мне надо было как-то к этой песне пристроиться, а я и не эмигрантка даже, а вовсе наоборот... Вот и вышло, что я белая лошадь...

— Забавно... Тогда я вам с в о е стихотворение прочту:

Я выселен с Арбата, арбатский эмигрант,  
 В Безбожном переулке хиреет мой талант.  
 Кругом чужие лица, враждебные места,  
 Хоть сауна напротив, да фауна не та.  
 Я выселен с Арбата и прошлого лишен,  
 И лик мой оккупантам не страшен, а смешон.  
 Я выдворен, затерян среди чужих судеб,  
 И горек мне мой сладкий, мой эмигрантский хлеб.  
 Без паспорта и визы лишь с розою в руке  
 Слоняюсь вдоль незримой границы на замке.  
 И в те, когда-то мною обжитые края  
 Все всматриваюсь, всматриваюсь, всматриваюсь я.  
 Там те же тротуары, деревья и дворы,  
 Но речи не сердечны и холодны пиры.  
 Так так же полыхают густые краски зим,  
 Но ходят оккупанты в мой зоомагазин —  
 Хозяйская походка, надменные уста,  
 Ах, флора там все та же, да фауна не та...  
 Я эмигрант с Арбата, живу, свой крест неся.  
 Заледенела роза и облетела вся.

## ЛАРИСА ГЕРШТЕЙН

## ПЯТНАДЦАТЬ ПЕСЕН БУЛАТА ОКУДЖАВЫ



Хорошее отношение всегда приятно. Особенно к твоей работе. Я всегда относился к исполнителям моих песен с сердечной признательностью, если даже их исполнение не удовлетворяло меня, ибо многие либо копировали мое исполнение, либо превращали простые дворовые песенки в сложные драматические произведения перенасыщенные ложной многозначительностью. Лариса Герштейн сумела найти свой путь, не зачеркивая меня. Видимо моя работа ей действительно интересна.

Буллат Окуджава

Заказы и чеки направлять по адресу:

P. O. B. 44050 Tel-Aviv, Israel  
 Цена пластинки — 8 долларов

Анри Волохонский

СТОПАМ ТВОИХ КУКОЛ \*

*Ире Райхваргер*

Свальный грех одиночества тем нехорош,  
Что для многих — один. Знаменитый печально  
Сам Нарцисс одурев от растительных рож  
Идеал свой оплаканный первоначальный —  
Эхо — было, как сам поминая как звал.  
От реки — самовар, от земли — самосвал  
И подобные лики души самостийной  
(Поперек естества в страженьях — двойной)  
Соответственно собственной сути стихийной  
Увлекаемы телом природы иной  
От одной просто жалостной этой причины  
Восстают из себя и меняют личины.

Пусть махровая стать из бутона в чулке  
Распускалась на ветер стопою из злата  
Да ладонь заплеталась о голень в руке  
Прорастая предплечьем от локтя до пяток  
Пусть качаясь взлетал по лядвеи бедром  
Как подсолнух межбедрия аэродром  
Приземляться на взлетную тропку со звоном  
В платонический пух полигоном зеленым  
В лепестки, где трепещут желтея подряд. —

Но тугие обличья хлопчатых дриад  
Не сулили, казалось, ушедшего лета  
Возле метаморфоз насекомых балета.

---

\* "Куклы Иры Райхваргер" "22" № 24.

Чешую со щек вся нагая от ласк  
(А под маской другая такая же маска  
А под маской другая такая же маск-  
а, — Под маской другой но такую же маской —  
За летящей в стекле, за личиной сухой  
И прозрачной, раздевшись от ласк шелухой)  
Вся нагая от ласк, как в индийские ткани  
Облачая меж ласками пляшущий стыд,  
Смотришь — дева над девой за девой летит  
И летит и бока заслоняет боками.

И другая кружится у той по пятам,  
Торжествуя над башней величием кладки,  
Да скатились со славой манящим их там  
Всенародные яства блестящи и сладки —  
Словно "Сим победиши!" сияет сия:  
О какая гордыня во взоре ея!  
Так глядят в эмпирей с ледяного помоста  
Где слышна лишь валькирии ломкая поступь.

По какой, повтори, дорогая, любви —  
По симпатии верной иль страсти полдневной? —  
Белокурое Эхо окликнуть зови  
Молью бледных невест? богомолем-царевной?  
Саранчой в горностах? тупым мотыльком?  
Глупой бабочкой? белым крылатым хорьком? —  
Что сосущей натурой цветов и пророчеств  
Наполняет утробу своих одиночеств...

И как мягкие лампы их в дым фонари  
Озаряют шарами круги просветленья  
От любви — чтобы: Ветхим Заветом гори! —  
Станцевать в одиночество свального тленья.

Тем кто алчет на россыпях хлеба нигде  
Чтобы в муках от жажды утечь из-под ливня  
Вот колено Тантала по зубы в воде  
А на белом плече — клык слоновьего бивня  
Кто от смерти незрячей любви поддавал  
Что за варево! — если богам подавал.

Лето 1948 года мы прожили под Москвой, на даче в Ильинке. Маркиш был сильно утомлен, заметно постарел за этот страшный год: погиб Михоэлс, начался разгром еврейской культуры. Я настаивала на том, чтобы он поехал отдохнуть в Кисловодск. Маркиш всячески противился, не хотел, но я все же добилась своего, и он уехал — как всегда, с портфелем в одной руке и с пишущей машинкой — в другой.

Он был в Кисловодске, когда власти закрыли издательство "Дер Эмес". Это произошло 17 ноября. В этот день работники издательства, как всегда, пришли на работу в ветхий дом в Старопанском переулке. В типографии работали линотипы, в кабинете директора издательства Израиля Стронгина шло очередное заседание... И вдруг — как в кинофильмах о гитлеровских временах — подъехали к издательству грузовики с эмгешниками. Солдаты в штатском ворвались в типографию и отключили машины. Типография стала, наступила тишина.

— Ваше издательство закрыто! — объявил кто-то из погромщиков. Вслед за тем они поднялись на второй этаж, разогнали редакторов, приказали Стронгину подготовить "ликвидационный акт".

С закрытием издательства у Маркиша не осталось никаких

*Эстер Маркиш*

### КАК ИХ УБИВАЛИ

(к 30-летию казни  
советских еврейских писателей)

надежд. Он понимал, что наступает конец — дело было только во времени — в днях или, в лучшем случае, в месяцах.

Декабрь прошел словно бы в предгрозые. Люди боялись общаться друг с другом, боялись говорить. Еврейский театр гастролировал в Ленинграде, Биньомин Зускин — после убийства Михоэlsa ставший руководителем театра — лежал в больнице: его лечили сном, он спал уже несколько недель. В Москве, в театре, осталось несколько актеров, не занятых в гастрольных спектаклях, да кое-кто из администрации.

22 или 23 декабря в театр вдруг приехал Ицик Фефер. Он был не один — с ним прибыл один из самых страшных после Сталина людей в России — министр государственной безопасности Абакумов. Они прошли в бывший кабинет Михоэlsa — там был оборудован временный музей. Закрывшись в комнате, Фефер и Абакумов что-то искали, перебирали бумаги и документы...

В ночь с 24 на 25 декабря Ицик Фефер был арестован в своей московской квартире. В ту же ночь забрали Зускина — из больницы, спящего, завернутого в одеяло. Проснуться ему было суждено на Лубянке.

Задолго до 31-го мы согласились встречать Новый Год под Москвой, в доме маршала связи Ивана Пересыпкина и его жены Розы. Мы были дружны с Розой — она сумела сохранить свое еврейство в высших сферах советской военно-правительственной верхушки. Что касается ее мужа, маршала Ивана Пересыпкина — то это был честный и смелый человек, не зараженный антисемитизмом.

Домой мы вернулись на рассвете. На нашей лестничной площадке, у окна, стояли два агента МГБ...

С того дня агенты всегда стояли у дверей квартиры, другие ходили за Маркишем по пятам. Числа десятого Маркиш в последний раз пошел в Союз Писателей — там переизбирали Правление. Кто-то в Президиуме поднялся, прочитал письмо Бориса Горбатов, который просил снять его кандидатуру: он считал себя недостойным быть в Правлении, в связи с тем, что за сутки до выборов была арестована его жена — популярная киноактриса Татьяна Окуневская. Маркиш вернулся домой подавленный.

19-го утром позвонили по телефону:

— Заболел Нусинов...

По телефону боялись говорить "арестован", говорили — "забо-

лел". Весь день девятнадцатого нам звонили знакомые и незнакомые, спрашивали — здоров ли Маркиш?

23-го утром хоронили поэта Михаила Голодного, сбитого — или убитого? — правительственной машиной на одной из московских улиц.

В ночь с 23-го на 24-ое арестовали Давида Бергельсона и Лейба Квитко. Надежды не оставалось никакой. Маркиш попросил нашего старшего сына Симона упаковать рукописи романа "Поступь поколений", последнего сборника стихов и поэмы "Сорокалетний". Симон упаковал, написал на папках — "Мой архив" и положил в свой письменный стол...

Я слегла — нервы не выдерживали напряжения. В доме не убрали, не готовили обед.

27-го Маркиш забрал у Симона папки с рукописями. Потом, освободив от случайных вещей дорожный портфель, аккуратно поместил туда папки с рукописями.

— "Сорокалетний" — лучшая моя вещь, — сказал Маркиш. — Я хочу, чтобы вы ее сохранили.

Часов около девяти пришла двоюродная сестра моей матери.

Около двенадцати она вошла с Маркишем в кабинет. Маркиш молча подал ей портфель с рукописями, и она немедленно вышла из квартиры. Лифт был занят, мамина сестра не стала дожидаться и пошла вниз пешком. Не успела она миновать первый пролет, как лифт остановился на нашем этаже.

Маркиш, проводив гостью до дверей, вернулся в кухню. Я одна услышала слабый звонок, но не нашла в себе сил подняться или позвать кого-нибудь. Тогда в дверь заколотили кулаками. Маркиш открыл и почти тотчас вошел в кабинет — уже в пальто, в шляпе, в кашне, переброшенном через плечо. Вслед за ним ввалились семь эмгешников, одетых поверх военных костюмов в штатские пальто с серыми каракулевыми воротниками, в шапках-ушанках, отороченных серым каракулем.

Увидев их за спиной Маркиша, я вскрикнула.

— Ну, что вы! — сказал один из офицеров. — Вашего мужа наш министр вызывает на собеседование.

Маркиш заглянул в комнату, где спал наш младший сын, маленький Давид, и вернулся в коридор. Там бросился ему на шею наш старший — Симон. Я тоже поднялась с постели, выбежала.

— Тихо!.. — Сказал кто-то из офицеров. — Чтобы вам не

было страшно, с вами посидит один из наших людей... Муж скоро вернется!

Шестеро вышли вместе с Маркишем, седьмой остался с нами. Расположившись в кабинете, он сказал:

- Пускай все соберутся в этой комнате.
- Младший ребенок спит, — сказала я.
- Ладно, не трогайте его, — сказал надзиратель. — Пускай спит.

Часа через три снова хлопнула дверь лифта. Теперь эмгешников было четверо. Эти уже не успокаивали, не извинялись за беспокойство, а просто предъявили ордер на арест Маркиша и на обыск и тщательно, плотно запахнули шторы, — чтобы с улицы не видно было, что происходит в квартире.

Обыск начали с книжных шкафов: книги вываливали на пол, и каждую внимательно просматривали — вплоть до пролистывания страниц. Потом взялись за домашние вещи: каждый предмет тщательно прощупывался, простучивался или подпарывался. Один молодой эмгешник усердствовал особенно: выкручивал лампочки из патронов, разбирал на части настольные лампы, в кухне заглядывал в чайники и кастрюли.

Наступило утро и начались телефонные звонки. Нам запрещено было подходить к телефону. Подполковник снимал трубку и отвечал:

- Его (или ее) нет...

К полудню остался неразобранным только архив Маркиша. Подполковник отпустил своих людей, остался с помощником и, переходя из комнаты в комнату, продолжал что-то искать. Наконец, он обнаружил в ванной комнате, на антресолях, чемодан со старыми бумагами. Там уже много лет лежали материалы 1-го съезда писателей, разобрать которые мы с Маркишем никак не собрались. Обнаружив среди них текст доклада Карла Радека, подполковник радостно отложил его в сторону — вместе с фрагментами стихотворения Маркиша "Михоэлсу — вечный светильник" в переводе Бориса Пастернака и копией письма Маркиша по поводу передачи евреям бывшей республики немцев Поволжья. Эти три документа были упакованы отдельно от других.

В двенадцать ночи — спустя сутки после того, как увели Маркиша, — обыск был закончен. Подполковник с помощником ушли, унося с собой часть бумаг.

Около часа ночи разошлись зашедшие в течение дня и задер-

жанные в “мышеловке” знакомые. Мы остались одни: дети, моя мама и я. В доме царил разгром. Мы легли, не стеля постелей, не раздеваясь. Впервые за много дней я спала, как убитая: кончилось смертельное ожидание ареста. Случилось то, что неизменно должно было случиться, — и все мы это знали!..

Ранним утром зазвонил телефон. Звонила Роза Пересыпкина. К телефону подошел Симон.

— Сима, — сказала Роза, — папа дома?

— Нет, папы нет, но мама здесь... — сказал Сима.

— Понятно, — сказала Роза и положила трубку.

Звонок разбудил всех, но мы продолжали лежать: не было сил вставать, чем-то заниматься, что-то делать в этой страшной и пустой жизни.

— Мама! — сказала я. — Мама, давай откроем газ, давай все отравимся.

Не успела мама ответить, как к моей кровати подбежал маленький Давид. Лицо его было бело, как мел.

— Мама! — с трудом выдохнул Давид. — Мама, я жить хочу!

— Ты слышала? — спросила мать. — Вот тебе и ответ!..

Спустя несколько дней я пошла на Кузнецкий мост, в приемную МГБ. Там было много таких, как я, — целая очередь. В окошечке сидел немногословный майор.

— Сведений нет, — сказал майор, когда подошел мой черед. — Ведется следствие.

— Разрешена ли передача?

— Нет.

— Деньги?

— Обратитесь в Лефортовскую тюрьму.

Лефортовская тюрьма — целый город в городе. Кирпичные корпуса толпятся за высокой каменной стеной. Опять окошечко справочной, опять очередь.

В очереди роились слухи. Передаваемые с оглядкой и шопотом, слухи эти касались судьбы наших близких, отделенных от нас высокой каменной стеной. Говорили о страшной Лубянке, о еще более страшной Сухановке, тюрьме в Подмоскowie, в которой пытали и замучивали людей нередко до смерти...

Небольшую сумму денег разрешили передавать один раз в месяц. Можно было эту сумму разделить на четыре равные части и передавать раз в неделю. Я решила так и поступить — все-таки Маркиш почаще будет иметь от меня весточку... Наивность совет-

ского гражданина неистребима, а коварство и подлость советской власти безграничны. Я тогда не могла себе представить, что деньги Маркишу вообще могут не передавать. Майор в справочном окошке придвигал ко мне книгу — расписаться в том, что деньги мною сданы. И даже квитанции выдавал — в приеме этих денег. И только после реабилитации Маркиша, в конце 1955 года, "честные" советские "органы" возвратили мне почти полностью те деньги, которые я передавала Маркишу на протяжении почти четырех лет, пока велось так называемое "следствие" по делу Еврейского Антифашистского Комитета.

Через несколько дней после ареста Маркиша к нам, к полной нашей неожиданности, пришел один из старейших еврейских писателей, Давид Вендров. Ему тогда уже перевалило за семьдесят, но он сумел и в этом преклонном возрасте сохранить чувство юмора и трезвый, несколько желчный ум.

— Как это вы рискнули к нам придти? — спросила я Вендрова, после того как мы молча обнялись.

— Меня-таки все отговаривали, — горько усмехнулся Вендров, — но я, между нами говоря, уже далеко не юноша. Так я посчитал, что в худшем случае, меня арестуют на несколько дней раньше.

Вендрова, действительно, в скором времени арестовали, и он вышел из страшной Владимирской тюрьмы только через шесть лет, в конце 1954 года.

Вскоре после ареста Маркиша власти ликвидировали еврейскую секцию Союза писателей. Официальное закрытие было поручено еврею Александру Безыменскому, — "комсомольскому" поэту, о котором много лет спустя была написана эпиграмма: "Волосы дыбом, зубы торчком, старый мудак с комсомольским значком".

Собрав оставшихся на свободе еврейских писателей, Безыменский объявил им, что в их секции "скопились" враги народа и предатели родины, а потому секцию решено закрыть. Нашлись, увы, среди присутствующих и такие, которые "с воодушевлением одобрили" позорное решение.

Спектакль расправы с еврейской литературой должен был повториться несколькими днями спустя, в более "торжественной" обстановке — на общем собрании московских писателей.

На сей раз "руководящие товарищи" роль "запевалы" отвели поэту Арону Кушникову. Несчастного Кушникова, прекрасно

понимающего свою роль, буквально силком вытолкали на сцену. Подойдя к микрофону, Кушников однако, не произнес ни слова, а разрыдался. Его увели.

После такого "провала" арест Кушникова был неизбежен и являлся лишь вопросом времени. Судьба, однако, смилостивилась над ним — вскоре после закрытия секции он умер. Тогда, — видимо, вместо него — была арестована его жена Люба.

Мы жили словно в колонии прокаженных, вчерашние друзья обходили нас стороной. Правда, не все.

Однажды на улице я лицом к лицу столкнулась с Всеволодом Ивановым. Наученная горьким опытом, я сделала вид, что не заметила. Я быстро прошла мимо и не поверила своим ушам, услышав вдогонку:

— Эстер!

Иванов догнал меня:

— Что ж это вы от меня убегаете?

Я объяснила, что не хотела поставить его в неловкое положение. Он горько усмехнулся:

— Напрасно вы думаете обо всех одинаково плохо. Так ведь и жить на свете невозможно... Знаете, что? Возьмите-ка детей, приезжайте к нам — домой или на дачу! Идет?

Я согласилась с благодарностью, но все же не решилась воспользоваться гражданским мужеством Всеволода.

К концу 52-го года кольцо вокруг нас стало смыкаться. В ночь под 5-е декабря арестовали жену писателя Нохума Левина, жену писателя Персова и жену бывшего директора Московского Государственного Еврейского театра Рабенса. Зная любовь коммунистов к "предпраздничным" арестам, я с вечера ушла в гости к одной из подруг моего детства, еще продолжавшей меня принимать, и просидела у нее почти до рассвета — в ту пору обычно приходили арестовывать по ночам, и я цеплялась за наивную возможность выиграть еще один день свободы. Возвращаясь домой, я увидела в нашем освещенном окне силуэт мамы — она ждала меня. Неправильно поняв ее жест рукой, я подумала, что за мной пришли, и бросилась бежать, куда глаза глядят, гонимая страхом, не отдавая себе отчета в бессмысленности такого бегства. Несколькими часами позже я вернулась домой — за мной еще не приходили...

16 декабря в 10 утра Симона вызвали в районное отделение МГБ. Вернулся он поздно вечером. У него взяли подписку о не-

выезде из Москвы. Мне было велено явиться туда же к десяти часам вечера.

Симон рассказал, что на столе у следователя, он заметил бланк "Анкета на члена семьи изменника родины". И мы с сыном подумали об одном и том же: двумя годами раньше по "требованию трудящихся" в СССР была вновь введена смертная казнь для "изменников родины"...

Малограмотный офицер МГБ Мухин допрашивал меня с десяти вечера до трех ночи, а потом, как и у Симона, взял у меня подписку о невыезде.

— Для чего это? — спросила я.

— Для вашей же пользы, — объяснил Мухин, — и для пользы вашего мужа. Может, срочно понадобятся новые сведения по его делу, — тогда вас сразу найдут и вызовут.

МГБ, как всегда, лгало и трусило: в декабре 52 года Маркиш и его товарищи уже пять месяцев как были убиты...

13 января 53 года мы прочитали в газетах, что "неутомимые и доблестные органы безопасности" раскрыли заговор врачей-агентов сионизма и американского империализма. Подавляющее большинство составляли евреи. Впоследствии я слышала от разных людей, что арестовано было много и не-евреев, но для сообщения в газетах были отобраны лишь нужные имена и фамилии. Руководителем заговора и связным между заговорщиками и их зарубежными хозяевами был назван "известный еврейский буржуазный националист Михоэлс". О том, что Михоэлс погиб за пять лет до этого сообщения, разумеется, не упоминалось.

Мы поняли, что наш конец — дело дней. Наша "подписка о невыезде" оказалась в рамке, не оставлявшей места для сомнений: за месяц до нее — процесс Сланского и других в Праге, носивший откровенно антисемитский характер, спустя месяц — дело еврейских врачей.

Я продала все, что можно было продать: не было денег на теплую одежду, на необходимые медикаменты. Продала и кое-что из описанных при аресте Маркиша вещей — выбирать не приходилось.

Ожидая прихода незваных гостей ночью, мы с Симоном старались возвращаться домой как можно позже, поближе к рассвету. (Младшего, Давида, я отправила в Баку, к родне — прятаться.

Это, однако, не спасло мальчика: после нашего ареста МГБ быстро разыскало Давида).

Наши предвиденья не сбылись — за нами пришли не ночью!

После смерти Сталина, в конце лета 1954 года, наша семья и семьи Бергельсона, Гофштейна, Квитко, Фефера, Зускина и других деятелей еврейской культуры были возвращены из Казахстана, куда всех нас сослали на десять лет. Но и через год после возвращения мы все еще ничего не знали о судьбе наших мужей. Еженедельные посещения приемной Военной прокуратуры СССР не приносили отрадных вестей.

25 ноября 1955 года, в день 60-летия Переца Маркиша, в нашем разоренном и осиротевшем доме собрались немногочисленные друзья. Пришли вдовы Нистора, Добрушина, Нусинова — Нистор и Добрушин умерли на лагерных нарах, Нусинов — на "допросе", не выдержав "следственных методов"... Счастливое исключение составляла Мари Галкина — жена Самуила Галкина. Она знала, что Самуил жив, получил десять лет лагерного срока, что дело его разбирается и он вскоре должен вернуться. Среди общего молчания Симон поднял тост за отца, сказав при этом, что не знает, пить ли нам за здоровье или за память Маркиша.

А через три дня всех нас внезапно вызвали в Военную коллегия Верховного суда СССР.

Взволнованные еще теплившейся, несмотря ни на что надеждой на счастливый исход, собрались мы в приемной: Ципеле Бергельсон и Эда Зускина, Бети Квитко и Рахиль Фефер, жена Соломона Лозовского, Хиена Шемилиович и Мария Юзефович. Была здесь и единственная уцелевшая из всей группы осужденных по процессу еврейского Антифашистского Комитета — академик Лина Штерн, отбывшая ссылку в Казахстане и теперь вместе с нами ожидавшая своей реабилитации.

Мучительно-долгое ожидание и — наконец вызывают первую из нас — Ципу Бергельсон. Притихшие, с бьющимися сердцами, мы ждем ее возвращения. Несколько минут кажутся вечностью. Но вот показалась на лестнице несколько грузная фигура Ципы. Еще не видно ее лица, но неуверенная походка безошибочно выдает ее душевное состояние. Мы бросаемся к ней и в молчании ждем, чтобы она произнесла хоть слово. Тишина такая, что слышно, как стучат сердца.

— Расстрелян... — говорит Ципа.

Холодеют руки, кровь отхлынула от сердца. Что сказать, где найти слова утешения... Но у Ципеле находятся слова для нас:

— У вас будет другой ответ, не отчаивайтесь!

Мы еще не пришли в себя, еще ничего не понимаем, а уже вызывают Эду Зускину, актрису бывшего Еврейского Государственного Московского Театра. Уходя, Эда с надеждой оглядывается на нас. Ее прекрасные голубые глаза словно молят о помощи.

Короткое отсутствие — Эда возвращается. Сомнений нет: ответ тот же.

— Расстрелян! — говорит Эда.

Наконец — мой черед. Иду длинным коридором. Меня сопровождает офицер.

Кабинет генерала Борисоглебского. Он встает из-за стола, идет мне навстречу. Подчеркнуто и предупредительно вежлив. Последние искорки надежды гаснут, как только генерал произносит:

— Вы догадываетесь, для чего мы вас пригласили?

Мне страшно, но я догадываюсь... Да, догадываюсь, но молчу. Мне надо услышать все до мельчайших подробностей.

— Нет, — говорю я, — я ничего не понимаю, я жду, чтобы вы сказали мне, где мой муж!

И те же страшные слова, которые уже в какой раз звучат сегодня в этом кабинете, на короткий миг останавливают биение моего сердца:

— По вновь открывшимся обстоятельствам невиновность вашего мужа полностью доказана и он посмертно реабилитирован, — говорит генерал.

— Посмертно, — повторяю я за генералом. — Как же могло случиться, что невинного человека расстреляли? — едва слышно произношу я, помертвевшими губами.

— Враги народа убили вашего мужа, — чуть виновато, словно оправдываясь, говорит генерал.

— Враги народа убили изменника народа, — продолжаю не понимать и настаивать я. — Когда, когда это случилось, скажите мне число, месяц, год...

Генерал уже с трудом сдерживает недовольство, он почти сердито говорит мне:

— Какая разница, когда? Где-то в 52 году, приблизительно в августе.

— Нет, — говорю я. — Не приблизительную дату, а точное число хочу я знать. Разве мы, жена и дети, не имеем право, как все вдовы и сироты на земле, оплакивать в день гибели любимого нами человека?

Тогда генерал звонит и на его зов является офицер, приносит тоненькую папку, на которой написано: "Маркиш Перец Давидович". Открыв папку, он смотрит в нее и говорит:

— Ваш муж был расстрелян 12 августа 1952 года. — И подвигает ко мне стакан воды.

Я не пригубила от этого стакана и не упала в обморок, я только захотела как можно скорей покинуть этот кабинет, как можно скорей не видеть больше глаз генерала, как можно скорей очутиться в кругу подруг, дожидавшихся меня внизу у лестницы.

— Расстрелян 12 августа 1952 года, — ответила я на их безмолвный вопрос...

У каждой из нас в руках белела выданная нам справка о посмертной реабилитации мужа.

Еще через несколько дней всем нам — теперь уже вдовам — были присланы *свидетельства о смерти* наших мужей. Все они скончались в один и тот же день — 12 августа 1952 года — от одной и той же болезни — "сердечной недостаточности"...

В приемной Лина Штерн сказала мне:

— Зайдите ко мне, я хотела бы вам кое-что рассказать.

Я пришла к ней с детьми. Я понимала, что речь пойдет о Маркише.

Лина Штерн — крупный ученый-физиолог — в конце тридцатых годов приехала в Россию из-за границы, как видно, поверив коммунистической пропаганде и решив помочь своими знаниями и опытом "победившему пролетариату". За ней пришли в начале 1949 года, сказали, что министр государственной безопасности приглашает ее на "собеседование".

Не успела она перешагнуть порог кабинета министра Абакумова, как тот заорал:

— Нам все известно! Признавайтесь во всем! Вы — сионистка, вы хотели отторгнуть Крым от России и создать там еврейское государство!

— Я впервые это слышу, — сказала Лина Штерн с сильным еврейским акцентом.

— Ах ты, старая блядь! — выкрикнул Абакумов.

— Так разговаривает министр с академиком... — горько покачивая головой, сказала Штерн.

До мая 1954 года Лина Штерн не видела никого из наших — кроме Ицика Фефера. С ним у нее была очная ставка.

Фефер выглядел больным, раздавленным.

— Ну, признайтесь, Лина Соломоновна, — сказал Фефер, — вы ведь состояли в нашей подпольной сионистской организации.

— О чем вы говорите?! — воскликнула Штерн. — Какой организации?!

— Признайтесь, признайтесь! — обреченно твердил Фефер.

В мае 52 года начался закрытый процесс — вернее, карикатура на процесс. Обвиняемых возили в здание Верховного суда — там заседал военный трибунал. Защиты, конечно, не было. "Суд" длился почти два с половиной месяца.

Лина Штерн видела окровавленного Шемилиовича, полубезумного Зускина, немощного старика Бергельсона. Видела Маркиша.

Никто из обвиняемых не признал себя виновным — кроме одного: Фефера. Выступая с последним словом бывший заместитель министра иностранных дел Соломон Лозовский назвал Фефера "свидетелем обвинения".

Лина Штерн сказала нам, что Маркиш выступил на процессе с яркой, взрывчатой речью. Его не прерывали — ведь слушали его только судьи и обвиняемые. А судьи были уверены, что никто никогда не узнает, о чем говорил Маркиш. В своем последнем слове он с потрясающей силой обвинял своих палачей и тех, кто направил их руку.

Штерн не могла вспомнить речь Маркиша в деталях — она помнила только, что это была речь не обвиняемого, а обвинителя...

Прошло несколько месяцев. И однажды в квартире раздался телефонный звонок.

— Говорят из финансового отдела КГБ. За нами тут должок остался, — услышала я.

— Какой должок? Мне уже вернули все деньги, которые я передавала мужу.

— Нет, вам еще причитается за зубы.

— За какие зубы?

— За золотые коронки.

Я закричала не своим голосом. Телефонная трубка болталась и раскачивалась на шнуре, и голос счетовода смерти продолжал сотрясать мембрану.

До сих пор, когда я слышу или читаю о том, что лучше, дескать, вычеркнуть из памяти, забыть весь этот кошмар, я всегда повторяю про себя:

— Зубы!...

\* \* \*

Мои воспоминания и моя жизнь — лишь производные от жизни Переца Маркиша, от его оставшихся ненаписанными воспоминаний. Вся моя жизнь — и до того, как его увели в ночь на 27 января 1949 года, и после того. Вплоть до нынешней минуты, когда я пишу эти строки в своем новом доме, на своей древней родине, вплоть до того мига, который станет моим последним.

Маркиш любил свой народ, как любят большую и разномастную родню, радуясь доброму в ней, не прощая худого, но нуждаясь в ней повседневно и повсечасно, потому что она дала ему все — ум, чувства, юмор, честь, сознание собственного достоинства, самое умение отличать добро от зла, наконец. И как невозможно себе представить, чтобы можно было простить убийцу, решившего известить всю твою семью, как не мог Маркиш забыть шесть миллионов евреев, убитых фашизмом, так не мог бы он простить и преемников своих убийц. Если бы он мог подняться из пепла, развеянного палачами по ветру более четверти века назад, он расстался бы с Россией навсегда, как бы тяжело и горько ни было это расставание. Вот почему я в Израиле — не вместо него, а вместе с ним.

Я сказала, что расставание было бы горьким и тягостным. Всеми силами, всей нежностью души Маркиш был привязан к еврейской культуре диаспоры, верил в ее жизнеспособность, в большое, долгое будущее российского еврейства. Он воспевал советскую власть не из личной выгоды и не из соображений текущей минуты, но по непоколебимому убеждению, что эта власть раскрепостила его народ, разрушила стены гетто ради нового, вольного цветения и вольного полета. Отсюда, в первую очередь, революционное бунтарство Маркиша и его пафос. Маркиш заблуждался. Он заплатил за свое заблуждение кровью и мозгом, разбрызгавшимся по стенам подвала, где его застрелили. Но и это не искупает заблуждения. Если бы пепел мог ожить, Маркиш был бы сегодня там, где зеленеют и крепчают мо-

лодой побег ствола еврейства, — в Израиле. Вот почему я в Израиле, и я уверена, что он одобряет мое решение: "Правильно, Фирка, молодец!"

Смерть Маркиша и его товарищей не была напрасной. Убийцы рассчитывали, что это будет началом физического и духовного истребления российского еврейства. Но погром 49 — 52 годов стал в конце 60-х одним из самых мощных источников нашей решимости (горькой решимости, позволю я себе повторить!) расстаться с прошлым бесповоротно.

Жизнь и смерть этих еврейских мучеников — неотчуждаемая часть биографии нашего сегодняшнего исхода.

### **ИЕРУСАЛИМСКИЙ МАГАЗИН РУССКОЙ КНИГИ "МАЛЕР"**

**ПРЕДЛАГАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ КНИГИ:**

М. КАЗАКОВ. Человек, падающий ниц.

Р. МАНДЕЛЬШТАМ. Избранное.

А. АРХАНГЕЛЬСКИЙ. Пародии.

А. ПЯТИГОРСКИЙ, З. МАМАРДАШВИЛИ. Символ и сознание.

Е. ШИФФЕРС. Смертию смерть поправ (в печати).

Золотая библиотечка для детей, 25 книг (в печати).

Л. АРОНЗОН. Избранное (в печати).

Заказы направлять по адресу: "Малер", Р. О. В. 6608, Иерусалим, 91066, Израиль.

### **КНИГОТОВАРИЩЕСТВО "МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ"**

**ВЫПУСТИЛО В СВЕТ НОВУЮ КНИГУ**

**ГИЛЕЛЬ ГАЛКИН. ПИСЬМА АМЕРИКАНСКОМУ ДУГУ**

Когда эта книга была опубликована несколько лет назад на английском языке, целые группы американских евреев специально приезжали к автору, чтобы оспорить его или выразить благодарность. Журнал "Мидстрим" назвал "Письма" важнейшей еврейской книгой последнего десятилетия. Израильские газеты посвятили ей огромные полосы. Этот страстный, откровенный, полемичный разговор-раздумье о самых острых проблемах Израиля и диаспоры никого не оставляет равнодушным и каждому дает пищу для размышлений.

Цена книги — по заказу — 92 шекеля (за рубежом — 9 долларов). Чеки и заказы принимаются по адресу: "Foundation Moscow—Jerusalem", Р.О.В. 7045, Ramat-Gan, Israel.

## ИЗРАИЛЬ

### ЛЕГЕНДАРНЫЙ БРАЙТОН-БИЧ

*(Марк Гиршин, "Брайтон-Бич", изд-во "Москва—Иерусалим", 1982)*

Одни твердят, что в Америку уезжают те советские евреи, которые не ощущают себя евреями. Другие утверждают, что наоборот. Ибо где можно вести более "еврейскую" (читай — галутную, привычную) жизнь, чем на Брайтон-Бич?! Но кто в действительности заселяет эти "джунгли свободы", как мечтательно и изящно определил их некогда один бывший израильский журналист?! Легенды рассказывают, что вот уже много лет песчаными и тоскливыми этими берегами владеют племена буйных одесситов, которые чуть ли не объявили их вольной республикой Черноморск. У побывавших там (и вернувшихся) очевидцев толком узнать ничего нельзя: при одном упоминании Брайтон-Бич глаза их загораются голодным блеском, и говорить они могут только о красной икре. Поэтому как нельзя кстати появился на свет роман уже известного читателям "22" Марка ("Секретарюк против Главинжа") Гиршина, повествующий именно и только о Брайтон-Бич (Биче?) и его обитателях. Злые языки утверждают, что не только сама улица, но и все населяющие ее герои Гиршина списаны с натуры и непременно узнают себя, читая книгу. Пусть даже так, — мы отделены от Брайтон-Бич океаном и можем не опасаться их гнева, пусть об этом думает автор. Впрочем, я вообще никогда не мог понять нашего отечественного любопытства, понуждающего читателя не столько интересоваться самим романом, сколько тем, кто именно в нем раздет и пойман с поличным. По мне роман Гиршина любопытен не узнаванием индивидуумов, а типов — наших не очень морально чистоплотных, не очень высоко культурных, не очень добродетельных соплеменников, которые вывезли из России не только гарнитуры и тряпки, но и весьма смутное представление о нормальных человеческих отношениях, зато весьма ясное впечатление о том, что "в стране должен быть порядок". Роман Гиршина конечно же населяют не люди, а типы. Например, выдающийся одесский писатель, который в пламенном своем Черноморске успешно продавал бойкое перо за обильные гонорары, а на берегах Брайтон-Бич с надрывом повествует, как задыхался от цензуры и антисемитизма, и гневно изобличает соплеменников-антипатриотов (патриотизм, разумеется, перенесен здесь с Москвы на Вашингтон). Или незадачливый интеллигент, который толком и чужую жену увести не может. Или удачливый коммерсант, для виду торгующий грязными матрацами, а для кармана — краденными драгоценностями. Или старички, уныло сидящие на пляжных скамейках и врущие друг другу о своих бывших чинах и званиях. Или... впрочем, всех не перечтешь, в романе их целая вереница, одни выписаны подробно, другие

походя, и в целом слагаются в образ невеселой, грязноватой, жутковатой, а главное — скучной толпы людей, неизвестно, почему уехавших, неизвестно, зачем приехавших — этакая эмигрантская клоака со своей знатью и своим дном, своими певичками и своими забегаловками. Неприкаянная толпа, неприкаянная жизнь, где все случайно и ненадежно, только грохот надземного поезда, каждые две минуты подавляющий все звуки в этих каменных ущельях, надежен и постоянен.

Не знаю, таков ли Брайтон-Бич, но после романа Гиршина он будет таков — во всяком случае для читателей. Но что значит — “таков”, “не таков”? Писатель видит не реальные дома или конкретные лица, а проступающие сквозь них контуры бедной, серой жизни, не конкретные судьбы, а проступающий в них контур общей судьбы. Им владеет гнев, сочувствие и презрение — странная смесь чувств, которая иногда порождает высокую литературу. Он пишет отрывисто-издевательски, затрудненностью письма и примитивностью синтаксиса передавая затрудненность мышления и примитивность чувствования неприятных ему людей. Впрочем, это неверно — не людей он не любит, он не любит Брайтон-Бич.

*А. Бухбиндер*

## ЗАПАД

### ЗАПИСКИ ИНАКОМЫСЛЯЩЕГО

*(А. Амальрик, “Записки диссидента”, “Ардис”, 1982)*

Посмертная книга Андрея Амальрика озаглавлена “Записки диссидента”, но в данном случае правильной было бы перевести иностранное слово на русский язык. Ибо Амальрик — как и в жизни — предстает в своей книге прежде всего как инакомыслящий, даже в среде прочих инакомыслящих, то есть советских “диссидентов”. Его воспоминания (ранее вышедшие на французском языке; для русского издания он не успел их обработать) охватывают период от возвращения из сибирской ссылки до высылки из СССР. В них чуть ли не впервые с такой подробностью и живостью предстает диссидентская Россия: споры, встречи, подготовка воззваний, обсуждение тактики, слежка, аресты, допросы, суды. Главное же — предстают люди. Книгу населяют буквально все известные из “Хроники” и Самиздата герои правозащитного и национальных (в том числе еврейского) движений последних лет; многие из них сейчас на Западе, другие в тюрьмах и ссылках. Постепенно из книги вырисовывается и образ автора — пожалуй, самый интересный в ней. Не то, чтобы Амальрик любовался собой больше других (хотя от этого греха он не избавлен), но на фоне других он в этой книге — инакомыслящий и тем приковывающий внимание. Он прежде всего умен, а с умным человеком, как известно, и поговорить приятно. Ум и наблюдательность позволяют ему дать точные зарисовки и характеристики десятков своих знакомых — от Якира и Краси-

на до, скажем, участкового милиционера и понятых на обыске. Его характеристикам доверяешь, потому что они не апологетические и не избобличающие, а аналитические: он пытается (и это ему часто удается) вскрыть "пружину" характера и "сквозную мысль" каждого человека. Несомненно, он был высокого мнения о себе и несомненно это мнение было чаще всего оправдано; результат забавен: Амальрику не удаются портреты и характеристики тех людей, с которыми он считает себя наравне (Сахаров, Солженицын), но которые в действительности сложнее и значительней, чем он. Зато ему блестяще удаются портреты тех, кого он заслуженно считает меньше и потому — понятней. Далее, он мастерски формулирует: в его книге можно найти десятки фраз, в каждой из которых заключен весь смысл целых книг, написанных диссидентами в изгнании и на родине. Его аналитический ум быстро ухватывает основные идеи, циркулирующие в окружающей диссидентской среде, и коротко обобщает их, отсекая все приходящее. Поэтому книга его — не только о людях, но и о времени, точнее — об идеях того времени, о духовной жизни эпохи. Читая ее, можно видеть, как "страшно далеки они от народа", как безнадежно замкнут диссидентский круг и даже внутри себя разобщен. Амальрик не очень жалуется националистов — как русских, так и особенно еврейских (евреев он, кажется, вообще недолюбливает), но не особенно жалуется и диссидентов (хотя по-человечески высоко ценит некоторых); не очень высоко оценивает он и перспективы движения; в общем он, как уже сказано, инакомыслящий, и позиция его — чаадаевская, то есть не органически русская, не принимающая русскую судьбу, как свою; поэтому его согласие на эмиграцию кажется закономерным. Он не просто "западник" в русской среде, он в ней — западный человек, глубокий индивидуалист с четким сознанием своих прав и достоинства, может быть, даже преувеличенным: когда ему в последний день перед эмиграцией выдают авиабилеты, накануне разорванные бабой-контролершей, и просят доплатить 70 копеек, он преспокойно садится на стул и заявляет, что платить не будет: пусть платит баба. Баба рыдает, Амальрик покачивает ногой (самолет улетает через час!), и в конце концов баба платит. (Конечно он знал, что в СССР его не оставят уже.)

Жаль, что Амальрик не успел продолжить свои записки на Западе. Вполне можно представить себе их общий тон: он остался бы тем же — инакомыслящие всюду уживаются плохо; но все же интересно было бы увидеть его глазами еще множество людей, интересно было бы узнать, переоценил ли он свои прогнозы насчет СССР и 1984 года, короче — интересно было бы еще поговорить с умным и по-умному злым человеком. Ибо Амальрик явно был зол: только один герой (точнее — героиня) его книги неизменно окружен облаком подлинной любви и насмешливой заботы: жена. Но эту злость можно простить и понять: ему не очень легко пришлось на Западе (как впрочем и другим знаменитым эмигрантам). Прекрасно, что он оставил эту книгу: по-моему, она значительней некогда сенсационной, а ныне устаревшей "Просуществует ли СССР..." — там была игра ума, здесь — попытка запечатления "ума холодных наблюдений и сердца горестных замет..."

*М. Вартбург*

## ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛОВ

*(“Время и мы”, №№ 63, 64, 65, 1982 г.)*

Когда журнал “Время и мы” еще издавался в Израиле, его называли здесь “Библиотекой для чтения”. В этом немного насмешливом, немного уважительном прозвище была точно ухвачена основная особенность журнала: его удобно было читать на сон грядущий — проза журнала увлекала, а статьи не заставляли особенно напрягать мозговые извилины. Позже журнал переехал в Нью-Йорк, где к тому времени сосредоточился его реальный и потенциальный читатель; но кажется, что расчет на богатого “нового американца” не вполне оправдался — во всяком случае журнал залихорадило: он стал выходить нерегулярно и как-то потускнел. Это особенно заметно сейчас, когда редактор выбросил на прилавок сразу три (некоторые говорят — четыре) новых номера с опозданием в полгода каждый. Прибавив по 32 страницы в номер, журнал превратился из ежемесячного в ежедвухмесячный, а это — громадная разница. Ежемесячник еще может как-то поспевать за событиями; ежедвухмесячник вынужден очень точно их предугадывать — в противном случае он должен по необходимости перейти к обсуждению более общих проблем (как это делает, например, “Континент” или “Вестник РХД”) либо стать чисто литературным журналом. “Время и мы” пытается удержаться посредине, по-прежнему сочетая развлекательную прозу с невзыскательной публицистикой, и результат оказывается не наилучшим.

В 63-м номере напечатаны фрагменты из нового романа З. Зиника, “Монолог” И. Померанцева и два юмористических рассказа И. Суслова. Рассказы симпатичны, но роман Зиника читать трудно — это опять из того разряда “камерной” литературы, которая целиком замкнута на личных воспоминаниях, на выражениях и ситуациях, понятных только членам узкого кружка друзей, на искусственном усложнении жизни, когда ее реальная плоть подменяется холодными “глубокомысленными рассуждениями”. Читать эту прозу в Израиле, под грохот орудий в Ливане, просто неинтересно: герой, рассуждающий о своей причастности к смерти какой-то тети Блюмы, как бы получше выглядеть перед КГБ и друзьями, и о том, каково жить в лагере (где он никогда не был), вызывает раздражение и одну-единственную мысль — мне бы ваши хлопоты, господин...

В 64-м и 65-м номерах весь в сущности раздел прозы, около ста страниц, отведен роману с продолжением И. Ефимова “Архивы страшного суда”. Это профессионально добротное, сюжетно закрученное произведение поначалу захватывает непонятной интригой: загадочные смерти, покушения, слежки, таинственные телефонные звонки, ученые и террористы, любовные игры и онанизм, действия перешвыриваются из Риги в Рим, из Вены в Псков, главки названы “Год до озарения”, “Месяц до озарения” — словом, весь набор увлекательностей налицо. Потом однако, когда выясняется пружина интриги (некий Фонд, созданный эксцентричным миллионером, вытаскивает из России некую даму, “открывшую” что кровавые тельца обладают созна-

нием и борются с болезнями "разумно"; а КГБ шантажирует даму оставленным в России сыном, чтобы добраться до Фонда и его делишек), вдруг становится скучно: видно, что перед нами просто очередной детектив, замешанный на модных ингредиентах — диссиденты, евреи и арабы, религиозное возрождение, научная фантастика, всего понемногу и все ради большего эффекта. Увы, в отечественной словесности жанр детектива не очень развит (как и "сексуальный жанр", чем объясняется успех Лимонова), поэтому даже простой перенос на отечественную почву отработанных приемов западного детективного романа сулит успех у нашего читателя. Конечно, это не Горенштейн, не Хазанов, не Кестлер, не Иошуа; это не литература, а "чтиво", но по мне уже лучше Ефимов, чем Зиник — увлекательно хотя бы...

Стихи во всех трех номерах очень средние, некоторые даже ниже, исключение составляет Юрий Иофе, особенно "Щебечут птицы по-немецки" с его пронзительной тоской и болью.

Для удобства читателей журнал выделил некоторые вещи в раздел "юмора", что ли — здесь два рассказа известных юмористов Шаргородских и пьеса Л. Ицелева о воображаемой встрече Ленина с... Гитлером, весь юмор которой в том, что оба персонажа разговаривают цитатами из своих произведений на протяжении 24 журнальных страниц.

Как обычно, есть и воспоминания — на этот раз Р. Берг о советской биологии — к сожалению, переполненные научными деталями и уже известными подробностями лысенковщины.

Публицистика в журнале пытается сопрячь "русскую" тему с "израильской", чтобы всем потрафить, но от этого сопряжения возникает чувство, что обе темы поднимаются скорей по обязанности, а не потому, что есть что сказать или нужна сказать. Ф. Горенштейн, например, выступает со статьей о "Протоколах сионских мудрецов", совершенно не в своем "жанре", на тридцати страницах жуя очевидное; Ю. Карабчиевский, другой интереснейший прозаик, отстаивает преимущество Галича над Высоцким и так же долго анализирует галичевский юмор и иронию, — но песни, право лучше петь, а сравнения оставить истории; некто Марран (из России) в одном номере пишет о новых советских фильмах, повторяя ставшие уже общими места о "русской идее", а в следующем — о советских книгах на еврейскую тему, тоже в общем как-то знакомо; С. Жукоборский ставит вопрос "Нужна ли нам (?) вообще демократия?", валя в кучу все уже сказанное в западной и эмигрантской публицистике насчет "толпы", "плебса", советского народовластия (по Зиновьеву) и т. д. — и снова ощущение вторичности, примелькавшихся идей и даже целых фраз. Повторяю, появление трех номеров сразу сыграло журналу дурную услугу: оказалось возможным прочитать сразу 750 страниц текста, из них 450 публицистического и вдруг как-то увиделось, что они заполнены наскоро, лишь бы чем-нибудь заполнить, посвящены "верняку" — уже апробированным, обсосанным темам и идеям, идут по протоптанным следам, повторяют сказанное — только на более упрощенном, разжеванном уровне и в целом, ничего не открывая уму, исчезают из памяти тотчас по прочтении. Журнал умеет давать статьям хлесткие названия, от которых так и ждешь чего-то (в следующих номерах, например, объявляются "Тайная история сталинских преступлений", "Израиль и постсионизм", "Россия после Брежнева", "Сегодня и завтра еврейской

эмиграции" — каково, а?) — но за этими названиями — пустота, обман, вялая мысль.

Дело тут не в том, что у журнала нет интересных, думающих авторов. Как раз многие авторы, в нем выступающие, известны своей яркостью, оригинальностью — только во "Время и мы" они почему-то дают, прощу прощения, отходы. И мне кажется, я вижу тому причину. Она — в отсутствии у журнала четкого лица, определенной направленности. О чем этот журнал? О России, о Израиле, о Западе? "О, если бы ты был холоден или горяч!" Но это журнал обо всем — и ни о чем. Он хочет оставаться "израильским", пребывая в Америке (и потому заказывает статьи об Израиле, сионизме, евреях, хотя что об этом напишешь, не варясь в нашей кровавой каше); в то же время он хочет угодить и читателям, интересующимся Россией (отсюда "Тайная история сталинских преступлений" и "Россия после Брежнева" — жутко оригинальные темы!); и одновременно он пытается польстить тем русско-еврейским интеллектуалам, которые, оказавшись в Америке, скучают без "русских разговоров на кухне" и "душевности русских застолий" — и потому, на 180° меняя фронт, его редактор, еще недавно воспевавший "джунгли свободы" (глядя из Израиля), теперь изо всех сил поносит их "черствость", "бездушие" и прочее, и потому из номера в номер идут "письма из Америки" об Америке — В. Шляпентоха, В. Шоссета, самого В. Перельмана. Когда нет направления и лица, нет и авторского коллектива — есть случайно упрощенные авторы, отдающие в журнал случайные для себя статьи. Может быть, журналу следует честно стать "новоамериканским" и попытаться всерьез разобраться в западной жизни и жизни нашей эмиграции на Западе? — этим он послужил бы хорошую службу всем, и в России, и в Израиле. Пока же он остается "Библиотекой для чтения" — увы, не очень интересного.

*Р. Блехман*

## **КНИГОТОВАРИЩЕСТВО "МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ"**

**ВЫПУСТИЛО В СВЕТ НОВУЮ КНИГУ**

**МАРК ГИРШИН. БРАЙТОН-БИЧ**

Широкое сатирическое полотно, запечатлевшее жизнь и судьбы "новых американцев" из Одессы, Киева, Москвы, собравшихся в грязном нью-йоркском квартале Брайтон-Бич, где жулики преуспевают, а честные люди поневоле становятся жуликами.

Цена книги (при заказе в издательстве) — 110 шекелей, за рубежом — 10 долларов.

Предварительные заказы принимаются по адресу: "Москва—Иерусалим", п/я 7045, Рамат-Ган, Израиль

## ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

### “КТО В ПЛАТОНАХ, КТО В ДОЛДОНАХ?”

(Ответ М. Вайскопфу\*)

*“Не ум научит, а Бог откроет”.*

*Иоанн Златоуст*

“Мысли перед рассветом” В. Тростникова я не читал.

Опровергать или оспаривать лапидарный разбор этого эссе М. Вайскопфом *по существу* в мои намерения не входит. Априорно можно признать справедливость *научной* критики оппонента. Наскоки Тростникова на семиотику, кибернетику, астрофизику, структурализм не пользуются и нашей симпатией. Возражение вызывает другое: тон и метод критики, которые практикует М. Вайскопф, плюс философская позиция, которую занимает критик. Непонятная ожесточенность и претенциозность обнаженно и подчеркнуто просвечивают в каждой странице его кратких критических заметок.

Согласимся, В. Тростников сделал ряд ленивых юдофобских выпадов (“восточный базар”, “алгоритм иудейского закона”, “вселенная Зельдовича”, в которой неинтересно жить коренному русскому человеку). Мне представляется, что все эти недоброжелательные для музыкально чуткого еврейского слуха выпады — все же верх джентльменства в сравнении с “перлами”, которые изобильно рассыпаны на 7 страницах заметок М. Вайскопфа: “тошнотворная басенная назидательность”, “лампадный жаргон”, “полоумный Федоров, бездарный, косноязычный Бердяев”...

Был когда-то на Украине эдакий Кичко, опубликовавший в конце 1963 года “знаменитую” брошюру “Иудаизм без прикрас”. Насколько мне помнится, даже там не было такого количества беспардонных наскоков на евреев и иудаизм, как это позволил себе М. Вайскопф по отношению к русским, их религиозным исканиям и православному обряду. Если все вышепроцитированное — образец современного научно-философского языка, научной критики, то как-то неловко и стыдно становится за эту “науку” и эту “критику”.

В. Тростников взялся не за свое дело. Вероятно, это так. Он — дилетант, а любителям не по плечу создавать в XX веке целостные научно-философские системы. Колкости, оскорбления, презрительно-менторские сентенции по отношению лично к В. Тростникову еще как-то можно было бы переварить, пропустить мимо ушей, что ли. Что-то подобное позволил себе, кажется, когда-то, Б. Парамонов по отношению к А. Янову. Так почему бы не отыгаться на Тростникове, если представился случай? По принципу “око за око”. Так, что ли? Кто их разберет, этих самоуверенных новоявленных “гениев”. (К слову сказать: блистательный, наповал разящий ответ М. Каган-

---

\*М. Вайскопф, “Собственный Платон”, “22” № 22, 1981.

ской Б. Парамонову, в части А. Янова, покорял, помимо прочего, именно своей элегантностью, корректностью, человечностью.)

Безобразно и недостойно другое. "Мысли перед рассветом" — это, очевидно, только предлог. Многие, следует понимать, стеснилось в пламенной груди М. Вайскопфа, и он решил, что наступил его звездный час: свести счеты с ненавистной ему русской религиозно-философской мыслью, русской духовностью и, в частности, с такими ее гениями, как Н. Бердяев и Л. Шестов (Шварцман).

М. Вайскопф простодушно полагает, что проштудировав Г. Шпета и В. Проппа и взобравшись не на Голгофу, конечно, а только на интеллектуальные Воробьевы горы, где Г. Шпет одно время профессорствовал, он, что называется, схватил Бога за бороду.

"Святая простота" — можно было бы повторить слова Яна Гуса, но, к сожалению, речь здесь идет не о святой простоте, а, по нашему представлению, об ослепленной гордыне самоуверенного и самозамкнутого человеческого духа. Иначе и не объяснить существа дела, когда пылкий апологет структурализма не постеснялся комически поставить В. Тростникова на одну ступень с Н. Бердяевым и Л. Шестовым?! Густаву Шпету, видите ли, не нравился Бердяев: "Мне показалось, будто я наелся жженной резины". Кому как кажется. Это, собственно, дело вкуса. У меня, например, подобную ассоциацию вызывало когда-то чтение духовно близкого Г. Шпету Гегеля. Гениального, великого... Все так, разумею. Почтительно и нижайше взираю снизу вверх, но тем не менее — сухая до противности "жженная резина", ни о чем не говорящая ни душе, ни духу. Сад, в котором нет воды, говоря библейскими словами, — такой представляется мне гегелевская "феноменология духа". Н. Бердяев же мне нравится. В нем клокочет страсть, ярость. Его проблематика жизненна, насущна, его темперамент и язык захватывают и мысль, и сердце. Это не мертвая "научная философия" — это философия жизни, интуиции, прозрения, внутреннего видения, философия нездешнего мира. В русской религиозной философии истина не "что", а — "кто"! В этом разница между Г. Шпетом и Н. Бердяевым. И просвещенной мысли Европы Н. Бердяев тоже нравится. Достаточно прочитать литературу о нем, где и сколько раз он был издан и переиздан.

Если для М. Вайскопфа, как и для всех структуралистов, "сокровенная мудрость" — это не любомудрие Библии, не свободный полет человеческой мысли, поиски и борения духа, страдание души, не трагически-поучительный опыт Паскаля, Кьеркегора, Достоевского, Ницше, Унамуно, если все это — только "мракобесие бывших комсогов" и "апокалипсические завывания" Шестова, а "философия чистая, философия-знание, философия искусство" — только структурализм К. Леви-Стросса, М. Фуко, Ж. Лакана, Л. Гольдмана, Г. Лукача, то и тогда следовало бы постеречься от глумления типа "собственных Платонов" и "фальшивые сокровища ее древней мудрости".

П. Флоренский — "провозвестник семиотики" (по М. Вайскопфу). Можно еще дополнить: провозвестник кибернетики, выдающийся математик, химик, физик, инженер, автор фундаментального труда "Диэлектрики и их техническое применение" (М. 1924, т. 1), один из редакторов "Большой Со-

ветской технической энциклопедии" (пер. изд. 1927—1936 гг.), в которой содержались 124 статьи этого гениального энциклопедиста нашего века.

Вместе с тем, Павел Флоренский — философ, богослов-мистик, профессор Московской духовной академии (1917—1972 гг.), редактор журнала "Богословский вестник" (1912—1917 гг.), православный священник (с 1911 г.), автор трудов — "О символах бесконечности", "Общечеловеческие корни идеализма", "Пределы гносеологии", "Смысл идеализма", "Столп и утверждение истины. Опыт православной теодицеи". Не из "комсогов", правда, но не так уж далек от "апокалипсических завываний".

Священник Павел Флоренский — не одинокий Платон в российской истории. Рядом с ним возвышаются фигуры Владимира Соловьева, П. Д. Юркевича, братьев Евгения и Сергея Трубецких и других философов русского "конкретного идеализма".

Но "конкретный идеализм", равно как и экзистенциализм — это, по М. Вайскопфу, — "рабья онтология", "ленивая философия" и "фальшивые сокровища". М. Вайскопф — жрец "чистой" науки, "философии — знания, поклонник структурализма. Хотя я не считаю себя компетентным говорить и писать о структурализме, все же следует припомнить г. Вайскопфу, что "Харьковская школа" языкознания во главе с А. Потебней существенно развила в своих "психологических теориях" языка идеи В. Гумбольдта о "внутренней форме" языка. Глава "Казанской лингвистической школы" Бодуэн де Куртенэ и Н. В. Крушевский, независимо от Фердинанда де Соссюра, развивали идеи системного подхода к языку. Не меньшее влияние на становление структурной лингвистики оказал и глава "Московской школы" Ф. Ф. Фортунатов. Е. Л. Поливанов высказал ряд плодотворных идей, которые впоследствии легли в основу социолингвистики и теории коммуникации. Русские ученые из так называемой "Пражской школы" — Николай Трубецкой, Роман Jakobson и Сергей Карцевский — пионеры функционального подхода к языку. В "Основах фонологии" Н. С. Трубецкого впервые широко и последовательно развиты идеи Ф. де Соссюра о "противопоставлениях", или "оппозициях", в системе языка.

Следует ли глумиться, оскорблять и порочить русскую мысль? Или только М. Вайскопф знает, кого зачислить в "великую русскую культуру", а кого анафематствовать и обложить четырехъярусным матом (литературным, разумеется).

Если следовать обличительной "логике" и методам критики М. Вайскопфа, то можно ему напомнить, что большинство современных философов и историков-структуралистов считают себя "подлинными марксистами" и в этом утверждении содержится несомненная доля логики и истины. К. Маркс бесспорно находится среди провозвестников структурализма: он рассматривал капитализм как систему, обладающую определенной структурой, которую можно выявить посредством моделирования. В его трудах часто встречается понятие структуры. Не случайно Л. Альтюссер видит в структурализме "проявление жизненной силы марксизма". (М. Вайскопф, по-видимому, лучше Л. Альтюссера знаком с проявлением этой "жизненной силы марксизма" в теории и на практике!)

Конечно, структурализм не однороден, в нем объединены разные направления. Среди основоположников этого научного течения — первоклассные

специалисты, ученые с мировыми именами. Внедрив в гуманитарные науки методы измерений и вычислений, основанные на аппарате теории информации, кибернетики и социометрии, "структуралисты" очистили гуманитарные науки от многих произвольностей и мифов — *но все это при соблюдении известных границ и пропорций*. Вместе с тем пороками философского структурализма являются его бесконфликтность, недиалектичность, овеществление живой и противоречивой человеческой души. Структурализм трактует людей "как вещи", тогда как каждый человек — это целостная вселенная, не поддающаяся чисто научной формализации. Отстраняя всякую субъективность, исключая личность, как элемент противоположный и чуждый научному познанию, не считаясь с антиномичностью разума и кантовским "радикальным злом" в человеческой природе, структуралисты отрицают то, что является отличительной особенностью гуманитарных наук в сравнении с науками естественными. Краеугольный камень ветхозаветной еврейской антропологии: "человек сотворен по образу и подобию Божию" — разумеется, по воззрениям структуралистов, выдумка шарлатанов. Абсолютизация структуралистских теорий и методов приводит к созданию абстрактной нереальной науки о человеке без самого человека, — так пишут многие критики структурализма. Не случайно Ф. Мориак с иронией и горечью отметил этот фундаментальный порок философского и литературоведческого структурализма: "Мы уже пережили смерть Господа Бога. Предстоит ли нам также пережить в ближайшем будущем смерть человека?.. Ясно, что не смерть конкретного Жана, Пьера, Поля или Мишеля, а смерть человека вообще, человека, как такового: пожалуй, человек исчезнет и его должно заменить понятие структуры".

На этом психологическом фоне ясно, почему М. Вайскопфу чуждым и бездарным предстает и русский философский экзистенциализм, и интуитивизм Н. Лосского.

"Структура" — новый догматический идол и лозунг гордого разума — научно объяснит нам все в человеке и о человеке!

И не нужна Библия, не нужны пророки и подвижники, все религии мира можно выбросить на свалку, как мракобесие. М. Бубер, Н. Бердяев, Л. Шестов, С. Франк, Унамуно — полоумные шарлатаны, бездарности. Страдания, муки, драмы и трагедии людей объяснят нам научно, то есть "чисто", "свободно", "мастерски". А человеку, у которого в груди не бездушный камень, а живое сердце, ничего не останется, как, взбравшись на "интеллектуальную Голгофу" М. Вайскопфа, продеть голову в петлю...

Г. Синайский

**КНИГОТОВАРИЩЕСТВО "МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ"  
ПРЕДЛАГАЕТ КНИГУ:**

Юрий Милославский. "Укрепленные города" — опубликование в журнале "22" первой части этой горькой повести вызвало бурю споров в израильской и эмигрантской печати, что не помешало признать несомненный талант автора. — 10 долл.

Заказ и чек направлять по адресу: Foundation "Moscow—Jerusalem", Ramat-Gan, Israel, P. O. B. 7045.

Объявляется подписка на 1982 год

на журнал

”ДВАДЦАТЬ ДВА”

(№№ 23—28)

### УСЛОВИЯ ГОДОВОЙ ПОДПИСКИ НА ЖУРНАЛ ”22”:

В Израиле (до 1 сентября 1982 года) — 450 шекелей (можно в два чека с разрывом в один месяц).

За рубежом (с доставкой обычной почтой) — 33 доллара.

Авиапочтой, в Европу — 45 долларов, в США — 51 доллар.

### ПОДПИСНОЙ ТАЛОН

Заполненный талон и чек на имя журнала ”22” высылать по адресу:  
”MOSCOW—JERUSALEM”, P. O. B. 7045, RAMAT-GAN, ISRAEL

Прошу подписать меня на журнал ”22”, начиная с № . . . . .

Прилагаю чек (чеки) № . . . . . на сумму . . . . .

Журнал прошу выслать по адресу . . . . .

(пишите разборчиво)

(фамилия)

### КО ВСЕМ ЧИТАТЕЛЯМ

Журнал ”Двадцать два” не получает никаких субсидий. Он существует исключительно на деньги подписчиков и почитателей. Инфляция ставит под угрозу дальнейший выпуск журнала. Для сохранения нашего издания мы создали ”Фонд друзей журнала ”Двадцать два” в Израиле и на Западе”. Мы просим присылать пожертвования в этот фонд. Любые пожертвования будут приняты с благодарностью.

**Книготоровищество ”Москва—Иерусалим”**

Редколлегия выражает благодарность приславшим пожертвования друзьям: Б. Шариру (Беэр-Шева, 180 шекелей), Л. Лурье (Иерусалим, 300 шекелей), С. Когану (Беэр-Шева, 50 шекелей), А. Лившиц (Бруклин, 10 долларов), С. Рахлину (Лос-Анджелес, 100 долларов), В. Воронель (США, 100 долларов).

В списке жертвователей в № 24 вкрались досадные ошибки; следует читать: В. Матлин (США, 20 долларов), И. Клугман (Нетания, 70 шекелей), Д. Проектор (Хайфа, 100 шекелей), Б. Вайль (Копенгаген, 17 долларов).

